

ИЗВЕСТИЯ

Уральского федерального
университета

Серия 3
Общественные науки

2013

№ 1 (112)

IZVESTIA

Ural Federal University
Journal

Series 3
Social and Political Sciences

2013

№ 1 (112)

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1920 г.

СЕРИЯ ОСНОВАНА В 2006 г.

ВЫХОДИТ 4 РАЗА В ГОД

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА

- В. А. Кокшаров**, ректор УрФУ,
председатель совета
- Д. В. Бугров**, директор Института
гуманитарных наук и искусств УрФУ
- М. Б. Хомяков**, директор Института
социальных и политических наук УрФУ
- В. В. Алексеев**, акад. УрО РАН
- А. Е. Аникин**, чл.-корр. СО РАН
- В. А. Виноградов**, чл.-корр. РАН
- А. В. Головнев**, чл.-корр. УрО РАН
- С. В. Голынец**, акад. РАХ
- К. Н. Любутин**, проф. УрФУ
- А. В. Перцев**, проф. УрФУ
- Ю. С. Пивоваров**, акад. РАН
- А. В. Черноухов**, проф. УрФУ
- Т. Е. Автухович**, проф. (Белоруссия)
- Д. Беннер**, проф. (Германия)
- Дж. Боулт**, проф. (США)
- П. Бушкович**, проф. (США)
- М. М. Гиршман**, проф. (Украина)
- М. Гудерцо**, проф. (Италия)
- Л. Инчуань**, проф. (Тайвань)
- А. Ковач**, проф. (Румыния)
- Н. Коллман**, проф. (США)
- Дж. Майлсон**, проф. (США)
- А. Мустайоки**, проф. (Финляндия)
- Б. Ю. Норманн**, проф. (Белоруссия)
- М. Перри**, проф. (Великобритания)
- Х. Рюсс**, проф. (Германия)
- Г. Саймонс**, проф. (Швеция)
- К. Хьюитт**, проф. (Великобритания)
- А. Федотов**, проф. (Болгария)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ

Главный редактор

Н. В. Суслов

Заместитель главного редактора
по международным связям

А. С. Меньшиков

Ответственный секретарь

Е. С. Ковалева

Члены редколлегии

Е. В. Грунт

В. Д. Камынин

А. Г. Кислов

Н. А. Комлева

Т. А. Круглова

Н. С. Минаева

А. В. Меренков

В. И. Михайленко

Л. Г. Попова

О. Ф. Русакова

Л. Л. Рыбцова

Е. Г. Трубина

Д. М. Федяев (Омск)

А. Ю. Цофнас
(Одесса, Украина)

Е. С. Черепанова

СОДЕРЖАНИЕ

ФОРУМ

<i>Михайленко В. И.</i> Итальянский фашизм 90 лет спустя: актуальность исторического феномена	6
Г. КЛИМТ: ДИАЛОГ ФИЛОСОФИИ И ИСКУССТВА	
<i>Перцев А. В.</i> Мысли о менталитете и целостности национальной культуры, навеянные картинами Г. Климта	18
<i>Черепанова Е. С., Низьева Л. В.</i> Феномен философии импрессионизма в Австрии на рубеже XIX–XX веков	31
<i>Давлетшина А. М., Лебедева Г. В.</i> Нравы эпохи венского модерна и способы ихreprезентации в искусстве (на примере анализа творчества Г. Климта и литературы рубежа XIX–XX вв.)	42
<i>Циплакова Ю. В.</i> Чистое Ego и «живое тело» в творчестве Г. Климта и феноменологии Э. Гуссерля	48
<i>Батюта Е. А.</i> «Рекламная философия потребителя» в зеркале «коммерческого искусства» Г. Климта	56
ОНТОЛОГИЯ	
<i>Пивоваров Д. В.</i> Отношение, связь, свойство, вещь (категориальный анализ)	63
СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ	
<i>Красавин И. В.</i> Типы организации и алгоритмы эволюции сообщества	73
<i>Логинов А. В., Руденкин Д. В., Данилова А. В.</i> Трансформация идеологических систем	87
<i>Меньшиков А. С.</i> Политическая модерность и постсоветская социальность	102
ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ПОЛИТОЛОГИЯ	
<i>Керимов А. А.</i> Демократия как необходимое условие парламентаризма	116

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

<i>Панькин И. Д.</i> К вопросу о влиянии изменений в международных отношениях на военные приготовления в СССР в конце 1920-х – 1930-е гг.	123
<i>Михайленко Е. Б.</i> Борьба за разоружение в советском дискурсе периода холодной войны	132
<i>Камынин В. Д.</i> Политика России в области обеспечения безопасности в Центральной Азии в 1990-е гг.	146
<i>Мухаметов Р. С.</i> Место и роль ОДКБ в обеспечении национальных интересов России в Центральной Азии ...	160

ГЕОПОЛИТИКА

<i>Васильев С. В.</i> Геополитические акторы: сущность и типология	167
--------------------------------------------------------------------------	-----

ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ

<i>Лебедева Ю. В.</i> Исследование компонентов субъектной и объектной установки на Другого	181
<i>Позднякова Н. А.</i> Нервно-психическая неустойчивость: предпосылки возникновения и последствия в условиях армейской службы	194

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

<i>Товбин К. М.</i> Постмодернистская религиозность: традиционалистическое видение	210
------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

<i>Мухутдинов О. М.</i> К вопросу о происхождении чистых категорий рассудка в трансцендентальной логике Канта	223
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

<i>Барышникова Ю. С.</i> Внешняя политика США в Колумбии в 1961–1963 гг. ..	229
<i>Авторы номера</i>	236

ФОРУМ

В нашей новой рубрике «Форум» мы собираемся публиковать материалы, имеющие дискуссионный характер и, следовательно, рассчитанные на живой отклик читателей. В рубрике будут печататься и наиболее интересные из этих откликов. Первый материал, который мы предлагаем вашему вниманию, представлен в форме интервью.

В октябре 2012 г. исполнилось 90 лет с того момента, когда в европейской истории к власти пришла новая политическая сила — фашистская партия. За пять лет до этого большевики взяли власть в России. Общим между ними было прежде всего то, что они представляли собой партии нового типа, опирающиеся на «восставшие массы». Именно в этот период зарождается главный тренд XX в. — века массовых политических партий и идеологий, тоталитарных политических режимов.

Благодаря глубоким исследованиям Б. Р. Лопухова, Г. С. Филатова, П. Ю. Раширина, Ц. И. Кин, И. В. Григорьевой, В. И. Михайленко, Л. С. Белоусова в современном российском обществе сформировалось вполне адекватное представление об итальянском фашизме и его исторических особенностях. Тем не менее наука, исследующая фашистский феномен, не стоит на месте. Мы обратились к одному из современных исследователей фашизма профессору Валерию Ивановичу Михайленко с вопросами о том, что нового появилось прежде всего в итальянских исследованиях фашизма.

УДК 329.18 + 930.23 + 351.85(450)

В. И. Михайленко

ИТАЛЬЯНСКИЙ ФАШИЗМ 90 ЛЕТ СПУСТЯ: АКТУАЛЬНОСТЬ ИСТОРИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА

В статье рассматриваются дискуссионные вопросы истории итальянского фашизма, прежде всего вызванные исследованиями научной школы Р. Де Феличе. В них приход фашистов к власти девять десятилетий назад связывается с ускоренными процессами модернизации итальянского общества, проходившими под влиянием Первой мировой войны. В статье анализируются историографические концепции пределов влияния интеллектуалов на политику, определения фашизма, «предательства» фашистским режимом идеалов фашистского движения, роль насилия и «консенсуса» в отношениях между обществом и режимом, роль фашизма в реализации идей Рисордженмента строительства национального государства, периодизации кризиса фашистского режима и причин его падения. В статье рассматриваются проблемы постфашистского транзита. Анализ современной историографии фашизма позволяет определить современный уровень исследований фашистского феномена и спрогнозировать новые направления исследований.

Ключевые слова: историография фашизма, научная школа Р. Де Феличе, определения фашизма, фашистская идеология, фашистский режим, проблема «консенсуса», национальное государство.

Вопрос: Прошло девять десятилетий с того момента, когда итальянский король Виктор Эммануил 27 октября 1922 г. назначил главой правительства молодого политика Бенито Муссолини. Так начал свой путь фашизм у власти, ставший до окончания Второй мировой войны одним из влиятельных политических феноменов XX в. Что представлял собой фашизм в своем историческом времени?

В. И. Михайленко: Начну с того, что Первая мировая война ускорила процессы социальной и государственной модерности, начатые Великой французской революцией. Одни называли этот процесс «восстанием масс» (Х. Ортега-и-Гассет), другие «массовизацией общества» (Б. Р. Лопухов), третьи «национализацией масс» (Дж. Моссе).

Политика перестала быть уделом только элит. Массы предъявляли свои требования на вовлечение в государственное управление, а наиболее радикальные из них — даже на взятие власти в свои руки. Известно, что в либеральной Италии избирательное право распространялось на малую часть итальянского общества [5, 21–22].

«Восставшие массы» стали субъектами общественных и политических процессов и в то же самое время сами являлись объектами конкурентной борьбы за их завоевание между идеологиями и политическими силами.

Ключевыми вопросами стали формы организации связи между обществом и властью и вовлечения масс в политическую, социальную и экономическую жизнь. На новые вызовы лидеры политических движений и партий отреагировали острой политической борьбой за восставшие массы, предлагая разные

властные стратегии. Если внимательно проанализировать политические предложения, то их оказывается не так много: эволюция или революция/контрреволюция, проект модерна или абсолютизация традиции, демократия или авторитаризм, демократия представительная (либеральная демократия) или демократия прямая (тоталитарная), партийная система или синдикалистская. Между названными крайностями складывались переходные формы.

Период после Первой мировой войны характеризовался тем, что у традиционной либеральной и консервативной идеологии и политики практически не было шансов на завоевание масс.

Тотальная секуляризация государств, отделение их от религии замещались рациональными и фетишистскими светскими идеологиями, вступавшими в со-перничество или в жесткую борьбу с традиционными религиями за влияние на массы. Завершается период господства позитивистской культуры и начинается триумф иррационализма. Все силы брошены на борьбу со злом. Возникают благоприятные условия для утверждения национализма.

Важно отметить, что все тоталитарные светские идеологии относятся абсолютно нетерпимо к своим религиозным соперникам, в лучшем случае допуская их маргинальное параллельное существование.

Вопрос: Можно ли назвать конкретные имена интеллектуалов, оказавших влияние на формирование концепции фашизма?

В. И. Михайленко: Сделать это и легко, и сложно. Легко, поскольку на поверхности находятся имена философов Джованни Джентиле, Джоаккино Вольпе, Уго Спирито. Не чужды были к философствованию фашистские иерархи: Дж. Боттаи, руководивший журналом «Фашистская критика», сам Муссолини. Последний совместно с Дж. Джентиле написал для «Энциклопедии Треккани» «фашистскую доктрину».

Если говорить о влиянии идей на фашистскую политику, то все было намного сложней. Возможно, единственным примером такого влияния является реформа образования, осуществленная по проекту Дж. Джентиле и им самим как министром образования. Своей целью в школьной реформе он поставил создание общей национальной платформы образования. Школа должна была прививать учащимся ценности единой национальной и государственной солидарности.

Иначе сложилась судьба одного из идеологов корпоративизма Уго Спирито. Как и многие интеллектуалы своей эпохи, он искренне верил в возможности «социальной инженерии», т. е. искусственного построения нового социального государства через внедрение новой модели социальных, экономических, юридических, философских и управлеченческих отношений. Он искренне верил в то, что фашизм не ограничивается итальянским случаем, а является глобальной и международной революцией [10]. В поисках универсальной модели он посетил практически все тоталитарные государства своего времени, включая нацистскую Германию, Латинскую Америку, маоистский Китай. В 1956 г. отметился визитом в СССР и даже якобы был принят Хрущевым.

Он был яростным противником буржуазного либерального индивидуализма и частной собственности, проповедовал идеи преодоления классовой борьбы

через достижение солидарных отношений между политическим классом, экономическим классом и массовым обществом. Несмотря на то что корпоративная система стали визитной карточкой итальянского фашизма, он не стал членом фашистской партии. Он оказался неудобным человеком для фашистской партии и, начиная с 1935 г., был переведен из Школы корпоративных исследований в Пизе в провинциальный университет в Мессине.

Таким может быть ответ на вопрос о влиянии интеллектуалов на фашистскую политику.

Можно говорить о большей предрасположенности к использованию государственно-центричных, патерналистских и националистических идей политическими режимами фашистского типа, но я бы избегал жестко детерминистских оценок. На выбор политического режима влияло множество факторов, включая исторические традиции и цивилизационные особенности, исторический опыт политического и экономического развития, особенности массового сознания, соотношение политических и экономических сил, харизма лидеров и др. Идеология и политика фашистского режима были эклектичными. Единственное, о чем можно говорить уверенно, они всегда были антилиберальными и антимарксистскими.

Пересечение перечисленных и других факторов в точке бифуркации выдавало «на-гора» особый политический режим и пути развития. В выборе не было исторической неизбежности, но и говорить о случайности, «выпадении из истории» (Б. Кроче) было бы необоснованно.

Исторический фашизм со всеми его политическими, идеологическими и цивилизационными формами и институтами принадлежит своему времени.

Вопрос: Известно чрезмерно широкое использование понятия «фашизм». В период советско-югославского конфликта Кремль навесил этикетку «фашистский» даже на политический режим Тито. Можно ли типологизировать международный фашистский феномен?

В. И. Михайленко: Хорошо известно определение международного фашизма, которое было разработано Коминтерном в 1933 г.: это «открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала». Это определение сыграло положительную роль в изменении стратегии Коминтерна и ВКП(б) в мобилизации антифашистской борьбы после прихода Гитлера к власти. И не более того. Ограниченные возможности применения упрощенных коминтерновских схем для организации антифашистской борьбы в самой Италии понимал один из ее руководителей, П. Тольятти. В лекциях о фашизме, прочитанных им в январе – апреле 1935 г. в Ленинской школе для коммунистов-подпольщиков, П. Тольятти глубоко анализировал состав массовой базы фашизма, специфические особенности политического режима как «нового типа».

Говоря современным научным языком, фашизм был явлением *политического модернизма*, который претендовал на противоборство с националистической, либеральной и либерально-демократической модерностью, противопоставив ей альтернативную модерность, националистическую и тоталитарную, основанную на милитаризации, сакрализации политики и на тотальном подчинении

индивидуума государству. Итальянский фашизм претендовал на всемирную универсальность, и до середины 30-х гг. это находило свое подтверждение в проведении Римом международных фашистских конгрессов. Свой опыт они пытались рекламировать как «третий путь», альтернативный капитализму и коммунизму.

Лично мне представляется наиболее сбалансированным и глубоким определение фашизма, которое было дано современным итальянским исследователем Э. Джентиле: «Фашизм есть современный политический феномен, националистический и революционный, антилиберальный и антимарксистский, организованный в “военизированную партию”, имеющий тоталитарную политическую и государственную концепцию, опирающийся на мифологическую, с культом мужественности и антигедонизма, сакрализованную светскую религию, которая утверждает абсолютный примат нации и рассматривает ее в качестве органичной, гомогенной, этнически однородной общности, иерархически организованной в корпоративное государство с воинствующим пристрастием к политике величия, силы и экспансии, нацеленной на создание нового порядка и новой цивилизации» [6, 6].

Вместе с тем итальянский фашизм обладал индивидуальными характеристиками. Некоторые исследователи называют фашистский режим в Италии «характеристической диктатурой цезаристского типа», связывая его специфику исключительно с личностью Муссолини.

Вопрос: Какими личностными характеристиками обладал Муссолини, увлекший за собою итальянские массы?

В. И. Михайленко: Как личность Муссолини не был заурядным человеком, но и не соответствовал той роли рафинированного интеллектуала, на которую все время стремился претендовать. Еще в советское время, занимаясь изучением фашистской политики, я долго разыскивал его собрание сочинений. Каково же было мое разочарование, когда в спецхране одной из московских библиотек я сумел ознакомиться с его трудами. В них не было глубины мысли. Однако многие отмечают, что Муссолини был талантливым журналистом, остро пишавшим на злобу дня.

Вместе с тем нельзя отказать Муссолини в наличии сильной политической интуиции. На момент прихода фашистов к власти прошло чуть более шести десятилетий после объединения Италии. Однако поставленная Рисорджименто задача создания национального государства не была решена либеральным и консервативным политическим классом. Первая мировая война выполняла задачу «плавильного котла», в котором происходило формирование итальянской нации. Ее ядром стала, по определению Муссолини, «окопная аристократия» [11, 80], в которой смешались различные социальные слои и региональные группы. Батраки, рабочие, предприниматели, адвокаты оказались одетыми в те же самые солдатские шинели, их ожидала одинаковая судьба, которая затем стала судьбой всей нации [8, 8].

Муссолини представлял собой новый тип политика, обладавшего двойственностью, — был своим парнем для простых людей и аристократом для высшего общества. В итальянской историографии есть мнение, не лишенное оснований,

о том, что на самом деле не фашизм, а «муссолинизм» завоевал консенсус народа (П. Мелограни).

Однако не следует преувеличивать устойчивость харизмы Муссолини как лидера в итальянском обществе. По мнению многих итальянских исследователей, консенсус (согласие) между итальянским обществом, политическим режимом и его лидером оказался исчерпанным к концу абиссинской войны, т. е. примерно к 1936 г. В дальнейшем политический режим стремительно терял свою популярность, особенно после вступления во Вторую мировую войну на стороне Гитлера. Последовавшее 24 июля 1943 г. мирное свержение Муссолини его же соратниками не вызвало волну политических протестов в поддержку Муссолини. Возвращенный в сентябре 1943 г. Гитлером к власти Муссолини попытался вдохнуть новую жизнь в итальянский фашизм, восстановить свой политический авторитет.

Вопрос: Что вы можете сказать о современных исследованиях фашизма в нашей стране и за рубежом?

В. И. Михайленко: Исследования фашистского феномена в советской и современной России, как, впрочем, и за рубежом, находились и находятся под сильным давлением политических и моральных обстоятельств. Ничего удивительного в этом нет. Во-первых, с фашизмом в исторической памяти обошлись так, как всегда обходятся с побежденными феноменами. Во-вторых, национал-социализм, фашизм и близкие к ним движения оставили тяжелый кровавый след в памяти народов.

Отсюда всякий раз, когда исследователь пытается глубоко и непредвзято копнуть тему фашизма, поставить неудобные, а зачастую просто нестандартные вопросы, он рискует нарваться на политически оскорбительные ярлыки в свой адрес.

Мне посчастливилось стажироваться в Италии в 1977–1978 гг., когда вышли первые книги многотомной биографии Муссолини, написанной Ренцо Де Феличе. Так случилось, что на период моей стажировки он был назначен моим научным руководителем. Я уже писал в российских и итальянских изданиях, что никогда не был учеником Ренцо Де Феличе. Это было просто невозможно по причине моей марксистской ориентации в тот период. Тем не менее с того времени и по сей день нахожусь в постоянном критическом диалоге с трудами Де Феличе и его учеников.

Выделю основные тезисы, вокруг которых продолжается дискуссия в истории фашизма.

Первый тезис — о происхождении итальянского фашизма. Р. Де Феличе утверждал, что его истоки относятся к леворадикальным идеалам Великой французской революции о власти суверенного народа, о равенстве и братстве, о создании нового человека, о строительстве новой цивилизации. Де Феличе противопоставлял итальянский фашизм другим массовым тоталитарным феноменам, в том числе германскому национал-социализму и советскому коммунизму.

Второй тезис — о персоналистском характере итальянского фашизма. Самым названием своего многотомного исследования «Муссолини» Де Феличе стремил-

ся доказать, что не существует специфики итальянского фашизма без личности его создателя, Муссолини.

Третий тезис — о массовом и революционном характере фашистского движения. Первая мировая война стала мощнейшим катализатором ненависти к власти и глубокого разочарования масс в политике правящей либеральной и консервативной политической аристократии. Ни первая, ни вторая не опирались на массовые политические партии и просто проворонили выход масс на политическую сцену.

В горниле войны выковывался новый социальный феномен — «человек действия», активный и нетерпимый, ненавидевший не только далекие от масс политические, военные, экономические аристократические верхи, но и олицетворявшие их политические институты представительной демократии. Фашистская идеология являлась эклектичной, вобравшей в себя смесь марксистских, синдикалистских, анархистских, националистических, милитаристских идей. Столь же эклектичными были политические требования фашистских программ, которые отвечали запросам различных низших слоев итальянского общества. В качестве альтернативы представительной демократии противопоставлялись идеалы прямой демократии, которые в дальнейшем нашли отражение в системе корпоративного государства.

Четвертый тезис — о роли фашистского насилия и консенсусе (согласии) между народом и фашистским режимом. Все тоталитарные режимы противопоставляли прямую демократию представительной демократии, в центре которой находились идеи «народного суверенитета», «прямого управления народа», «всесобщей воли» (в духе Ж. Ж. Руссо). Лидер, в нашем случае Дуче, выражал «всеобщую волю народа».

Репрессивный характер фашистского режима не вызывает сомнений, даже если количество физических расправ с оппозионерами в Италии было существенно ниже, чем в других тоталитарных обществах. Вместе с тем было бы необъективно отрицать наличие массовой поддержки у фашистского режима. Современные исследователи обращают внимание на социальную политику фашистского режима, которая использовала потенциальные возможности государственной мобилизации. Как отмечал Дж. Моссе, в начальный период пребывания у власти фашисты требовали от большей части населения лишь разнообразных форм конформистского поведения [11, 85]

Массовая «мобилизация масс» осуществлялась через массовые фашистские общественные и политические организации. В них состояло более 13 млн человек [Там же].

Масштаб и эффективность государственного регулирования были впечатляющими. Это и организация общественных работ, финансируемых государством, таких, как мелиорация и освоение целинных земель, городское строительство, прокладка новых автострад, индустриализация. Их результатом становились сокращение безработицы, реальный рост доходов населения.

В рамках освоения целинных земель формировался новый «национальный» класс мелких сельских землевладельцев. До 40 тыс. человек переселились на осушенные земли. В новой сельской инфраструктуре возникли пять новых

городов. В 1937 г. фашистское правительство объявило «войну латифундиям», начав экспроприацию земель крупных помещиков. Эти действия коснулись прежде всего районов Пулья, Кампании и Сицилии. Реформа была приостановлена высадкой союзников на Сицилии.

Фашистский режим «оседал» в своих интересах преимущества перехода от доиндустриального к индустриальному обществу и идеалы Рисорджименто. Дж. Джентиле утверждал, что фашизм «поворачивается к духу Рисорджименто», поскольку намеревается осуществить интеграцию масс в структуры и жизнь государства [11, 83].

Фашистское государство объявлялось одновременно носителем исторических традиций Римской империи, последовательным продолжателем дела Мадзини и Гарибальди, строителем «новой цивилизации».

Через систему тотального воздействия режим Муссолини воспитывал в фашисте сакральное, мифическое уважение к государству, его этической и религиозной целостности. Согласно фашистской логике государство и нация были синонимами. Невозможно было представить себе государство, которое не являлось бы фашистским, но также невозможно было представить себе фашизм, который не признавал бы государство. «Для фашиста все в государстве, ничего человеческого и духовного, представляющего ценности, не существует вне государства», — провозглашал Муссолини [Там же, 133].

Для завоевания масс фашистское руководство использовало новые медийные технологии, особенно радио, организовывало массовые светские ритуалы в виде парадов, на которых блистал Дуче.

Немаловажное значение имело то, что фашистский режим открыл новые социальные шлюзы для продвижения по службе людей из низов. Муссолини провозгласил принцип обновления фашистского политического класса: «На смену социальной иерархии должна прийти иерархия функций». Фактором внутренней мобилизации масс, как правило, служил внешний враг или внутренний, избранный по принципу расовой или социальной ненависти.

Каждая станция социального лифта была строго выстроена, организационно и идеологически подконтрольна фашистскому режиму. После недолгих поисков идеологических оснований политический режим пришел к простому и фетишистскому варианту — мистике. Ее суть заключалась в одной фразе: «Верить, сражаться, повиноваться. Муссолини всегда прав». Главной целью фашизма являлось формирование коллектива граждан, которые принимали бы участие в жизни государства не как автономные индивиды, а как дисципнированные и покорные бойцы.

Применительно к фашистскому периоду является обоснованным использование понятий «культура в фашистский период» и «фашистская культура». Фашистский режим оставлял деятелям культуры некоторый люфт для свободы самовыражения. Внутрисистемная оппозиция имела ресурсы и ограниченные возможности для изложения своих позиций. Вопреки фашистскому режиму на страницах подконтрольных ему изданий, в кинематографе, в общественных дискуссиях формировался новый правящий и интеллектуальный класс, который после падения фашизма возьмет на себя тяжелую задачу демократического транзита.

Пятый тезис — о предательстве политическим режимом идеалов фашистской революции. Фашистский режим в течение семи лет с момента прихода к власти ликвидировал все институты представительной демократии. Систему прямой демократии олицетворяли корпоративные институты и Большой фашистский совет, созданный в 1922 г. из назначаемых Муссолини функционеров, который спустя семь лет превратился в государственный орган.

Особо следует сказать о Национальной фашистской партии (НФП), которой, несмотря на активность ее секретарей, не удалось стать руководящей политической силой. На местах вся полнота власти принадлежала префектам, лично назначаемым Муссолини. Тем не менее Муссолини не удалось выстроить жесткую и эффективную «вертикаль власти». Все ее звенья погрязли в сооперничестве и безответственности, имело место давление на власть со стороны экономических групп [3, 45].

В течение десятилетия старый политический класс был полностью отстранен от власти [1, 289–294, 314]. Тем не менее становилось очевидным, что фашистские институты являются фасадом конструкции, за которой скрывался альянс фашистской верхушки с королевским двором, военными кругами, частично с судебной властью и поддержавшей фашизм финансовой и промышленной олигархией. Муссолини лично осуществлял политический компромисс между фашистскими институтами, королевским двором, военными, финансовой и промышленной олигархией.

В разгар экономического кризиса Муссолини усилил регулирующую роль государства в экономике через создание двух государственных структур: *Istituto Mobiliare Italiano* (государственный институт финансирования промышленного развития) и *Istituto per la Ricostruzione Industriale* (государственный институт поддержки банков и связанных с ними предприятий). Оба института поддерживали динамику государственно-частных отношений в банковской, финансовой и промышленной сферах и контролировали производство вооружений, энергетику, телекоммуникации, металлургию и судостроение. Одним из первых в капиталистическом мире фашистский режим начал осуществлять концепцию частногосударственного сотрудничества.

Переходом на рельсы милитаризованной экономики и объявлением маленькой, но победоносной войны в Абиссинии в 1934 г. Муссолини попытался активизировать итальянскую экономику, стимулировать патриотическую волну в итальянском обществе. Отчасти ему это удалось. Однако наиболее радикальная часть фашистского движения, представленная батраками, рабочими, мелкой и средней буржуазией, фашистской интеллигенцией, разочаровалась в экономической, социальной и внешней политике Муссолини к середине 30-х гг. [9, 132]

В 1938 г. Муссолини переключает внимание общества на поиски новых внутренних врагов: принимаются антисемитские законы. И фашистская Италия вступает на путь вооруженного пересмотра версальских соглашений.

Вопрос: Разве итальянский фашизм не демонстрировал свою внешнеполитическую агрессивность с момента прихода к власти?

В. И. Михайленко: Фашистское движение использовало недовольство, прежде всего фронтовиков и империалистической части общества, спекулируя лозунгом

«утраченной победы». Вместе с тем в первое десятилетие фашистское руководство стремилось к мирному пересмотру итогов Парижской мирной конференции 1919 г. Как ни парадоксально, но вплоть до 1932 г. фашистская Италия была одним из гарантов версальской системы. Все свои требования по пересмотру Версальского мира она не выносila за рамки Версальской системы, проявляя себя как ее внутрисистемная оппозиция. И только после прихода Гитлера к власти она встала на путь вооруженного пересмотра мирных договоров, практически до июня 1940 г. маневрируя между Германией и западными державами в рамках так называемой «параллельной стратегии».

Вопрос: Как оценивается современниками управленческий опыт фашистского режима?

В. И. Михайленко: Дискуссии об эффективности фашистской системы управления и масштабах модернизации страны продолжаются, и особенно под углом критики представительной демократии и противопоставления ей прямой демократии. Некоторые итальянские исследователи даже называют фашистский режим в Италии не тоталитарным, а «мягким авторитаризмом» (Ф. Перфетти), ссылаясь на «недостроенность» фашистской системы в период 1922–1943 гг. по причине «вынужденного» компромисса Муссолини с королевским двором и старыми политическими и экономическими элитами. Тем не менее остается историческим фактом, что Муссолини не удалось создать эффективную и рациональную политическую и экономическую управленческую систему [9, 141].

Не только консенсус между властью и обществом оказался кратковременным, но даже не сформировались устойчивые связи, поддерживающие диалог между ними. На смену модернизации пришла фашистская стабильность [4, 37].

Говоря о кризисе фашистского режима, исследователи называют различные даты. Одни утверждают, что это произошло в связи с Абиссинской войной, другие ссылаются на период принятия расистских законов в 1938 г., третьи называют вступление во Вторую мировую войну в июне 1940 г. Р. Де Феличе полагал, что после двойного поражения Италии под Сталинградом и Эль-Аламейном можно говорить о кризисе политического режима. «Если бы не случилась военная катастрофа, то ни итальянский правящий класс, ни фашистская буржуазия, ни даже народные слои не имели бы интереса и сил освободиться от фашизма» [2, 123].

Тем не менее остается историческим фактом, что Муссолини был отстранен от власти в результате заговора его же соратников, которых он лично назначил в Большой Фашистский Совет. Реакция фашистов ограничилась распространением по всей Италии, и прежде всего в Риме, листовок, восхвалявших Муссолини и порицавших короля и нового главу правительства маршала П. Бадольо [4, 33].

Итальянские исследователи отмечают, что национальные чувства итальянцев в большей степени, чем отставка Муссолини, затронуло известие о бегстве короля и ряда военачальников, о роспуске армии в связи с провозглашением перемирия 8 сентября 1943 г. [2, 123]. Симптоматично, что активизация фашизма и восстановление фашистских партийных ячеек происходят не в связи с отставкой Муссолини, а после объявления о перемирии. В течение месяца, начиная

с 9 сентября 1943 г., в оккупированной Германией Северной Италии была восстановлена политическая и социальная инфраструктура фашистского режима: профсоюзные организации, органы социального обеспечения, благотворительные учреждения, зависимые от партии [3, 6–7]. В отличие от периода 1922–1943 гг. в Итальянской Социальной Республике «левый фашизм» влиял на формирование государственных институтов и политику, которые, по крайней мере формально, имели антибуржуазную направленность.

Вопрос: Тем не менее весной 1945 г., когда нависла угроза падения фашистского режима, почти вся Италия стала антифашистской?

В. И. Михайленко: В рамках поставленного вами вопроса мне хотелось бы связать между собой значение второго пришествия Муссолини к власти, который попытался в Итальянской Социальной Республике реализовать планы строительства «истинно» фашистского режима, и стратегии послевоенного развития Италии.

За кулисами смены политических режимов в Италии всегда стояла тема интерпретации и имплементации идей Рисорджименто в политическую жизнь страны. В Италии XX в. не было ни одной политической силы, которая не стремилась бы предложить обществу свою «единственно правильную» стратегию реализации идей Рисорджименто, т. е. строительства национального государства. При этом после падения тоталитарного режима массовое итальянское общество *a priori* исключало для себя реализацию либеральной альтернативы.

После Второй мировой войны продолжилась борьба за идеалы Рисорджименто. Коммунистам удалось, во многом благодаря идеям А. Грамши и политической стратегии П. Тольятти, сформировать в обществе представление о КПИ как о единственном продолжателе демократических традиций Рисорджименто, антибуржуазных и антилиберальных. Неудивительно, что коммунистической партии удалось рекрутировать в свои ряды и привлечь на свою сторону симпатии многих радикально настроенных фашистов из различных социальных слоев, в том числе интеллигенции. Многие статьи социально-правовых документов фашистского режима и формы социальной организации, прежде всего синдикалистские, вошли в соответствующие правовые регламентации трудовых отношений и оказались на деятельности профсоюзов.

После окончания Второй мировой войны итальянское общество не вернулось к ценностям дофашистской эпохи, в далеком прошлом остался проект под названием «исторический фашизм», однако не были реализованы в полном масштабе коммунистический и христианско-демократический проекты. Я разделяю мнение тех исследователей, которые считают, что «исторический фашизм» в своих политических формах навсегда закончился в 1945 г. Однако он оставил глубокий след в ментальности людей, в психологии и стиле поведения, прежде всего это проявляется в общественной нетерпимости, идеологическом подавлении, унижении противника вплоть до его уничтожения [6, 4]. Умберто Эко пишет: «...Хотя политические режимы свергаются, идеологии рушатся под напором критики, дезавуируются, за всеми режимами и их идеологиями всегда стоят: мировоззрение и мирочувствование, сумма культурных привычек, туманность темных инстинктов, полуосознанные импульсы».

Практически вся история Первой республики в Италии является примером жестокой борьбы идеологий и политических сил.

Вопрос: Прошло девять десятилетий с момента начала фашистского эксперимента в Италии. Каким он остается в сегодняшней исторической памяти итальянцев?

В. И. Михайленко: Спустя почти девять столетий с момента официального появления фашизма он продолжает оставаться явлением загадочным и ускользающим от рационального научного определения, несмотря на сотни научных исследований, дебаты как в самой Италии, так и за ее пределами.

Разброс суждений в Италии является настолько широким, что иногда кажется невозможным найти точки их соприкосновения. И сегодня исследователи продолжают обсуждать, было ли фашистское движение автономным или являлось инструментом иных политических и экономических сил; имел ли фашизм собственную идеологию и культуру или выполнял роль наемников, осуществлявших насилие; был ли он феноменом модерна или антимодерна; революционным или реакционным; авторитарным или тоталитарным.

Не существует также согласия в вопросе о месте фашизма во времени и в пространстве.

До сих пор обсуждается вопрос о том, где и когда появился фашизм, является ли он исключительно итальянским феноменом или универсальным, вобравшим в себя черты мирового феномена? Можно ли говорить о «фашизмах» как разновидностях явления, имеющего ту же самую матрицу?

Была ли определенная во временных границах «фашистская эпоха» или это явление, не имеющее временных ограничений и поэтому представляющее собой постоянную и реальную опасность человеческому существованию?

Некоторые исследователи вообще ставят под сомнение сам факт существования универсального фашистского феномена, указывая на его отдельные элементы, такие, как «антипролетарская реакция буржуазии», «моральная болезнь европейского сознания», «патологический упадок массового общества», «выброс накапливавшихся веками дефектов народа, еще не освоившего ценности либеральной демократии» и т. д. [6, 6].

Отдельные исследователи предлагают исключить из научного обращения само понятие «фашизм» как не соответствующее исторической реальности. И заменить его более широким понятием «тоталитаризм».

Применительно к итальянскому фашизму в последние годы набирает силу концепция «ретроактивной дефашизации», т. е. фашизм лишается его исторической индивидуальности. «Дефашизация» фашизма проявляется в различных формах: отрицаются сами факты существования фашистской идеологии, фашистской культуры, правящего фашистского класса, согласия масс с фашизмом («массовый консенсус»), фашистского тоталитаризма и даже фашистского режима [7, 5].

Новым поводом для активизации дискуссий об итальянском фашизме стало празднование в 2011 г. 150-летия Объединения Италии.

Многие политики и исследователи высказывают свое неудовлетворение состоянием современной Италии. Отцы Рисорджименто, пишет Э. Джентиле,

выдвигали три фундаментальные цели: освобождение итальянца от деспотического рабства и конформизма; обретение им достоинства в качестве гражданина национального государства; независимость гражданина от наследственных или кастовых привилегий. По мнению историка, ни одна из поставленных целей не достигнута в полной мере [7, 5].

Современная Италия сложилась в ходе противоречивого исторического процесса, насыщенного борьбой, соперничеством, конформизмом и компромиссами между различными идеями и политическими силами. Она не получилась такой, какой ее замышляли отцы-основатели и их последователи. Однако, если присмотреться внимательно, в ней всегда можно разглядеть следы пережитых эпох, в том числе фашистского периода.

-
1. Белоусов Л. С. Режим Муссолини и массы. М., 2000.
 2. Парлато Дж. От фашизма к постфашизму: проблемы преемственности и различий // Изв. Урал. гос. ун-та. Сер. 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2010. № 2 (75). С. 123.
 3. De Felice R. Intervista sul fasismo a cura di M. Ledeen / ed. Laterza, 1976.
 4. De Felice R. Rosso e Nero // F cura di P. Chessa. Milano, 1995.
 5. Fare gli italiani. dalla costituzione dello Stato nazionale alla promulgazione della Costituzione repubblicana (1861–1948) / a cura di Giuseppe Parlato e Marco Zaganella. Roma, 2011. P. 21–22.
 6. Gentile E. Il fascismo in tre capitoli. Roma ; Bari, 2006.
 7. Gentile E. Italiani senza padre. Intervista sul Risorgimento / a cura di S. Fiori. Ed. Laterza, 2011.
 8. Mosse G. L. Democrazia totalitaria e nuovo stile politico // Nuova storia contemporanea. 1998. № 4.
 9. Tranfaglia N. Il ventennio del fascismo // La storia negata. Il revisionismo e il suo uso politico. A cura di Angelo Del Boca. Venezia, 2009. P. 141.
 10. Ugo Spirito trenta anni dopo. Annali XX–XXI. Fondazione Ugo Spirito. Roma, 2009. P. VIII–IX, 5.
 11. Zaganella M. Il fascismo e la nazionalizzazione delle masse // Fare gli italiani. dalla costituzione dello Stato nazionale alla promulgazione della Costituzione repubblicana (1861–1948). Roma, 2011. P. 80.

Рукопись поступила в редакцию 30 ноября 2012 г.

Г. КЛИМТ: ДИАЛОГ ФИЛОСОФИИ И ИСКУССТВА

17 октября 2012 г. в нашем городе прошел круглый стол «Г. Климт (1862–1918): диалог философии и искусства», организованный кафедрой философской антропологии департамента философии ИСПН УрФУ при поддержке Почетного консульства Австрийской Республики в Екатеринбурге. Мероприятие было связано с посвященной 150-летию со дня рождения художника выставкой «Густав Климт и австрийский модерн», которая состоялась в Музее истории Екатеринбурга. Публикуемые ниже статьи написаны авторами на основе их выступлений на круглом столе.

УДК 7.01 + 75.01 + 75.051(436) + 159.964.26 + 1(091)

А. В. Перцев

МЫСЛИ О МЕНТАЛИТЕТЕ И ЦЕЛОСТНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ, НАВЕЯННЫЕ КАРТИНАМИ Г. КЛИМТА

В статье сделана попытка связать художественную стилистику Г. Климта с ключевыми характеристиками австрийского менталитета второй половины XIX – начала XX в., которые, по мнению автора, проявляются также в философии Э. Маха, в психоанализе З. Фрейда, в философии Венского кружка. Эти размышления предваряются общетеоретическими положениями о сущности менталитета как национального «склада ума и мировосприятия».

Ключевые слова: австрийский менталитет, национальная культура, Венский кружок, эмпириокритицизм, психоанализ.

Читать о картинах так же нелепо, как нюхать музыку.

В публикациях, посвященных картинам, искусствоведы учат других видеть так, как видят они сами, и выдают при этом свое видение за общезначимое и единственно верное. Наиболее неуверенные в себе искусствоведы пытаются опе-

© Перцев А. В., 2013

реться на авторитет природы и до сих пор утверждают, что прекрасное (безобразное, комическое и т. п.) существует в самой природе как объективная реальность. У них не хватает мужества признать, что это — их собственное представление о прекрасном (безобразном, комическом...), которое они готовы отстаивать в честной полемике.

Впрочем, в нынешние позитивистские времена даже материалистическая философия в ее наивном, простонародном виде отходит на задний план. Значение имеют только зафиксированные факты, т. е. научно запротоколированные ощущения. Основоположник позитивизма француз О. Конт велел своим последователям начинать строго с опыта — с того, что дано в наблюдении, а затем переходить от этого непосредственно к цифрам, т. е. к статистике. На этом пути он требовал избегать всей и всяческой словесности, поскольку она уводит человека к ненаучным фантазиям, столь характерным для детского, незрелого мышления.

И вот позитивизм восторжествовал: эстетик-искусствовед видит на картинах Г. Климта «женщин в окружении цветных пятен». Еще он замечает, что женщины изображены во всей их красоте, а вот мужчины, если и появляются на картинах Г. Климта, остаются фигурами непроясненными: их лиц не видно. Отсюда современные искусствоведы из Интернета делают вывод: в творчестве Г. Климта преобладает эротизм, «то есть явный интерес к женщинам». Сделав столь смелое обобщение, последователи О. Конта в искусствоведении пугаются недопустимо высокого уровня теоретизирования и переходят к цифрам. Они приводят обильную информацию о том, когда, кому и по какой цене были проданы и перепроданы картины Г. Климта. (К примеру, сообщается, что рекордной для художника оказалась цена портрета Адели Блох-Бауэр (1907), проданного за 135 миллионов долларов.)

Вот, пожалуй, и все, что можно почерпнуть из самоновейших публикаций о картинах художника.

Ничего удивительного в этом нет. В позитивистские времена, которые настают сегодня в России, поспевающей подражать западному миру, люди в большинстве своем уже не могут помыслить что-либо, чего они предварительно не видели бы. Естественно, не встает у них и вопрос о том, не указывает ли изображенное на нечто такое, чего увидеть нельзя — на нечто такое, что не дано в ощущении, а постигаемо только умом (умопостигаемо). Между тем именно таким и оказывается вопрос о том, насколько *Г. Климт представляет австрийскую культуру*, насколько он *австрийский* художник.

В свое время научный руководитель автора этих строк, профессор университета г. Вена Г. Пельтнер, заявил на консультации, что нет никакой австрийской философии, но есть *философия в Австрии*. Быть может, не существует и австрийского изобразительного искусства, но существует лишь изобразительное искусство в Австрии?

Разумеется, специфику австрийской культуры одними только глазами не увидишь: человек способен увидеть только то, что уже готов увидеть теоретически. Нужна по крайней мере исходная гипотеза о том, что представляет собой австрийская культура. Только имея общее представление о ней, о ее специфике,

можно рассмотреть на ее фоне творчество Г. Климта, зафиксировать совпадения и несовпадения, принадлежность и непринадлежность.

К решению вопроса о национальной культуре на сегодняшний день сформировалось несколько подходов. Первый из них — его можно условно назвать *культурно-эмпирическим* или *социально-психологическим* — был некогда представлен в отечественной литературе первоходцем Ю. В. Бромлеем. Этот исследователь честно проанализировал огромную массу публикаций по теме, а затем произвел некоторые обобщения и выявил неразрешимые антиномии:

Представление о национальном (этническом) характере как особой социально-психологической категории исходит из того, что не отдельные личности выступают в качестве элементов этой категории, а прежде всего специфические для данной этнической общности социально-психологические черты. Хотя в природе не существует таких черт вне психики отдельных личностей, однако национальный (этнический) характер было бы неверно сводить к простой сумме их психических свойств. Как известно, социальный коллектив усиливает или ослабляет те или иные стороны индивидуальной психики. Это относится и к этническому характеру. Уже не раз отмечалось, что он значительно отчетливее проявляется в случаях, когда выступают не отдельные лица, а группы взаимодействующих людей. Но вместе с тем очевидно и то, что черты национального (этнического) характера должны быть так или иначе интегрированы в психике индивида. Поэтому само собой разумеется, чтобы считаться типичными для данного этноса, соответствующие черты характера должны быть присущи большинству или по крайней мере значительной части его членов и отличать их от представителей других этносов. Однако эта типичность не исключает наличия вариаций отдельных специфических социально-психологических черт в различных группах, входящих в данную этническую общность. Более того, в классовых обществах такие вариации обычно доминируют. Следует напомнить и то, что особенности групповой психики (в том числе и этнической) не сводятся к простой сумме психических черт составляющих ее индивидуумов. Вообще необходимо особо подчеркнуть недопустимость абсолютизации характера отдельных этнических общностей. Ведь большинство определяющих черт характера, таких, как трудолюбие, патриотизм, мужество, целеустремленность, являются общечеловеческими. Следовательно, речь может идти не о монопольном обладании какой-либо этнической общностью той или иной из этих черт, а лишь о различии между отдельными народами в формах (оттенках и стиле) ее проявления. Легко, например, заметить, что в силу специфики социально-экономических, географических и других условий существования такое свойство, как трудолюбие, проявляется у различных народов далеко не одинаково... [1, 149–151].

Вся сложность рассматриваемой темы представлена у Ю. В. Бромлея как на ладони. Итак, во-первых, о национальном характере народа надо судить по характерам отдельных его представителей (какой же это национальный характер, если он не проявляется у отдельных представителей народа?). Во-вторых, методом суммирования индивидуальных характеров и выстраивания определенных статистических распределений проблему не решить, поскольку индивидуальные характеры не суммируются в национальный. В группе люди не ведут себя индивидуально. У них, по мнению Ю. В. Бромлея, именно в группе лучше проявляются национальные черты, и проявляются они тогда, когда участники группы следуют за лидером-вожаком. (К примеру, на какой-нибудь патриотический марш.) В-третьих, у разных народов могут быть общие черты, так что можно и нужно их считать общечеловеческими (Ю. В. Бромлей из политкорректности приводит только положительные черты, такие как трудолюбие, му-

жество и т. п., но можно смело дополнить их и отрицательными). Дело, стало быть, не в качественном, а всего лишь в количественном, «процентном» различии национальных характеров. В-четвертых, наконец, на национальный характер влияют климат и прочие географические условия, а также условия социально-экономические. Так что, рассуждая теоретически, при переезде представителей какого-либо народа в другую местность они должны утрачивать некоторые черты национального характера. То же самое происходит и при изменении социально-экономической обстановки: к примеру, при разрухе национальный характер один, а при процветании — другой.

Как и всякий эмпиризм, губительный для теоретических построений, эмпиризм Ю. В. Бромлея заставляет усомниться в существовании национального характера вообще — и, стало быть, в существовании австрийской живописи в частности.

Но есть и иные авторитетные мнения, высказанные относительно недавно. Так, своеобразная форма неогегельянства была возрождена экономистом и знатоком истории экономики П. Козловским:

Любая человеческая культура содержит в себе социальную метафизику, в которой заключены последние всеобщие принципы «мировоззрения», и эта социальная метафизика оказывает решающее влияние на концепцию хозяйственной системы [3, 29].

Иными словами, любая экономика не может быть объяснена только из нее самой — равно как и любая культура. Любой народ есть воплощение некоего замысла Мирового Разума, носитель определенной жизненной философии — даже тогда, когда у этого народа философия еще не сформировалась в осознанном виде. По мнению П. Козловски, есть некая *философия* («социальная метафизика»), составляющая стержень любой экономики и любой человеческой культуры — даже в тех обществах, где профессиональная философия еще отсутствует. Стало быть, эта «социальная метафизика» существует без профессиональных философов и независимо от них, не осознавая себя и не находя до поры своего собственного, философского языка для самовыражения. И тем не менее существует. Эта «социальная метафизика» содержится в недрах *любой (!) человеческой культуры*. Даже той, которая, возможно, еще не только не развила свою философию, но и не имеет собственной письменности.

В соответствии с данной «социальной метафизикой» действуют великие и рядовые организаторы хозяйства, хотя они и не читают философские и теологические трактаты. (Основатель династии уральских заводчиков Демидовых, как известно, и вовсе был неграмотным.) Они *полагают* эту философию хозяйства и следуют ей сами, а также заставляют следовать других.

«Социальная метафизика» является именно *метафизикой*, потому что предлагает организатору экономики не конкретные решения, не конкретные методы действия и мышления, а всеобщие *принципы «мировоззрения»*. П. Козловски намеренно берет слово «мировоззрение» в кавычки, потому что обычно о мировоззрении принято говорить как о чем-то осознанном. Но это «мировоззрение» в кавычках вовсе не всегда осознается отчетливо. А уж тем более «социальная метафизика», лежащая в его основах.

Пожалуй, сегодня, в позитивистские времена, когда не в почете даже явная, осознанная и продуманная философия, никто не станет верить, что существует еще и философия неявная, не постигаемая до поры до времени, но настолько влиятельная, что с ней во всем сообразуется народ. Неосознанная «социальная метафизика», заложенная Мировым Разумом в жизнь каждого народа и смутно схватываемая этим народом во всей своей культуре, экономике и общественной жизни, это, пожалуй, чересчур сложная и затейливая интеллектуальная конструкция для позитивистских времен.

Поэтому современная историческая наука во Франции предпочитает говорить о *менталитете народа*, который творит историю. Школа «Анналов» исходит из того, что историю творит народ, который не отличается философской грамотностью и вообще не склонен рассуждать о смысле своей жизни и деятельности. Слово — это «великий отсутствующий в истории». Профессиональные философы — представители идеалистической философии истории — лишь придумывают смысл истории *задним числом*, т. е. уже после того, как все случилось. А действует в истории вовсе не разум — действует некое волевое, наделенное энергией, здравым смыслом и чувствами начало, которое и называется менталитетом народа. Именно его и следует постигать, используя не только и не столько разум, сколько метод понимания, предполагающий герменевтику, направленную на дошедшие до нас вещи, на сохранившуюся материальную культуру. О своей науке представители школы «Анналов» говорят как о ментальной истории или как об исторической антропологии. Принципы ее попытались выразить один из крупнейших современных знатоков Средневековья Жак Ле Гофф. Он пишет:

Я не переставал интересоваться и тем, что скорее склонен называть историей культуры, нежели историей идей... Я обязан Морису Ломбару... потребностью в тотальной истории, где культура и материальная цивилизация взаимодействуют в ходе социоэкономического анализа обществ. Я почувствовал грубость и неадекватность вульгарной марксистской проблематики базиса и надстройки. Не отрицая значение теории в общественных науках, и особенно в истории (очень часто историк, презирающий теорию, бессознательно становится марионеткой имплицитных и примитивных теорий), я не бросался в теоретические исследования, если не чувствовал в себе способностей к этому или предчувствовал, что буду втянут в то, что вместе с множеством историков считаю заклятым врагом истории — в философию истории. Я вплотную подошел к некоторым темам ментальной истории, перед лицом этой модной концепции, несущей в себе все плюсы и все опасности модных явлений, пытаясь показать полезность подхода, не дающего истории застояться, и двусмысленность этой одновременно широкой и плодотворной концепции, ломающей существующие барьеры, но и опасной, поскольку слишком легко дрейфует к псевдонаучности... Я столкнулся с противопоставлением культуры просвещенной и культуры народной. Здесь не все однозначно. Просвещенную культуру определить не так просто, как кажется, а народная культура отмечена двусмысленностью эпитета «народная»... Но при условии определенных оговорок о том, какие документы используются и какой смысл вкладывается в сами понятия, я верю в эффективность данного инструментария. Под этой вывеской собирается целый ряд явлений, происходит великий диалог письменного и устного; слово — великий отсутствующий в истории, пишущейся историками, — дает себя поймать по крайней мере в виде эха, гула, отголоска... Я хотел бы... содействовать созданию исторической антропологии... [5, 11–12].

Ж. Ле Гофф ссылается на великого историка Жюля Мишле (1798–1874), который первый сказал, что история должна быть не речью о народе, а речью народа. Именно народ, который безмолвствовал, действуя, или же изъяснялся невнятно, но реально творил вполне внятную материальную культуру и строил общественные отношения, теперь должен сказать свое слово устами «историков безмолвного», которые должны «терпеливо, черпая вдохновение в этнологии Иного, искать метод, который заставит высказаться лишенное языка, разговорит немых действующих лиц истории» [5, 34].

Ж. Ле Гоффа не смущают трудности, которые ждут того, кто намерен дать высказаться безмолвному в истории, дать зазвучать «великому отсутствующему» в ней — слову народа, выражющему его собственное, а не приписываемое ему мышление. Не смущает его и неопределенность понятия «народ», если требуется говорить о народном менталитете как о неосознанной (профессиональными философами!) мыслящей силе, творящей историю:

...Ввергал в крестовые походы, коммуну или шабаш... главным образом народ. Это неопределенное слово не пользуется любовью историков, даже наименее склонных к социологии. Однако сегодня мы вновь открываем реальность и исторический вес социальных действующих лиц, не имеющих четких контуров: молодежь, массы, общественное мнение, народы [Там же, 34–35].

Но, быть может, существование неосознаваемой «философии хозяйства» отличает лишь примитивные человеческие общества, а затем она исчезает, уступая место вполне осознанным представлениям? Нет, она продолжает существовать и в высокоразвитых в культурном отношении обществах. Здесь следует пояснить, во избежание недоразумений, что понятие *«неосознанное»* применительно к этой социальной метафизике, выступающей смысловым стержнем экономики, не имеет ничего общего ни с мистикой, ни с какой-либо «глубинной психологией» типа фрейдистской. В высокоразвитых обществах это неосознанное никогда было осознанным, но перестало быть им. В соответствии с известным афоризмом любая мысль проходит в своем развитии три этапа: на первом она кажется скандалом и потрясением основ, на втором воспринимается как общее место, как тривиальность, на третьем представляется предрассудком. Именно на втором из этих этапов она и превращается из осознанного в неосознаваемое, поскольку менее всего сознание человеческое обращает внимание на самоочевидное, ясное даже ребенку. То, что было величайшим открытием, через два-три поколения становится привычным, ибо впитывается «с молоком матери», и о нем уже никто не размышляет — вплоть до наступления третьего этапа, когда сознание вновь обращает на него внимание как на досадный предрассудок.

Всякая удачно найденная форма организации производства и общественной жизни когда-то была величайшим новшеством, изобретением того, чего не было раньше, результатом открытия, сделанного живым и творческим умом. Затем она превращалась в *прецедент*, на который ссылались в спорах другие, и в *образец* для подражания. Наконец, она прочно усваивалась большинством и с течением времени превращалась в составляющую традиции, которой

следовали уже *бездумно*. Ведь она казалась единственным возможным, *само собой разумеющимся* решением. Но то, что разумеется *само собой*, не «разумеется», т. е. не осмысливается, сознанием: сознание считает ниже своего достоинства тратить время на размышления о тривиальном. Так и оказывается, что разумеющееся *само собой* обретает автономное существование, начинает выступать как квазиинстинктивная, «автоматическая» срабатывая жизненная установка.

Из таких *само собой разумеющихся*, а потому *уже не осознаваемых, принятых неосознанно* жизненных установок и составляется *жизненная философия народа*.

Само собой разумеющееся остается таковым в сознании людей, не занимающихся профессионально философией (назовем их *людьми практическими*), потому, что их сознание направлено не на само себя, а вовне, в ту сферу, в которой эти люди действуют. Эти люди употребляют свой ум для ориентации в мире и для выбора оптимального способа действий в нем. Чем более напряженной является их деятельность, тем меньше времени у них остается на рефлексию, на осознание того, на основании чего они строят общую стратегию своих действий в мире. До тех пор, пока действия в мире приводят к успеху, до тех пор, пока процент неудач остается *сносным*, человек практический предпочитает вообще не размышлять об основаниях своих действий. Потребность в таком размышлении возникает лишь тогда, когда привычные действия перестают приводить к успеху, когда создается угроза для выживания, поскольку постоянные неудачи лишают возможности добывать средства к жизни.

Однако отсутствие рефлексии во время более или менее успешной практической деятельности, направленной на собственное жизнеобеспечение (а в традиционных и «догоняющих» обществах она составляет, в норме, большую часть жизни), вовсе не означает, что человек практический может хотя бы на время обходиться без целостной жизненной философии. Обычно она именуется «миропознанием», но название это не особенно удачно. Паралитик тоже взирает на мир, но лишен возможности действовать. Жизненная философия не результат праздного созерцания, а способ выражения предельных оснований для выбора жизненной стратегии, которая затем выражается в конкретных жизненных тактиках и в каждом отдельном поступке. Совершая поступки, человек постоянно должен быть убежден в своей правоте, и эта совершенно необходимая для достижения жизненного успеха уверенность как раз и обеспечивается постоянным согласованием единичных действий с собственной жизненной философией.

Кант, как мы помним, признавал, что без такой жизненной метафизики не может существовать *ни один* человек, что потребность в ней витальная. Однако он тут же заявлял, что эта жизненная метафизика не выдерживает серьезной критики. Его намерение состояло в том, чтобы заменить жизненную философию иной, более совершенной.

Прагматизм впервые уравнял такую жизненную философию в правах с философией профессиональной и даже поставил первую выше второй. Прагматизм принял жизненную философию как данность, отнесся к ней с уважением — еще бы, ведь на основании этой философии была построена динамичная

американская экономика! — и попытался описать ее особенности на языке философии профессиональной.

Лекции У. Джемса, впоследствии составившие книгу «Прагматизм», начинаются цитатой из Г. К. Честертона, восславляющей жизненную философию людей практических под названием «мировоззрение»:

...Честертон пишет: «Есть люди — и я из их числа, — которые думают, что самое важное, т. е. практически важное, в человеке — это его мировоззрение. Я думаю, что для хозяйки, имеющей в виду жильца, важно знать размеры его дохода, но еще важнее знать его философию. Я думаю, что для полководца, собирающегося дать сражение неприятелю, важно знать численность его, но еще важнее для него знать философию неприятеля. И я думаю даже, что вопрос совсем не в том, оказывает ли мировоззрение влияние на дела, а в том, может ли в конце концов что-нибудь другое оказывать на них влияние». В этом вопросе я согласен с Честертоном. Я знаю, леди и джентльмены, что каждый из вас имеет свою философию и что самое интересное и важное в вас — способ, каким эта философия определяет различные перспективы в ваших различных мирах [2, 209].

Мир экономики, мир истории складывается не из результатов отдельных поступков людей (в этом случае он действительно был бы хаотичным «броуновским движением»), а из множества индивидуальных человеческих миров, действительно выстраиваемых в соответствии с жизненными философиами людей практических. Та «социальная метафизика», которая, по мнению П. Козловски, выступает смысловым стержнем любой человеческой культуры, заключает в себе всеобщие принципы «мировоззрения» и оказывает решающее влияние на концепцию любой хозяйственной системы, складывается в результате постоянного противоборства таких «жизненных философий». Но они вовсе не уничтожаются взаимно, поскольку являются разнородными! Люди практические утверждают свои жизненные философии как доминирующие в обществе и заставляют остальных принимать их как собственные — утверждают не только впечатляющими результатами собственной деятельности, но и тем, что называется «характером», способностью «подавать пример», увлекать за собой и подчинять своей воле, а порой — и с помощью прямого насилия, особенно в тех обществах, которые проигрывают в экономическом соревновании с соседями и, как следствие, начинают опасно отставать в области вооружений.

Жизненные философии обладают великим могуществом. Именно они строят вокруг себя материальные миры, воплощаясь в материи и организуя ее, подобно аристотелевской внутренней форме. Носители жизненных философий — люди дела — отнюдь не страдают от презрения «философов по профессии» и от их критики. Они чаще всего даже и не догадываются о том, что их жизненные метафизики критикует какой-то «взыскательный ум» профессионального философа. Жизненная философия, собственно говоря, не нуждается даже и в том оправдании, которое ей обеспечивает прагматизм. Она оправдывает сама себя — своими практическими результатами. Она самодостаточна. Она вполне может существовать и без философии профессиональной.

Проблемой жизненная философия является отнюдь не для себя самой, а только для «философов по профессии». Это они принимают свое умение лучше выражать

свои мысли в слове за превосходство в мышлении — над теми, кто выражает свои мысли в деле. Бессспорно, «философы по профессии» лучше говорят и лучше пишут, поэтому в обществе звучат только их голоса. Они искренне полагают, что такая монополия на слово и есть убедительное доказательство их превосходства в мышлении — забывая, что весь *мир говорения и писания*, а в конечном счете и *мир сознающего себя сознания*, создан ими самими и навязан *миру практического дела* — вначале посредством крещения, а затем — посредством просвещения.

Философ как представитель *мира слов* приучил общество к мысли о том, что слово должно предшествовать делу. Везде — от Библии до современной системы образования — эта мысль проходит красной нитью. Философ, наставлявший будущего человека дела в школе, полагает, что имеет право наставлять его всю жизнь (выражением мечтаний подобного рода сегодня является «непрерывное образование взрослых»). Он не принимает всерьез *жизненную философию* людей дела, равно как и все их практические занятия. Вращененный в *мире слов*, философ не может воспринимать мир бизнеса, мир хозяйства иначе, как несовершенный и противоречивый *текст*, составленный его недоученными выпускниками. (Для человека дела философия, наоборот, представляется особого рода бизнесом.) Этот *текст*, по мнению философа, следует *править, улучшать одним усилием мысли* — при минимальном практическом усилии пишущей руки. Проблема для «философа по профессии» начинается тогда, когда оказывается, что текст истории, текст материальной культуры *противится его правке*. Момент обнаружения этого и есть момент обнаружения *философского менталитета людей дела* профессиональным философом. Однако неосознанная философия, воплощающаяся ежечасно в образе жизни народа и столь же ежечасно подтверждаемая или корректируемая им, отнюдь не возникает в данный момент.

Пусть и нас не смущает пока недостаточная определенность понятия «менталитет». Коль скоро к нему движутся по сходящимся направлениям экономисты, социальные психологи, историки, то вполне естественным будет и движение со стороны историко-философской науки. Специфика ее подхода к проблеме национального менталитета, по всей видимости, будет определяться тем, что она не будет, подобно историкам, относиться к философии истории как к «заклятому врагу». Нет, она будет четко различать философию истории, созданную философами, и философию истории, бытующую в народном сознании. Точно так же она будет отличать онтологию и гносеологию, развитую философами по профессии, от онтологии и гносеологии, составляющих основу *жизненной философии* народа. Для такого различия необходимо, правда, на первом этапе получить на основе документов эпохи достоверное представление об этой *жизненной философии* народа. После того как это будет сделано, от различия необходимо будет перейти к сопоставлениям и выявлению взаимовлияния философии профессиональной и философии народной. Если принять гегелевское определение профессиональной философии как эпохи, схваченной в мысли, то нужно уточнить, что именно «схватывает» профессиональная философская мысль.

«Безмозглые» экономические и исторические процессы или неосознанный (философами!) менталитет народа, склад его мышления, который непрерывно творит весь его образ жизни, воплощаясь в нем через посредство живой человеческой деятельности?

Все сказанное только и дает нам ключ к пониманию менталитета народа и к пониманию австрийского менталитета в частности. Только так и можно понять «разрозненные цветные пятна» на полотнах Густава Климта. Они есть порождение той же ментальной причины, которая заставила Эрнста Маха разрушить «вещи-сами-по-себе». Этот великий физик и физиолог занялся философией еще в юности. Прочитав «Пролегомены» И. Канта в библиотеке отца, Э. Мах два года спустя пережил видение, определившее суть его философии: оказавшись на лоне природы ярким летним днем, Э. Мах вдруг увидел, как луг распался на отдельные краски-впечатления (*Empfindungen*), и при этом все отдельные растения исчезли, утратив свою вещную определенность. (Нечто подобное стали рисовать на своих картинах импрессионисты.) Одновременно он почувствовал, что его собственное Я тоже распалось на впечатления — такие же, какие были вокруг, только сильнее связанные между собой.

Глядя на картины импрессионистов или на картины Г. Климта, наш соотечественник — бессознательный реалист — полагает, что все эти художники используют некоторый фокус, пытаясь быть оригинальными. Им не хочется рисовать предметы, как они есть, т. е. заниматься реалистической живописью. Возможно, они ленятся изображать все, как есть, со всей точностью и в деталях, отражая таким образом истину в своем искусстве. Возможно, некоторые из них и не умеют рисовать реалистически, т. е. изображать вещи такими, какие они есть. Вот они и тщатся прикрыть свое неумение рисовать по-настоящему, помещая на своих картинах какие-то размытые пятна или орнаменты. В принципе, подобное же объяснение искусства Г. Климта дают те искусствоведы, которые указывают на сходство его картин с мозаиками Венеции и Равенны, увиденными Климтом во время путешествия по Италии: он просто искал новый стиль и стремился быть оригинальным. Но что заставило его искать новый стиль? Неумение рисовать свои картины реалистически?

Нет, в этом Г. Климта заподозрить нельзя. Он учился рисовать у отца, гравера и ювелира. Тот, видимо, был хорошим наставником: все три его сына стали художниками. Г. Климт как художник получил самое солидное, академическое образование в венском художественно-ремесленном училище при Австрийском музее искусства и промышленности. Освоив в совершенстве искусство фрески, Г. Климт расписывал театры — вначале в провинции, а затем и в столице (Бургтеатр). Он расписал также и здание главной картинной галереи Вены — Художественно-исторического музея, т. е. явил свое искусство художника сразу всем художникам и ценителям изобразительного искусства в стране. За всю эту деятельность император Франц Иосиф наградил его в 1888 г. Золотым крестом за заслуги в искусстве. Едва ли это произошло бы, если бы Г. Климт не умел рисовать. Не надо было ему оригинальничать и по коммерческим соображениям, стремясь к известности: слава у него уже была, его избрали почетным членом университеты Вены и Мюнхена. Так откуда же тогда

поворот к новому, модернистскому искусству — десять лет спустя после награждения Золотым крестом? Откуда пятна и подражания итальянским мозаикам?

Оттуда же, откуда философия Э. Маха. От стремления разрушить вещи-в-себе. Потому что мир, состоящий из вещей-в-себе, незыблем. А Г. Климт и Э. Мах были им недовольны. Они хотели изменить этот мир. Поэтому надо было подготовить тех, кто способен его изменить, — активную часть народа. Люди, которые верят в объективность мира, к которой можно только приспособливаться, познавая его и отражая, рисуя реалистические картины, мир не переделают. Надо, чтобы они перестали верить в существование вещей в себе.

Отметим очень большую разницу между философией И. Канта и философией Э. Маха. Оба отрицают существование вещей в себе и, следовательно, незыблемость мира, который состоял бы из них. Есть только разрозненные восприятия. Тот, кто складывает из них вещи и заставляет нас верить в их реальное существование, просто диктует нам, как следует видеть мир. Это — тиран. Тирана надо свергнуть. Он тормозит развитие страны, пытаясь предусмотреть все и подумать за всех. До сих пор различий в мышлении И. Канта и Э. Маха нет. Они оба хотят разрушить до основания мир, в котором живут. Но дальше начинаются различия. И. Кант тут же строит свой строгий мир, регулируемый этически: свое видение принципов его организации он выдает за общечеловеческие ценности. Э. Мах не желает строить новый мир. Напротив, он всегда будет противником любых устойчивых порядков и врагом тех, кто желает их навести. Он будет разрушать любую теорию, будет дискредитировать ее. Потому что из единственно верных теорий возникает тоталитаризм.

И. Кант — как житель Восточной Пруссии — страстно хотел объединения немецких земель под ее эгидой. (Об этом он, несомненно, говоривал с господами кенигсбергскими офицерами, играя с ними в карты.) Мечта немцев сбылась только в 1871 г., когда возникла единая Германия. До этого момента вся немецкая философия взывала к единству. Гегель, создавший величайшую философскую систему, которая охватывала все, одновременно выступил сторонником всеохватывающего разумного государства, которое единствено и могло придать ценность человеку: твое существование оправдано лишь в той степени, в какой ты служишь всеединому государству.

В Австрии ситуация виделась иначе. Она тоже желала бы объединить всех немцев под своей эгидой, но в 1866 г., проиграв битву при Садовой, окончательно уступила лидерство в немецком мире Пруссии. Но монарх — божьей милостью император Австрии Франц Иосиф — отнюдь не покончил с собой от такой неудачи. Он даже не произвел сколько-нибудь существенных изменений в стране, направленных на мобилизацию ее сил — только все более и более уступал националистам, склонным к сепаратизму. Этот монарх дряхлел вместе со своей империей, а всего он правил 68 (шестьдесят восемь!) лет.

З. Фрейд сказал, что сны — это исполнение наших желаний. То же можно сказать и о произведениях искусства, а также о философских учениях, в которых мы — осознанно или неосознанно — проецируем свои желания на весь мир. Если мы желаем навечно сохранить созданное нами государство, мы будем

всячески способствовать распространению философии, которая говорит о том, что мир объективен — т. е. существует независимо от нас, от нашего мнения о нем, от нашего восприятия этого мира. Мы всего лишь слабые субъекты, а нам противостоит свинцовый, несокрушимый объект. Союз нерушимый народов Австро-Венгрии.

Если мы, наоборот, желаем преобразований, мы должны будем представить мир не объективной реальностью, а продуктом человеческой деятельности — практической и умственной. Так, собственно, и поступил жаждавший преобразований Кант. Мы предоставим тому, кто смотрит на наши картины, самому складывать предметы на них. И они, пройдя такую школу, перестанут верить в вековечность имперских порядков Какании. (Так презрительно именовалась обветшавшая Австро-Венгерская империя — от сокращения K. und K., императорский и королевский, в названиях всех государственных учреждений.)

Но какую философию может выбрать тот, кто желает, чтобы его просто оставили в покое, дали жить так, как он хочет сам, не объединяя его и не организуя, не включая ни в какие единства и общности?

Он выберет философию радикального эмпиризма.

Такую, как у Маха.

Есть только элементы опыта. И пусть каждый складывает их как угодно, по своему вкусу. Для сторонника такой позиции тоталитарен даже Венский кругок и ранний Витгенштейн — с их требованием организовывать опыт посредством железных логических формул. Только П. Фейерабенд, выступающий против всякого методологического принуждения, соответствует по менталитету Э. Маху (которого левые рабочие вносили голосовать за сокращение рабочего дня в парламент на инвалидной коляске) и Г. Климту, разложившему весь мир на пятна.

Но в центре, среди этих пятен, оставившему лицо любимой женщины.

Впрочем, есть и еще одна возможная интерпретация этих цветовых пятен у Климта.

Ликвидация вещей в себе произведена — как избавление от власти метафизического разума и тоталитарной власти.

Нас оставило всякое внешнее принуждение.

Но как мы будем жить теперь? Что будет подвигать нас на действия?

Еще один австриец — Зигмунд Фрейд — ответил на этот вопрос, парадоксально соединив иррационализм и эмпиризм. Доныне эмпиризм говорил только о научном или практически ориентированном опыте. Теперь речь пошла о сновидении — с ударением на второй слог. Мы видим сны, и это тоже опыт. Видение снов — деятельность, результаты которой, по Фрейду, должны тщательно изучаться. Образы, являющиеся во сне, ничуть не менее ценны, чем впечатления физика, ставящего опыт. (Другом Э. Маха был Й. Поппер-Линкеус, который выпустил сборник фантастических новелл — «дневных грез», «снов наяву».)

Что бы нам не предположить, что «пятна» и орнаменты Климта — это не бывшая объективная реальность, разложенная на составляющие, а невнятные

сообщения бормочущего бессознательного? Смутные фрейдовские сновидения?

А в центре — прекрасный и яркий образ той, кто вызвал все это внутреннее буйство и смятение?

И тогда это буйство — то распавшееся незыблемое Я, которое в Австрии тоже не существует со времен Э. Маха.

В таком случае нам становится чуть более понятным одно из редких высказываний Г. Климта о себе:

Я никогда не писал автопортретов. Меня гораздо меньше интересую я сам в качестве предмета картины, чем другие люди, прежде всего женщины... Во мне нет ничего особенного. Я художник, пишущий день за днем с утра до ночи... Кто хочет что-нибудь обо мне знать... должен внимательно рассмотреть мои картины [4].

Австриец З. Фрейд добавил бы: «И проанализировать сновидения».

-
1. Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. М., 1983.
 2. Джемс У. Прагматизм. Новое название для некоторых старых методов мышления. Популярные лекции по философии // Джемс У. Воля к вере. М., 1997.
 3. Козловски П. Этика капитализма. СПб., 1996.
 4. Кофман В. Густав Климт (1862–1918) — художник, который не писал автопортретов [Электронный ресурс]. URL: <http://za-za.net/old-index.php?menu=authors&&country=ger&&author=koifman&&werk=011>
 5. Ле Гофф Ж. Время, труд и культура Запада. Екатеринбург, 2000.

Рукопись поступила в редакцию 4 декабря 2012 г.

УДК 1(091) + 82(091) + 141.33 + 165.64 + 7.036.2

**Е. С. Черепанова
Л. В. Низьева**

ФЕНОМЕН ФИЛОСОФИИ ИМПРЕССИОНИЗМА В АВСТРИИ НА РУБЕЖЕ XIX–XX вв.

Статья посвящена анализу культурно-исторической ситуации в Австрии на рубеже XIX–XX вв. Авторы рассматривают влияние работы Э. Маха «Анализ ощущений» на художественную литературу и философию этого периода. Отмечается, что критическое отношение Э. Маха к философии И. Канта является проявлением австрийской философской традиции. Также в аспекте влияния Э. Маха рассмотрены некоторые положения философской критики языка Ф. Маутнера.

Ключевые слова: австрийская философия, австрийская литература, импрессионизм, махизм, эмпириокритицизм, познавательные возможности, опыт ощущений, вещь-в-себе, самосознание, критика языка, агностическая мистика.

Метафорический термин «философия импрессионизма» использует венгерский исследователь австрийской философии К. Нири для характеристики теории Э. Маха, а также восходящей к ней концепции Ф. Маутнера [7, 78]. Нельзя сказать, что термин утвердился в исследовательской практике, но такое применение искусствоведческого понятия позволяет представить философские новации в контексте с тенденциями развития литературы того времени, а также понять в конечном итоге особенности художественного и философского мировосприятия как проявления некоего целостного феномена.

На рубеже веков империя Габсбургов представляла собой двуединую монархию, объединявшую земли Зальцбурга, Штирии, Тироля, Богемии, Моравии, Силезии, Буковины, Далмации, Венгрии, Галиции, Словении, Сербии, Боснии, Герцеговины и ряда других областей. На этой территории насчитывалось не менее 15 этнических групп, 12 языков, 5 религиозных течений и по меньшей мере 5 самобытных культурных традиций. Во главе этой монархии был император Франц Иосиф, «на глазах теряющий связь с реальностью» [8, 165].

Многонациональный состав способствовал закреплению в австрийском национальном сознании принципиальной внутренней неопределенности. Процесс осмыслиения австрийцами своей национальной принадлежности был обусловлен и отягощен кризисными явлениями, охватившими на рубеже веков все сферы общественной жизни. Замедленный рост экономики, расслоение общества, авторитатическая форма правления, неразрешенность межнационального вопроса вызывали у жителей Дунайской империи настроения упадничества, двойственного отношения к государству.

Революция 1848 г., проходившая под лозунгом объединения немецких народов, была подавлена войсками царской России. После ряда военных неудач власть дома Габсбургов заметно ослабла. Экономическое развитие, рост буржуазно-демократического движения и компромисс дворянства — все это привело

к тому, что в 1867 г. Австрия стала конституционной монархией. Конституция провозгласила неприкосновенность личности и частной собственности австрийских подданных, свободу совести, вероисповедания и печати, равенство перед законом и утвердила политические права за всеми, независимо от религиозной принадлежности.

С одной стороны, конституция 1867 г. обеспечила стране максимум возможных в монархии демократических свобод, что, несомненно, способствовало бурному развитию культуры. Однако эта культура несла в себе печать кризиса, вызванного не только поражением, неоправданными ожиданиями, но и отставанием социального развития страны от буржуазного Запада, в первую очередь от близкой по духу и языку Пруссии.

Центральным вопросом австрийской культуры становится преодоление национальных распрай в многонациональном государстве, поиск национальной идентичности как избавления от комплекса неполноценности у австрийцев, которые чувствовали себя в это время «немцами второго сорта» в Европе. Под напором национального движения венгров в конституции 1867 г. пришлось провозгласить Австро-Венгерскую монархию, Королевство венгров обрело автономию, а остальная часть державы Габсбургов, управлявшаяся немецкими либералами, даже осталась без собственного названия. Немцы, проживавшие в ней, продолжали называть ее Австрией, но с этим были категорически не согласны чехи, поляки и представители иных народов, ее населявших. Властям пришлось пойти на компромисс и избрать нейтральное в национальном отношении название — «Страны и королевства, представленные в Рейхсрете». Это название оказалось слишком длинным, а потому в обиходе утвердилось неофициальное, не менее нейтральное, чисто географическое название — «Цислейтания».

«К концу прошлого — началу нашего века чувством неприкаянности страдали не только чешские немцы, но и германо-австрийцы вообще, убедившиеся в крахе своих либеральных идеалов. Австрийцы чувствовали пустоту своей национальности, а немцы — то, что быть немцами неприятно и неудобно», — пишет К. Нири в своей книге «Философская мысль в Австро-Венгрии» [7].

В этой сложной ситуации расхождения культурно-национальных и государственных интересов в Австрии с 70-х гг. XIX в. начинается расцвет философии. Особое распространение получают эмпиризм и позитивизм; происходит углубление в область психического как единственной реальности; и развивается критика языка, которая проявляется в попытках найти обоснование универсальной природы языка, определяет необходимость говорить о богатстве неназванного и многообразии.

Именно в этот период Эрнст Мах, выдающийся австрийский физик, признанный специалист в области термодинамики, оптики, акустики, механики сверхзвуковых скоростей, принимается философствовать, и его имя на рубеже XIX–XX вв. стало известным не только в связи с открытиями и исследованиями ударных волн в физике, но и благодаря разработке философской теории эмпириокритицизма. Сам Мах называл себя не иначе, как «прохожим» или «воскресным охотником» в философской сфере и отрицал, что он разработал свою собственную философию [11, 114].

На рубеже веков Эрнст Мах был одним из самых читаемых философствующих естествоиспытателей. Главное философское произведение Эрнста Маха «Beitrage zur Analyse der Empfindungen» («Анализ ощущений» — в российском переводе), изданное в 1886 г., к 1904 г. было переиздано трижды. Книга пользовалась большой популярностью не только среди философов, но и среди художников, поэтов, писателей и других представителей австрийской культурной элиты, которые особенно остро переживали крах либеральных идеалов и страдали от чувства неприкаянности, «пустоты» своей национальности. Работа Маха сыграла роль научного обоснования царивших в обществе умонастроений и совпала с кризисными явлениями, затронувшими все сферы общественной жизни Австрии на рубеже XIX–XX вв. — политическую, экономическую и социальную.

Многие представители художественной элиты «молодой Вены», от Гофманстала до Германа Бара, слушали его лекции, а Роберт Музиль защитил диссертацию о его учении и получил в Берлине степень доктора философии. На рубеже 80–90-х гг. формируется группа писателей, развивающих новый литературный стиль, к началу века получивший известность как венский стиль — модерн. Группа объединилась вокруг известного критика, прозаика и драматурга Германа Бара (1863–1934). Бар в своих новеллах «Дора», «Красная дама», «Стыдливая графиня» задает основные художественные рамки стиля, в котором изысканный язык наполняет богатством смысла безыскусное содержание. Писатель оказывается художником словесных миниатюр, рождающих у читателя необыкновенные по чистоте ощущений образы. Г. Бар видел в этом новом стиле отражение особой, национальной, соответствующей душевному складу австрийцев способности отдаваться радостям сегодняшнего дня, а потому уметь ценить и анализировать сиюминутные настроения и переживания. К группе Г. Бара примкнули Артур Шницлер (1862–1931), Гуго фон Гофмансталь (1874–1929), Рихард Шаукаль (1874–1942).

Среди модернистов был и Петер Альтенбург (1875–1919), одна из легендарных венских фигур конца 90-х. В его новеллах, скорее миниатюрах, иногда размером со страницу, можно увидеть воплощение принципа первичности ощущений по отношению к метафизическим идеям, столь характерного для литературного импрессионизма. Гофмансталь писал об Альтенберге: «Его истории словно крошечные озера, над которыми склоняешься, чтобы рассмотреть золотых рыбок или камешки, и вдруг видишь в них лицо человека. Сила художника, наслаждающегося отношениями с людьми, ландшафтами, своей судьбой как театром» [2, 8].

Миниатюра «Лоскутки шелка» — своего рода и художественный, и идеологический манифест новой литературы, причем не столько модернизма, сколько литературного и философского импрессионизма. Речь идет о тринадцатилетней девочке, которая с подругами собирает лоскутки шелка: «Другим девочкам мы говорим, что это тряпочки, чтобы вытираять перья. Ведь если бы они узнали, что лоскутки совсем ни для чего, а просто так, для удовольствия, они бы очень огорчились, что у них нет таких же...» [1, 26]. Вот в чем цель и суть литературы: она для удовольствия, для цветовой игры слова, которая ассоциативно богаче, если сюжет не завершен, не выстроен по законам классической литературы.

Автор отвечает на вопрос о возможности и необходимости глобальных романов и законченных эпопеи: «А можно от каждого лоскутка купить столько материи, чтобы хватило на платьице? — Дура, зачем тебе это? Разве лоскутки не красивей и так?..» [1, 26]. Создавать нечто целостное — значит навязывать систему представлений, честнее формировать ясное ощущение.

Миниатюры Альтенберга обнаруживают одну из важнейших проблем литературы того периода — поиск «идеального», «чистого» языка, необходимого для передачи ощущений. Поэтому постоянно совершенствуется «прозрачный стиль» венской школы и формируется особый «ясный» и в то же время театральный, условный язык. В силу этого новелла, повесть, миниатюра имеют массу преимуществ. Тема языка, возникшая в австрийской философии несколько позже, осознавалась как проблема в условиях уже говорящей об этом литературы.

Неспособность языка выразить реальность как комплекс ощущений, невозможность средствами языка описать переживания становится основной темой в творчестве Г. Гофманстала. В 1902 г. в вымышленном «Письме лорда Чандоса Френсису Бэкону» он пишет: «Я полностью утратил способность связно думать или говорить о чем-либо... отвлеченные слова... распадаются у меня в устах словно гнилые грибы... Все для меня распалось на части, части же — тоже на части, и все уже ускользало от охвата понятием. Разобщенные слова плавали вокруг меня, сворачивались в глазки, которые плялились на меня, при нуждая плятиться на них и на меня самого... язык, на котором мне назначено не только писать, но верно и думать... язык, ни единое слово которого мне не известно, на котором ко мне обращаются вещи немые» [7, 86].

Герман Бар говорил, что много читал «Анализ ощущений» и был поражен, насколько точно эта книга отражает жизнеощущение и миропонимание всего современного ему поколения. Он писал: «В ней (книге. — Е. Ч., Л. Н.) исчезают все перегородки, физическое и психологическое сливаются, элемент и ощущение предстают единым целым, “Я” растворяется и все оказывается лишь вечным потоком... Наконец-то стало очевидностью все то, что мы давно уже туманно предчувствовали» [Там же, 84].

Венский импрессионизм и эстетизм увидел в этом отмену границ между реальностью и видимостью, а в учении об «обреченному на гибель Я» Max сумел выразить это основное ощущение. «Я обречено на гибель. Разум отбросил старых Богов и свергнул нашу землю. Теперь он также угрожает уничтожить нас. Тогда мы увидим, что элемент нашей жизни не есть правда, а есть иллюзия. Но мне важно не то, что есть правда, а то, что мне нужно, и поэтому солнце все также восходит, земля существует на самом деле, и я есть я» [11, 122].

Философские идеи Maxa сформировались под значительным влиянием кантовской философии. В пятнадцать лет ему попалась в руки книга «Пролегомены ко всякой будущей метафизике» И. Канта, и, как Э. Max писал в своей автобиографии, вещь-в-себе показалась ему совершенно бесполезной, а мир и Я он воспринимал как единую массу ощущений [4].

Следует сказать, что практически все австрийские философы критически перерабатывают учение Канта, и это нашло отражение в современной исследо-

вательской практике — видеть в таком отношении к идеям великого идеалиста особенность философской культуры Австрии. История антикантианства в Австрии уходит корнями в историю Контрреформации, приведшей к торжеству католицизма. Труды И. Канта некоторое время значились в числе запрещенных католической церковью книг, причем отношение к этому запрету было самое серьезное.

В философии «вольфианский рационализм и его позднейшая модификация в работах Иоганна Фридриха Гербарта стали оплотом противников критической транцендентальной философии Канта...» [4, 152]. Негативное отношение к Канту и ко всей классической немецкой философии мы можем отметить как и у Больцано, которого чаще всего называют первым самостоятельным австрийским философом, так и у более поздних философов и писателей, включая современных. Оно прекрасно выражено в известном очерке Стефана Цвейга, посвященном Гельдерлину: «Кант, по моему глубокому убеждению, связал по рукам и ногам чистое творчество классической эпохи, подавил его конструктивным мастерством своего мышления и, толкнув художников на путь эстетического критицизма, нанес неизмеримый ущерб радостно-чувственному приятию мира, свободному полету воображения» [9, 138].

Антикантианскую направленность австрийской философской мысли подчеркивают большинство ее исследователей. Однако Р. Халлер делает более общий вывод: спор велся не только с И. Кантом, но с немецким идеализмом в целом. «В противовес всем идеалистическим направлениям австрийская философия определялась своей реалистической направленностью. Поскольку она связывала себя с докантианской традицией Лейбница и Юма, ее негативное отношение и противоборство немецкому идеализму, в особенности — Гегелю, остается столь же бросающимся в глаза признаком» [10, 8].

Разработанная Махом параллельно с Р. Авенариусом, который работал в Цюрихе, теория эмпириокритицизма базируется на предположении, что все, что мы испытываем, доступно нам только в ощущениях и что ни мир-сам-в-себе, ни Я само по себе не являются основой этих переживаний: «Мир состоит для нас... не из таинственных существ, которые взаимодействуют с другими такими же таинственными существами, с эго, которые порождают лишь доступные ощущения. Цвета, звуки, пространства, времена... для нас прежде всего последние элементы, данную взаимосвязь которых мы должны исследовать. Именно в этом и заключается изучение действительности» [5, 147].

По Маху, реально существует лишь то, что предоставлено человеку в опыте его субъективных ощущений, опыт же, в свою очередь, дает представление о свойствах, но никак не представления об их объективных носителях. «Материя, на объективном существовании которой настаивает материализм, — такая же фикция, как и “духовные сущности” идеалистической философии; то и другое — лишь временные узлы свойств, которые непрерывно возникают и распадаются как узоры в калейдоскопе» [3, 35]. Из таких изменчивых комплексов, физических и психических одновременно, состоит вся действительность, которая есть вечный поток бытия, уносящий с собой все, что казалось таким постоянным и неизменным.

Человеческое познание, по Э. Маху, начинается с ощущений, которые он называет элементами: «Итак, восприятия, как и представления, воля, чувствования, одним словом — весь внутренний и внешний мир, составляются из небольшого числа однородных элементов, образующих то более слабую, то более крепкую связь. Эти элементы обыкновенно называют ощущениями. Ввиду того что под этим названием подразумевается уже определенная односторонняя теория, мы предпочитаем коротко говорить об элементах. Все исследование сводится тогда к определению связи этих элементов» [5, 27].

Чувственные ощущения передают нам элементы, такие, как «цвета, звуки, пространства, времена», они передаются прямо и недвусмысленно. Max считает, что следует избегать дуалистического взгляда на мир, который различает тело и разум, физическое и психическое идентичны, различаются лишь методы их рассмотрения. Он подчеркивает, что «вещь, тело, материя — ничто помимо связи их элементов» [Там же, 15].

Для физика Маха факты, опыт и методы есть решающий триумвират, одинаково актуальный как для естественных наук, так и для философии. Для фактов не имеет значения, будем ли мы видеть сломанный карандаш в воздухе или в воде, видимость и реальность имеют тот же смысл: «чувства никогда не обманывают и никогда не показывают правильно» [11, 117]. Адаптируя мысли к фактам, мы отображаем факты и получаем познание, в котором принцип экономии мышления предоставляет нам возможность выбора, а также обобщения.

Разложение того, что мы воспринимаем как действительность, на элементы, которые встречаются в виде делимых на части комплексов, есть возможность количественно и соответственно научно описать свойства. Их взаимную зависимость нужно понимать не как случайную, а рассматривать с функциональной точки зрения. Она может быть описана математически, а это вполне достаточно для представлений об универсальности.

Учение Маха об элементах, подвергнутое резкой критике как со стороны ученых-естественноиспытателей, так и философов, также представляет и Я лишь как функциональную взаимосвязь элементов. Человек лишь комплекс элементов, состоящий из комплексов элементов, а сознание соответственно как комплекс ощущений, связанных между собой особым образом, мышление же есть преобразование этих комплексов.

В связи с тем что Я не является изолированной от мира монадой, а является его частью, оно состоит из специфически упорядоченных групп элементов, таких, как ощущения, представления, воспоминания и мысли.

Конечно, понимаемое таким образом Я, насмешливо охарактеризованное Отто Вейнингером как «зал ожидания ощущений» [Там же, 118], оказывается изолированным в самом себе. Э. Max пытается решить эту проблему, поставив физическое, психическое и интеллектуальное на одном уровне, таким образом, чужое-Я со своей проблематикой становится ложной проблемой, так как Я и чужое-Я представляют собой всего лишь меняющиеся комплексы, взаимно воздействующие друг на друга: «Так как ощущения ближнего мне не передаются непосредственно, равно как и ему мои, то я вправе те же самые элементы,

в которых я растворил физическое, рассматривать как элементы психического. Физические и психические, следовательно, содержат общие элементы» [3, 17].

Идеи Маха становятся, как уже было показано выше, созвучными австрийской литературе рубежа веков и не в меньшей степени, чем она, оказывают влияние на философию того времени. К числу философских сторонников Маха в Австрии, признававших огромное значение его идей, относится Ф. Маутнер. Его критическая теория языка воплощает, с одной стороны, искания литературы того времени, а с другой — философию импрессионизма.

Для критики языка, особенно его мифологической власти, огромное значение играет принцип экономии мышления Э. Маха. Так как критике подвергается привычная триада «действительность — идея — суждение», то действительность предстает в совершенно таинственном свете, условном в силу невозможности выйти за комплекс ощущений; научные теории, при всей их ценности и высоте, не меняют степень тайны скрытого, не влияют на тайны психической реальности, все они работают в конечном итоге с одним и тем же — с элементами. Ф. Маутнер увидел у Маха принципиальное «неуважение» к величию научной теории. «Теория же... — говорил Э. Мах, — суть как бы сухие листья, опадающие после того, как они в течение известного времени давали возможность дышать организму науки» [7, 92].

Из числа философов, занимающихся критикой языка, можно было бы еще назвать Адольфа Штёра (1855–1921), который под влиянием идей Маха активно критиковал метафизику старого порядка. Он пытался вслед за Махом уравновесить не только психическую и физическую реальность, но логическую и психическую. Так появились «Учебник логики в психологическом изображении», «Очерк теории имен».

Работы Маха решали вопрос о соотношении мышления и действительности, определяя перспективу необходимых философских исследований в направлении изучения феномена представления. «Терапевтический нигилизм» Рихарда Вале (1857–1985) также был создан под влиянием идей Маха. В своих произведениях он, как и Э. Мах и А. Штёр, часто сводит психологию к физиологии. Его критика языка была менее последовательна, чем Ф. Маутнера, но он также нападал на систематическую философию и отвергал возможность философствовать при помощи абстракций. Он был еще более критичен, чем критический Ф. Маутнер, полагая, что любая абстракция распространяет ложь и неточность больше, чем обыденная речь.

«Индивидуальный релятивизм» как метод предполагает «проживание» истин и заблуждений и отвергает всякую возможность системы. Ф. Маутнер отвергает в духе австрийской традиции саму возможность системотворчества, указывая, что этот старый «немецкий идеал ученых — установить леса (системы. — Е. Ч., Л. Н.) вокруг каждого собора на вечные времена» [14] должен быть преодолен. Критика языка должна очистить поле философствования от всяких ложных, «мертвых» конструкций. Она должна создать основу для позитивной теории языка, которая в той же мере будет мало озабочена согласием с философскими системами, в какой и естественно-научная теория. Это вполне согласуется с высказыванием Э. Маха о том, что «для естествоиспытателя...

представляет совсем второстепенный интерес вопрос о том, соответствуют ли или нет его представления той или иной философской системе, раз только он с пользой может применять их как исходный пункт своего исследования» [6, 24].

Это не значит, что происходит создание одной теории вместо другой, речь идет не о новом теоретизировании, а о новом благовении. То есть необходимо не просто передать смысл, но необходимо сохранить чистоту ощущения так, как это удается в стихотворении или, может быть, даже в молитве, слова которой не всегда понятны и согласованы, но главным всегда оказывается то, о чем не говорится, что не называется. Условность, непознаваемость действительности проявляется себя таковой лишь в языке; если же мы решимся молчать о действительности, то результат должен оправдать необходимый мистицизм. В бесконечной борьбе с философским догматизмом теоретико-познавательный скептик превращается в догматика, хотя желал бы сохранить критическую позицию. «Только абсолютно великие скептики одновременно были мистиками» [15].

Критика языка должна была превзойти и преодолеть критику разума И. Канта. Густав Ландауэр связывал появление критики языка с новыми социальными преобразованиями: по аналогии с «Критикой чистого разума» и революционными преобразованиями 1830 и 1848 гг. «Маутнер готовит путь уже новой мистики и для нового сильного действия» [12]. Философия И. Канта (как символ высоты германского духа) всегда в рамках австрийской традиции являлась объектом непременного улучшения и усовершенствования или объектом явной критики. Поэтому кантовская схема познания становится исходной точкой для критического рассуждения Ф. Маутнера. Подвергается сомнению принцип разделения мира на мир-вещей-в-себе и мир-вещей-для-нас. По-настоящему верный принцип видения мира — это сенсуализм, а последовательный сенсуализм не может допускать ничего, что не дано нам в опыте, в опыте наших чувств. Но опыт наших чувств не «конденсируется» где-то отдельно, он выражается в языке.

В языке нет ничего, чего раньше не было в чувствах и опыте, — так по-новому звучит формула «сенсуализма по Маутнеру». «С помощью языка мы всегда можем исследовать только то, что так называемые вещи есть для человека. Мы не обладаем совершенным языковым средством, чтобы описать то, чем могут быть эти вещи сами по себе» [14]. Если мы не можем ни выразить «мир-сам-по-себе» в словах, ни ощутить его особенность, то полагание его есть попытка говорить об абсолютном, что приводит к разрушению чувства реального, чувства «мира-для-нас».

Соответственно не может быть никаких доопытных форм, кроме форм языковых, которые, как уже говорились, есть результат опыта. Как подчеркивает Г. Ландауэр, «Кант, как обычно, делает еще одну попытку объяснить вещи вещами...» [12], а Маутнер объясняет вещи словами, впрочем, как и все люди, потому, что вещи с необходимостью «втискиваются» в формы существительных, качества выражаются в форме прилагательных, отношения человека к вещи в форме глаголов. В силу этого мир действительных вещей, данных человеку в опыте, фиксируется как система связей и отношений в грамматике языка; она создает некую иллюзию априорности, готовности представить опыт в при-

вычной речевой форме. «Кто может поверить, после сказанного, что по ту сторону языка существует еще нечто более “существительное”, и есть даже языки с другими категориями, головы с другими представлениями!» [12]. Таким образом, мир, как комплекс ощущений, будучи сказанным, в момент названия утрачивает первозданность. Ф. Маутнер переносит таинственность кантовской вещи-в-себе в область ощущений. Простота, определенность «элементов мира» в постоянном движении создают необыкновенно сложную живую картину, которая и обладает той степенью тайны, которая может быть выражена в условиях агностической мистики.

Совершенно определенно в критике вещи-в-себе Ф. Маутнер идет вслед за Э. Махом. Он, как и Мах, видит в ней нечто «чудовищное» [6, 19], мешающее реальному сенсуалистическому видению мира, ведь ощущения оттого остаются для мыслящего на заднем плане, что они «заключаются» в слова. «Благодаря частому упражнению произнесение, слушание и понимание слов стало нам настолько привычным, что все делается почти автоматически. Мы не останавливаемся более на анализе значения слов, и чувственные представления, лежащие в основе нашей речи, едва намеками попадают в наше сознание или даже вовсе туда не попадают» [Там же, 136]. Под этими словами Маха Маутнер мог бы подписать, так как именно на таком «неравенстве» слов и ощущений он основывает необходимость критики языка.

Так как критика языка должна очистить философское понимание гносеологической ситуации, после решения вопроса о вещи-в-себе как объекте познания необходимо вернуться к фетишу немецкой классической философии — к самосознанию, к Я. Именно с Я связано разделение мира на субъективный и объективный, и коль скоро мы объективное считаем комплексом элементов, из которых состоят наши ощущения, то вопрос о «субъективности» представлений снимается, «физическое» и «психическое» содержат общие элементы, и, следовательно, между ними вовсе нет той резкой противоположности, которую обычно приписывают» [Там же].

Признание того, что позади представлений и переживаний есть некий наблюдающий и действующий субъект, некий непосредственный остаток, равносильно удвоению «по Канту». Э. Мах категоричен, подчеркивая, что тот «оказывается жертвой странного и широко распространенного идолопоклонства перед системами; кто думает, что раз он признал средою познания свое Я, он уже не должен делать аналогического заключения о чужих Я. Ведь сама эта аналогия послужила ему для понимания собственного Я» [Там же, 21].

Ф. Маутнер полагает, что сражение с фактом Я уже завершено, если Э. Мах считает Я безнадежным, то ему остается лишь зафиксировать жизнь Я в качестве местоимения, которое, как и другие слова — например, «Бог», «огонь», «ничто», есть слабая попытка назвать неназываемое. В Я не выражается и не воплощается узел представлений и волений живого человека, Я не фиксирует его «мир как представление» [12]. Суть новой критики заключена в освобождении мышления и воли от «химеры» Я.

Освобождение от Я для Ф. Маутнера, в отличие от Э. Маха, не означает полное уничтожение и распад Я в движении между психическим и физическим.

Я, как философской сущности, находится место в особом «запаснике» так называемого «субстантивного мира». Одно из поздних произведений Ф. Маутнера посвящено анализу философских систем и концепций в свете понимания языка как единства трех языковых миров — адъективного, субстантивного и вербального.

Первый мир — это мир качеств, мир, расщепленный прилагательными, которыми человек называет свои ощущения, эмоции, а также пытается описать мир, как бы не зависящий от него. В чистом виде это то, что Ф. Маутнер называет единственной реальностью, или то, что человек яснее всего осознает как реальность, результат его опыта. В этом мире царит «адъективный» язык, язык прилагательных, ведь только они могут отразить сенсуалистический мир. «Можно сравнить его с выразительными средствами импрессионистской живописи, с пуантилизмом: точки ничто, как точки, только разного цвета, но эти же точки, как рисунок, обретают другой смысл» [13, 193].

Второй мир, субстантивный, своего рода прибежище самодостаточных сущностей, так или иначе возникающих в мировоззрении человека на протяжении всей истории. Это то, чему человек постоянно пытается подобрать название или хотя бы просто обозначить, говоря о Духе, Боге, Абсолюте и т. д.

Язык этого мира Ф. Маутнер называет самым старым в истории человечества, так как им описывали мифологический мир духов. В «Истории понимания» это высший этаж абстрагирования, в то время как «прилагательное наиболее юная часть речи в грамматике, но наиболее старая часть в истории понимания» [Там же, 198]

В истории философии наиболее наглядно субстантивный мир воссоздан в философии Платона, «он предвосхитил на два тысячелетия... ошибку, совершенную Кантом, который введет понятие вещи-в-себе» [Там же, 195]. В дальнейшем эстафета была принята Гегелем и его сторонниками. Однако они не просто предлагают субстантивистскую мировоззренческую схему, но проектируют земной мир как субстантивистский.

Третий мир — это то, что приносит действие, движение, то, что выражается в поступках человека, в актах его воли. Этот мир процессов ясен человеку, ведь он видит постоянно результаты и следы изменений. Его Маутнер называет «вербальным». В отличие от предыдущего мира здесь царит становление, «условие которого время; вербальный мир не верит в субстантивный мир и не довольствуется адъективным миром; он видит во всех изменениях... только отношения, отношения так называемых вещей для нас и отношения этих вещей друг к другу» [Там же, 209].

Ни один из этих представленных языковых миров не может претендовать на истину, так как каждый описывает действительность однообразно и не обладает полнотой выражения. Ведь три мира — это три типа философствования: философия восприятия, философия ценностей, философия действия. Первые два у Ф. Маутнера названы — сенсуализм и идеализм, третий остается неназванным, но если соотнести его с гераклитовым потоком и принципом органичности, то можно предположить, что имеется в виду умеренный вариант витализма, возможно даже философии жизни.

Все эти философии — неизбежные составляющие человеческой жизни, но все же Ф. Маутнер настаивает, что наиболее истинным является мировоззрение, основанное на адъективном мире, а субстантивный мир ограничится присутствием в «снятом» виде, чтобы естественно взаимодействовать с вербальным.

Получается, что мир представлений и ощущений совсем не так «элементарен», как у Э. Маха. Мир как представление распадается на три мира (позже Ф. Маутнер назовет их «картинами»), но распадается в тот момент, как только человек готов их назвать. То есть все предметы в нашем представлении, попав в поток языка, как бы утраиваются и предстают как предметы опыта, бытия и становления или как предметы адъективного, субстантивного и вербального мира.

Таким образом, в этой лингвокритической философии теория Э. Маха получает неожиданное развитие, демонстрируя то, как сугубо позитивистская установка на предельно точное понимание реальности превращается в «агностическую мистику», как называл свою концепцию языка Ф. Маутнер. Более того, в его творчестве можно обнаружить и попытку создания художественных произведений. Он рассчитывал таким образом продемонстрировать возможное будущее философии — новые языковые формы и стили философствования, раскрывающие возможности синтеза литературного и философского импрессионизма.

-
1. Альтенберг П. Лоскутки шелка // Австрийская новелла XX века. М., 1981.
 2. Архипов А. И. Предисловие // Австрийская новелла XX века. М., 1981.
 3. История австрийской литературы XX в. Т. 1 : Конец XIX — середина XX века. М., 2009.
 4. Кампциц П. Австрийская философия // Вопр. философии. 1990. № 12.
 5. Max Э. Анализ ощущений и отношение физического к психическому. М., 2005.
 6. Max Э. Познание и заблуждение. М., 1909.
 7. Нир К. Философская мысль в Австро-Венгрии. М., 1987.
 8. Пестова Н. В., Ромашова Т. М. Феномен австрийской идентичности в ретроспективе «венского модерна» // Австрия как культурный центр Европы : материалы Международ. науч. симп. Екатеринбург, 25–28 окт. 2011 г. Екатеринбург, 2011.
 9. Цвейг Ст. Гёльдерлин // Цвейг Ст. Собр. соч. : в 7 т. М., 1963. Т. 6.
 10. Haller R. Forschung für Österreichische Philosophie. Amsterdam ; Rodopi, 1974
 11. Kampits P. Zwischen Schein und Wirklichkeit. Wien. Österr. Bundes Verlagsgesellschaft М.В.Н. 1984.
 12. Landauer G. Skepsis und Mystik. Wetzlar, 1978 [Electronic resource]. URL: <http://www.penzberg.de/mauthner/land.html>
 13. Mauthner F. Sprache und Leben. Salzburg ; Wien, 1986.
 14. Mauthner F. Sprachkritik. Skepsis. Mystik [Electronic resource]. URL: <http://www.penzberg.de/mauthner/sprakri.html>. 5 of 6.
 15. Mauthner F. Wahrheit und Skepsis// Wörterbuch der Philosophie. Leipzig, 1923/24. Bd 3 [Electronic resource]. URL: <http://www.penzberg.de/mauthner/fritz6.html>. 4 of 7.

Рукопись поступила в редакцию 4 декабря 2012 г.

УДК 7.01 + 7.035.93 + 75.051(436) + 82(091)

**А. М. Давлетшина
Г. В. Лебедева****НРАВЫ ЭПОХИ ВЕНСКОГО МОДЕРНА И СПОСОБЫ ИХ
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ В ИСКУССТВЕ (НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА
ТВОРЧЕСТВА Г. КЛИМТА И ЛИТЕРАТУРЫ РУБЕЖА XIX–XX вв.)**

Статья посвящена анализу социокультурных сдвигов, которые произошли в Австро-Венгрии на рубеже XIX–XX вв. Авторы на примере анализа творчества Г. Климта и литературы венского модерна осуществляют попытку реконструкции нравов, противоречивого духа эпохи.

Ключевые слова: нравы, венский модерн, литература венского модерна.

Переоценка ценностей, испытание на прочность старых традиций и постулирование новых мировоззренческих принципов являются характерной чертой рубежа XIX–XX вв. для многих европейских стран. Для Австро-Венгрии, в силу ее полигэтничности, это стало внутренней необходимостью. И, несмотря на то, что большей частью интеллигенции ломка старых, буржуазных ценностей воспринималась болезненно, неизбежность такого процесса была очевидна.

Что представляла собой Австро-Венгрия в обозначенный период? Происходило разрушение ранее устоявшихся социальных порядков, которые, в свою очередь, обусловили культурные и, главное, национальные противоречия внутри страны. На рубеже веков Австрия представляла собой двуединую монархию, которая объединяла в себе земли Тироля, Моравии, Зальцбурга, Штирии, Богемии, Буковины, Далмации, Венгрии, Сербии, Боснии и др. В пределах империи Габсбургов существовало множество народов с различными по своим смыслам культурами. «Культуры... не только соперничали в борьбе за умы и сердца всех жителей Австро-Венгрии, но и взаимопроникали друг в друга, образуя нечто качественно новое, ни к одной из культур несводимое» [8, 106]. Вместе с тем с XVIII в. планомерно проводилась политика интеграции, противоречивость и неоднозначность которой особенно ярко проявилась в сфере нравов, повседневных практик, репрезентирующих различные способы конституирования и поддержания культурных идентичностей.

Иосиф II пытался объединить различные народы, основываясь на двух способах. Во-первых, он стремился к тому, чтобы католичество в Австрии стало консолидирующей силой. В итоге австрийский католицизм стал государственной религией, несмотря на объявленное в 1781 г. равенство гражданских прав католиков и некатоликов. Другим способом соединения разных народов в одно национальное государство было распространение немецкого языка и немецкой культуры. В 1784 г. Иосиф II официально объявил немецкий язык государственным. Но, к сожалению, этот шаг не принес желаемого результата: ни единства языка, ни единства социокультурных оснований достигнуто не

было. А значит, не были достигнуты те просветительские цели, которые ставил перед собой Иосиф II [8].

Этническое многообразие, свойственное для Австро-Венгрии, также находило свое воплощение в нравах. Нравы, понимаемые нами как формы представления ментальности в повседневных практиках, редко становились объектом серьезного теоретического анализа, поскольку представлялись чем-то самоочевидным, и их описание использовалось в качестве иллюстративных примеров. Так, например, Ф. Ницше, характеризуя древнейшую мнемотехнику немцев, писал: «Чем менее человечество было в “памяти”, тем ужаснее бывало всегда зрелище его нравов» [5, 45].

Важно подчеркнуть, что содержание нравов не исчерпывается нормативностью и строгим этическим смыслом. Все то, что связывается с привычным, массовым в поведении человека и обусловливается наиболее значимыми для человека представлениями о ценном, и есть нравы. Особенно актуальным является их анализ в ситуации социокультурных перемен. В условиях нестабильности и переходности нравы оказываются «фундаментальным каркасом социальной жизни, играют первостепенную роль в деле “укрощения” или обуздания источников подсознательной напряженности, которые в противном случае полностью поработили бы нас» [1, 19]. Что же являлось отличительной особенностью нравов в эпоху венского модерна?

«Веселым апокалипсисом» называл этот период в истории империи Габсбургов Г. Брох. Говоря об этом, он имел в виду в первую очередь коренные изменения культурного плана, и только после этого — политические и социальные изменения. Он, как и многие живописцы, литераторы и музыканты, ощущал переходность и противоречивость современной ему эпохи, но бидермайерскую культуру с ее буржуазной моралью было уже не вернуть. «...Нынче в моде старинная мебель и юношеские неврозы. Моден также сверхутонченный пророческий психологизм и погружение в мир волшебной фантазии» — такую характеристику нравов эпохи венского модерна давал Г. фон Гофмансталь [2, 488]. Вместе с тем само сочетание «веселый апокалипсис» заключало в себе сочетание пессимизма и гедонизма, что подчеркивало не только апокалиптическое настроение австрийцев (особенно жителей Вены), но и потерю у них ощущения устойчивости.

Житель Австрии испытывал чувство двойственности, внутреннего разрыва. Как писал Артур Шницлер жене своего брата в декабре 1914 г., фраза «истинно австрийский» несла в себе оттенок неодобрения, тогда как назвать что-либо «истинно немецким» означало похвалу, поскольку соответствовало эпитетам «благородный, сильный, прекрасный». Двойственностью, двуличностью было проникнуто все — от императорской семьи и государственных учреждений до отдельных семей. Устаревшие институты, такие как цензура печати, работали столь непродуктивно, что являли собой карикатуру на самих себя. Законы и правила нередко просто игнорировались. Мировоззрение венцев содержало, как отмечает У. Джонстон, в себе две установки: безумное наслаждение искусством, или эстетизм, и равнодушие к политическим и социальным реформам — терапевтический нигилизм. «Империя построена в том же стиле,

что и ее дома: в ней нельзя жить, но она красива» [9, 28] — так в одном из своих знаменитых афоризмов Карл Краус, критик, полемист и один из самых значимых австрийских писателей столетия, кратко охарактеризовал венскую атмосферу в период между двумя столетиями.

Отношение к эротике также отражало двойственность нравов, характерных для венского общества в целом: дочерей растили в полном неведении относительно вопросов пола, но при этом отцы поощряли общение своих сыновей с *süsses Mädel* («сладкими девочками»). Приходским священникам приходилось мириться с гражданскими браками, потому что в случае освящения брака католикам практически невозможно было добиться развода. Аристократы и высшая буржуазия зачитывались книгами Феликса Зальтена, писавшего под псевдонимом «Жозефина Мутценбахер», о жизни венской проститутки. В его книгах говорилось о том, что быть Жозефиной не так уж плохо, а даже хорошо и прибыльно. Можно вспомнить Отто Вейнингера, который считал, что женщины свободны выбирать только между проституцией и материнством. Здесь же стоит упомянуть стоящего особняком в австрийской литературе Леопольда фон Захер-Мазоха, чье творчество посвящено психологии любовных взаимоотношений и вопросам пола. В этом плане историю с панно «Философия» Климта для Венского университета можно объяснить именно этой внутренней раздвоенностью. Университетские профессора в 1900 г. объявили обнаженные фигуры настенных росписей в университетской аудитории слишком непристойными [3, 596]. Двойная мораль, или практика «двойных стандартов», проявилась в высказывании Фридриха Йодиля, философа-эмпирика и прогрессиста, который протестовал против работы Климта. «Мы выступаем не против обнаженности в искусстве и не против свободы художника, а против грязи в искусстве» [9, 56].

Нравы академического и политического сообществ представляли собой игру, которая проникала и в другие сословия. Каждый участник этой игры знал, что все уловка и обман. Роберт Музиль писал: «...в этой стране играли все... Каждый при этом скрывал свои мысли, или же мысли были слишком отличны от того, что он делал» [3, 596].

Представители философии, живописи и искусства не могли не чувствовать этой раздробленности. В этой двойственности мир стал восприниматься утратившим какие-либо определенные, стабильные свойства, человек распадался на совокупность масок, которые менял в соответствии с ситуацией. Венская школа модерна в лице Германа Бара, Артура Шницлера, Рихарда Шаукаля, Петера Альтенберга, Густава Климта и других занялась исследованием этих явлений с большим воодушевлением, вызванным «Анализом ощущений» Эрнеста Маха, работой Отто Вейнингера «Пол и характер», идеями развивающегося психоанализа в лице Зигмунда Фрейда. Психоанализ и эмпириокритицизм оказали сильное влияние на литературу в ее исследовании человека и на изобразительное искусство.

На рубеже веков чувством некой неприкосновенности страдали многие народы Австро-Венгрии. Это чувство требовало понятийного выражения. И оно его получило, в первую очередь в лице Э. Маха, который стал мировоззренческим

символом для венского модерна. «В последние месяцы много читал Маха, — писал Г. Бар. — Книга “Анализ ощущений”, пятнадцать лет пролежавшая без внимания и за последние два года внезапно переизданная трижды, является, вероятно, книгой, которая наилучшим образом выражает наше мироощущение, жизнеощущение нового поколения. В ней исчезают все перегородки, физическое и психологическое сливаются, элемент и ощущение предстают единым целым, “Я” растворяется, и все оказывается лишь вечным потоком, который то, кажется, останавливается, то стремится быстрее, все лишь движение звуков, цветов, теплоты, ощущений давления, пространств и времен, что у нас, на другой стороне, является движение чувств, настроений, желаний... Много лет не читал ничего, с чем бы так немедленно и страстно я согласился...» [4, 84]. В итоге в своей попытке понять сложившуюся историческую ситуацию венский модерн дошел до последней констатации: человека нет, есть сумма психических состояний.

Художников и литераторов интересовала психологическая сторона жизни. Это не случайно. Кризисное настроение, характерное для рубежа XIX–XX вв., отличается разрушением чувства устойчивости, выдвижением на первый план моральных и нравственных проблем. В это время обыденным стало использование таких концептов, как «нервы», «невротическое», «неврозы» и т. д. Эта тенденция нашла свое отражение в учении о психоанализе З. Фрейда. Венский модерн заботило преображение мира в соответствии с иллюзорной, выдуманной реальностью. Главными в искусстве модерна становятся концентрация на мире чувств, т. е. на внутреннем переживании, акцент на психофизических и подсознательных архетипах сознания художника.

Двойственный и противоречивый дух эпохи, нравов особенно ярко проявился в творчестве живописца Г. Климта, который сам представлял собой пример двойственности. Долгое время Г. Климт был одним из самых любимых живописцев консервативной австрийской буржуазии. Ему удалось стать выразителем ее эстетического вкуса, а также норм художественного изображения императора Франца Иосифа I. Но по достижении тридцати лет. Он стал одним из самых смелых новаторов австрийского искусства, лидером художественного обновления — «Венского сецессиона». Он был человеком застенчивым и нелюдимым, но при этом в художественном плане — редкой силы эротическим живописцем, художником полемичным и провокационным. «Из-за этой двойственности Климта его работы и сейчас выглядят противоречиво и загадочно» [9, 7].

«Климт решился на откровенную демонстрацию сексуальности в искусстве, сделав ее лейтмотивом своего творчества задолго до экспрессионизма и сюрреализма. Томная, но вместе с тем экзальтированная атмосфера Вены отчетливо стимулировала художника поставить женщину и эротику в центр произведения» [6, 986]. Искусство Г. Климта согласуется с принципом, что современный человек должен максимально развивать свою чувственность, т. е. воспринимать всем своим существом. За реальностью прячется правда жизни, голая правда, которую может раскрыть только искусство.

Его картины шокировали, вызывали желание опустить глаза при взгляде на «Голую правду» или «Данаю», на панно «Философия» или «Золотые рыбки».

Его «Юдифь I» и «Юдифь II» поражали своей жестокостью, но при этом влекли и указывали на болезненность игры, царившей в обществе. Работы «Медицина», «Философия» и «Юриспруденция» демонстрировали слишком болезненные для академического сообщества проблемы. Как и в других работах художника, эротизм и смелость трагических обобщений, связанные с впечатлением от произведений Шопенгауэра и Ницше, а также нарушение табу на такие темы, как Эрос и Танатос, бессознательное и сон, болезнь и нищета, вызвали бурную полемику внутри общества и последовавший за этим запрет на завершение фресок для университета. Вместо торжества науки в «Философии» Г. Климт изображает дрейфующие тела, движущиеся навстречу зарождающейся рациональности. В «Медицине» Гигиена, которая должна помогать людям, поворачивается спиной к ним и их болезням. А Фемида предстает безучастным наблюдателем свершения возмездия над старым человеком.

Скрытую реальность, внутренние переживания и мысли пытались показать в своих работах и представители литературы венского модерна. Австрийской литературе рубежа XIX–XX столетий присущ дуализм, выражаящийся в сочетании эротической откровенности с человеческой наивностью, в диалектике частного и публичного, внешнего и внутреннего.

Теоретиком литературы венского модерна считается Г. Бар, который утверждал, что австрийскому, в частности венскому, душевному складу присущи способность отдаваться настоящему моменту в потоке времени, созерцательность, тонкий анализ внутренних переживаний. Именно эта сверхчувствительность, пограничность позиции «внешнего наблюдателя» позволяют обнаружить двойственность миропорядка: с одной стороны, представления о высоких идеалах и принципах католической морали (сфера «должного»), а с другой — предельный скептицизм и несоответствие им, воплотившиеся в нравах (сфера «сущего»).

Яркий пример двойственности миропорядка представлен в новелле «Лейтенант Густль» А. Шницлера. Новелла представляет собой монолог молодого лейтенанта, который живет обычной жизнью, присущей людям его круга: время от времени он играет в карты и проигрывает, крутит интрижки с замужними женщинами, посещает модные оперы. Он попадает в трагическую ситуацию, выход из которой — самоубийство. И через призму его размышлений и воспоминаний Шницлер показывает, что каждодневная муштра, время от времени проявляющийся патриотизм — это лишь внешняя обыденная жизнь, которая не соответствует внутреннему состоянию героя. Герой новеллы А. Шницлера был воспринят как пародия на кайзеровского офицера. «Из-за этой новеллы... — писал А. Шницлер Г. Брандесу, — я потерял свой чин. Если Вы еще не знаете новеллы, то, когда начнете ее читать, вспомните об этом, и Вам многое “австрийское” станет ясным...» [8, 123].

Идею двойственности мы обнаруживаем и в творчестве Гуго фон Гофманстала. В основе его мировосприятия лежало ощущение несвободы, обреченности, власти рока, чувство неизбежности. Гофманстала интересовала жизнь в ее противоречивости. В статьях и письмах он серьезно размышлял над указанными проблемами, находясь под влиянием философских идей Ф. Ницше и В. Дильтяя.

тея. Жизнь антиномична по своей сущности. Оценивая жизнь внешнюю как пассивно созерцательную, «мертвую» или «псевдожизнь», Гофмансталь противопоставляет ей «настоящую жизнь» и «животворную», которая глубже и содержательнее, обладает чудодейственным началом, сходным с мистерией. Такая жизнь выходит за пределы привычных пространственно-временных границ и находится в постоянном движении и становлении [7].

Таким образом, нравы венского модерна воплотили в себе пограничность, двойственность исследуемого исторического периода: на фоне уже устоявшихся повседневных практик происходит формирование новых. Этот процесс сопровождался ощущением «распада» и «кризиса» традиционных ценностей. Творчество Г. Климта, представителей венской литературы неразрывно связано с духом «новой эпохи». Стирая грань между действительностью и игрой, в своем творчестве они воссоздавали неповторимую атмосферу Вены рубежа XIX–XX вв.

-
1. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. М., 2003.
 2. Гофмансталь Г. фон. Избранное. М., 1995.
 3. Джонстон У. Австрийский ренессанс. М., 2004.
 4. Нирн К. Философская мысль в Австро-Венгрии. М., 1987.
 5. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла: Избранные произведения. М., 1990. Кн. 2.
 6. Цветков Ю. Л. Густав Климт и литература венского модерна // Вестн. Нижегород. ун-та им. Н. И. Лобачевского. Литературоведение. Межкультурная коммуникация. 2010. № 4.
 7. Цветков Ю. Л. Поэтика молодого Гугго фон Гофманстала // Вестн. Иванов. гос. ун-та. Сер. Филология. 2000. № 1.
 8. Черепанова Е. С. Австрийская философия как самосознание культурного региона. Екатеринбург, 2000.
 9. Чини М. Климт. Сокровищница мировых шедевров. Харьков ; Белгород, 2010.

Рукопись поступила в редакцию 4 декабря 2012 г.

УДК 7.01 + 75.051(436) + 141.5 + 17.021.2

Ю. В. Циплакова

**ЧИСТОЕ EGO И «ЖИВОЕ ТЕЛО» В ТВОРЧЕСТВЕ Г. КЛИМТА
И ФЕНОМЕНОЛОГИИ Э. ГУССЕРЛЯ**

Статья посвящена выявлению мировоззренческих и понятийных параллелей между творческим методом живописца Густава Климта (1862–1918) и основателя трансцендентальной феноменологии Эдмунда Гуссерля (1859–1938). Художник и философ принадлежали одной исторической эпохе, культуре одной страны — Австро-Венгерской империи, что дает право сопоставлять и рассматривать их картины мира и профессиональные установки в зависимости друг от друга. Впервые привычная историко-философская и искусствоведческая трактовка, ставящая творчество Климта (и символизма как стиля в искусстве в целом) в контекст философской проблематики А. Шопенгауэра и Ф. Ницше, расширяется здесь соотнесением образности и композиций Климта с идеями трансцендентальной феноменологии.

Ключевые слова: австрийская философия, визуальный язык, восприятие, европейское человечество, живопись, живое тело, жизнь, жизненный мир, кризис европейской культуры, орнамент, символизм, смертность, сознание, феноменология, цвет, эго, эротизм.

1

В этой статье нас будут интересовать творчество известного живописца Густава Климта и его связь с трансцендентальной феноменологией Эдмунда Гуссерля. Наша цель — выявить и обосновать параллель художественной и интеллектуальной практик времени Австро-Венгерской империи, что поможет понять специфику австрийской региональной философии.

Характерно, что исторический период Австро-Венгерской монархии длился с 1867 по 1918 г., годы жизни Г. Климта — с 1862 по 1918-й. То есть когда возникло данное государственное образование, Климту было семь лет, а год окончания Первой мировой войны стал последним и для государственного образования, и для художника. Что касается Гуссерля, он родился в Моравии в 1859 г., а скончался в Германии в 1938-м, пережив ровно на 20 лет и страну, и живописца. Большую часть жизни Гуссерль прожил в Германии, но его становление как мыслителя, а также некоторые важные понятия и парадигмы его творчества связаны с родной Австрией и австрийской философией.

Начать следует с того, что в творчестве Г. Климта само слово «философия» фигурирует в странном контексте. Чаще всего о «философии» вспоминают, имея в виду три знаменитые работы художника, созданные для Венского университета, — «Философия», «Медицина», «Юриспруденция» (1894–1907). Три произведения связаны одновременно и со скандалом: университетские профессора выступили категорически против размещения работ в залах университета, и с триумфом: «Философия» была отмечена на престижной Парижской выставке. Традиционно искусствоведы описывают замысел художника так: «...Климт

намеревался разгадать метафизическую загадку человеческого существования. Он хотел показать космическую перспективу современного человека, утратившего ориентацию с тех пор, как он потерял связь с основами своего бытия. Его провожатыми в этой неизведанной духовной области стали Шопенгауэр и Ницше. Было почти нереально справиться с той задачей, которую он перед собой поставил: изобразить на картине отношения между человеком и универсумом. Он замыслил пойти дальше, чем позволяли привычные аллегории, и выразить идеи иррациональной философии своего времени» [5, 45].

То есть творчество Климта уже привычно рассматривают в контексте философии А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. Даже в наши дни на выставках Климта в музеях Вены можно столкнуться с тем, что его работы сопровождают цитатами из Ф. Ницше. И это, конечно, вполне оправданно. Однако к моменту выполнения основного комплекса работ над названным триптихом и Шопенгауэр, и Ницше уже перестали быть новейшей актуальной модой, они были недавним, славным, но все же прошлым. Напомню, что Шопенгауэр скончался еще в 1860-м, год смерти Ницше — 1900-й (однако целых 11 лет перед своей кончиной Ницше не занимался публичной философской работой).

То есть Климт, вопреки позиции исследователей символизма в искусстве, вряд ли мог привлекать идеи Шопенгауэра и Ницше в качестве единственно вдохновляющих, хотя, несомненно, мог использовать их для обобщения композиции работы, посвященной трем главным *сферам* структуры европейского университета — духу, телу и обществу. Традиционно указанным сферам и соответствуют философия, медицина и юриспруденция.

Но вместе с тем весьма сложно представить, чтобы такой принципиальный новатор и лидер бунтарей от искусства (фаворит новаторской выставки в Париже и общепризнанный лидер отступников от живописного академизма, что отразилось в избрании его главой Сецессиона в 1897 г.) выбрал в качестве приоритетного ориентира философию тридцати- или сорокалетней давности. Как-то это не вяжется с личностью художника, который ведет бескомпромиссный творческий поиск здесь и сейчас. И следовательно, в своем оригинальном творчестве он должен был бы придерживаться радикального поиска, быть настроенным на инновации.

Исследователи, работающие на междисциплинарном поле, часто склонны упрощать ситуацию, представляя в паре «философ — художник» кого-то одного слепым эпигоном. Федор Тютчев, часто говорят нам, отражал в своих стихах мысли Шеллинга, Шекспир заимствовал идеи у Ф. Бэкона, а Сальвадор Дали одолживал образы у А. Бергсона и П. Слотердайка и т. д. Конечно же, такой подход не совсем корректен. Если внимательно присмотреться к истории искусства и к истории философии, то станет очевидно: напрямую заимствуют идеи у философов художники не очень талантливые или ориентированные на массы, внимание толпы. Особенно это станет очевидно в XX столетии, когда к живописи, графике и театру прибавятся фотография и кино. Но художники уровня Г. Климта, безусловно, сами творят свои образы и концепты, возможно, схватывая то, что еще не сложилось в теоретические системы и что называется «носится в воздухе». Выдающиеся живописцы эпохи порой выражают в пластике

синхронные им смелые философские идеи и делают это, как правило, в аутентичной оригинальной манере. И перекличку между актуальным философствованием и художественным творчеством в случае действительного таланта следует искать в области дерзких, на глазах оформляющихся находок, а не в области устоявшейся историко-философской классики, которую художник просто иллюстрирует.

К тому же в истории западноевропейской живописи и до Климта можно без труда найти тех, кто ориентировался на те же самые установки, которые были у Шопенгауэра и Ницше. Прежде всего это касается других художников-символистов и прерафаэлитов в Англии, с которыми, конечно, связать творчество Климта также несложно. Но вместе с тем очевидно, что Климт идет явно дальше только стилистических поисков, не ограничиваясь ими. Климт не подражатель. Это видно хотя бы по тому, что он активно привлекает наработки других современных ему направлений — постимпрессионизма, фовизма, экспрессионизма. Он создает новый выразительный язык, и именно в средствах этого языка и нужно искать параллель с философией. Как же тогда истолковать его возможную заинтересованность идеями Шопенгауэра и Ницше? Если она и была, то явно не должна быть единственной. Слепого преклонения перед прошлым, свершившимся тут, быть не должно.

2

Выявить подлинную параллель философской программы и художественного метода (новаторского визуального языка) — значит суметь объяснить с помощью этой параллели узнаваемые, «фирменные» черты манеры художника в его лучших произведениях и по-новому увидеть конфликты понятий в рассматриваемом философском учении.

Давайте обратимся в связи с этим к известным произведениям Климта. Как объяснить, в частности, исходя из феноменологии, странное желание Климта постоянно *«превращать» изображаемое человеческое тело в орнамент?* Его портретируемые персоны и аллегорические фигуры сливаются с фоном или контрастно выделяются на нем, а их одеяния, часто дописываемые художником постфактум, после того как он напишет обнаженную модель, содержат характерные геометрические и цветовые ритмы, что и создает нужный эффект, что становится узнаваемым творческим приемом. Но как объяснить это, обращаясь к трансцендентальной феноменологии?

Или еще: всем известно, что Климт любит изображать женщин, пишет их чаще всего обнаженными. И ему часто достается от ревнителей нравственности за то, что он *изображает свои модели в странных позах и ракурсах*. Но для чего? Что это за странный экзотический эротизм? Эротизм, скрываемый лоскутной яркостью повторяющихся цветовых антitez? Это явно не эротика, отсылающая к еще одному известному земляку Климта и Гуссерля — Зигмунду Фрейду. Эротика Климта не темная, тайная, болезненная сексуальность родом из детства, извлекаемая из глубин индивидуальной психики. Она связана с настоящим, с пространством. Климт выстраивает отношения с настоящим, в его

чувственности нет тайны. Скорее напротив, это открытая, очевидная всем, лежащая на поверхности эротика, прикрываемая радостными ощущениями и впечатлениями субъективного мира.

И наконец, еще одно обстоятельство, которое стоит прояснить. В отличие от других художников-символистов Климт противопоставляет в своих работах смерть, умирание, угасание и новую, возрождающуюся жизнь. Символы смерти всегда меркнут на его полотнах и росписях перед символами рождения, света, плодородия, радости.

Его, конечно, нельзя назвать жизнерадостным художником. Он всячески намекает, что мир исполнен страданий, болезню и смертью, но этой шопенгаузеровой (а точнее, буддийской) тоске всегда противопоставляются образы радости. Оскаленные черепа на картинах Климта меркнут перед объятиями и беременностью («Бетховенский фриз», «Надежда I», «Смерть и жизнь»). Сердечная улыбка убивает мифологическую мрачность («Афина-Паллада»). Световые пятна пробиваются сквозь холодные тени («Фруктовые деревья»), а сквозь ряды деревьев в осеннем лесу, заставляющем встревожиться от обилия омертвленных листьев, прорывается небесная лазурь («Молодой буковый лес»). И так далее. Изображаемый мир явно находится в предвоенном, грозном состоянии, однако художник всегда дает нам явный, недвусмысленный знак, что не все потеряно.

Представление у Климта оказывается бытийным, живым и сущностно наполненным и всегда побеждает, повергает ниц пожирающую Мировую Волю. Согласитесь, такой поворот не совсем в духе Шопенгауэра. Элементы вроде бы те же, да акценты расставлены иначе. Нет у Климта и ницшеанской мечты о сверхчеловеке, о «дальнем» заклинателе драконов из будущего, зовущем сегодняшнего человека за собой. Климт, изображая своих женщин, всегда ограничивается частным, филистерским, бытовым пространством. Однако это пространство наполняется у него яркими видениями, экзистенциально острыми аллегориями, мифологическими аллюзиями.

Но что на полотнах Климта точно есть, так это нарастающее ощущение кризиса, тревоги, разрушения, смертности. Философская наука, юриспруденция, медицина, политика, музыка (если вспомнить его университетский триптих и несколько других аллегорических произведений) оставляют обычного человека один на один с распадом. Но он умудряется как-то удержать мир при помощи культуры и... своих непосредственных, телесных контактов, при помощи своего живого тела (*Leib*). И как раз от этой проблематики кризиса очень хорошо перекинуть мостик к феноменологии. Во многих своих работах, в особенности позднего периода, Гуссерль писал о том, что, несмотря на то, что совершенство точных, естественно-научных дисциплин постоянно возрастает, бытийствующий, повседневный субъект постоянно от этого страдает. Философ пишет: «Что может наука сказать о разуме и неразумии, что может она сказать о нас, людях, как субъектах этой свободы? Наука всего лишь о тела, разумеется, ничего, ведь она абстрагируется от всего субъективного. Что касается, с другой стороны, наук о духе... то их строгая научность требует, как говорят, чтобы исследователь тщательно исключал все оценочные позиции,

все вопросы о разуме или неразумии тематически рассматриваемого человечества и произведений его культуры» [4, 21].

Далее он указывает, что в этом мире, где царствует современная наука, разум очень часто оборачивается бессмыслицей, а благодеяние — мукой. И, как и Густав Климт, Гуссерль также задается вопросом: «Можем ли мы смириться с этим, можем ли мы жить в этом мире, где историческое свершение представляет собой не что иное, как непрерывное чередование напрасных порывов и горьких разочарований?» [Там же].

3

Ровно тогда же, когда Климт работал над университетским заказом, Гуссерль издал свои «Логические исследования», в которых уже можно найти интересующие нас параллели, объясняющие указанные выше особенности творчества Климта. В своих последующих работах, и в особенности в позднейшем, опубликованном после смерти «Кризисе европейских наук и трансцендентальной феноменологии» (1934–1936), Гуссерль провозглашал принципы и ценности, сопоставимые с принципами и ценностями Густава Климта. Следовательно, понять Климта гораздо легче, обратившись к материалу философии Гуссерля.

Непременным условием создаваемой Гуссерлем феноменологии является провозглашение так называемой феноменологической редукции, т. е. принципиального отказа воспринимать вещи мира, физические тела независимо от Живого Сознания. В разные периоды творчества Гуссерль по-разному обозначает этот свой ключевой термин — Чистое Ego, Трансцендентальная субъективность, Cogito. Но в том-то и дело, что Сознание является центром феноменологической программы Гуссерля, оно ежемоментно на что-то направлено, проактивно, подвижно, само обрабатывает как восприятия и впечатления, так и данные воображения.

«Для Гуссерля чувственное восприятие и воображение суть две равноправные разновидности интуиции. Воображение, понимаемое в самом широком смысле, включая сюда и воспоминание, дает, по его мнению, не образы объектов, а такие же объекты, какие дает чувственное восприятие. Он считает неприемлемой для феноменологии “образную” теорию сознания, которая утверждает, что объекты, даваемые чувственным восприятием, находятся вне сознания, а объекты, даваемые воображением, находятся в нем и представляют собой лишь “образы” объектов, находящихся вне его», — лаконично пересказывает одну из ключевых идей «Логических исследований» Я. А. Слинин [6, 14].

И здесь как раз и прослеживается первая важная параллель между феноменологией и символизмом Г. Климта. Мир у Гуссерля, точно так же как и на полотнах его младшего земляка, «пропитан» человеческой жизнью, субъективностью. Только Климт, будучи живописцем, не обладает возможностями словесного выражения, зато в его распоряжении — визуальные выразительные средства. Бывает так, что солнечный зайчик, световое пятно или тень упадет на человеческое тело. Но если перенестись в феноменологическую реальность как Гуссерля, так и Климта, то мы увидим одно и то же.

Живое Сознание, соприкасаясь с миром, оставляет на нем яркие цветовые пятна, а осмысливая и вспоминая их, превращает эти пятна в шлейф ретенций и протенций, повторов памяти и предвосхищений, что может иметь визуальный аналог в виде ритмизированного орнамента. Таким образом, концепция узора и орнамента как соединительного звена тела и мира у Климта полностью соответствует концепции внутреннего сознания времени Э. Гуссерля.

Далее. В мире феноменологической субъективности, в котором нет разницы между восприятием и воображением, особое значение имеет *материя интенционального акта*, т. е. то, в каком виде, ракурсе, контексте, освещении созерцаемое открывается мыслящему ego. «Если, например, я сейчас наблюдаю из окна дерево, растущее во дворе, то материей этого акта будет дерево с той стороны и в той перспективе, как оно видно из моего окна в данный момент времени. В материю интенционального акта включаются, по Гуссерлю, и оценочные моменты; пусть я смотрю на вазу для цветов: материей этого интенционального акта будет данная ваза, стоящая в данном магазине, на данной полке, видимая в данной пространственной перспективе, очень красивая...» [6, 20]. То есть для феноменологического исследования чрезвычайно важно отразить, зафиксировать случайное, эмпирическое сочетание, ракурс, перспективу. И чем больше неожиданных ракурсов будет изучено, тем более целостным, отрефлексированным, живым, ясным будет представлено изучаемое сознанием. Если вспомнить теперь о таком количестве ракурсов, которое использует Климт, в особенности в *набросках*, то можно утверждать, что его творческий метод поиска вполне сравним с феноменологическим видением по Гуссерлю.

4

«У меня нет ни одного автопортрета. Как “предмет картины” я себе не интересен, скорее — другие люди, особенно женщины, но еще больше — иные явления», — признавался Г. Климт [5, 97]. Честно говоря, одного этого признания достаточно, чтобы провести параллель между феноменологией Гуссерля и методом Климта. И, как ни странно, именно данная цитата является превосходным мостиком для третьей, ключевой параллели Климта и Гуссерля — победы темы Жизни над темой Смерти.

Дело в том, что и Гуссерль, когда выбрал в качестве движущей силы своей философии Сознание, *Ego*, постоянно подчеркивал, что это не эмпирическое «Я» самого исследователя, но некоторая всеобщая, бесконечная (трансцендентальная) активная данность, заимствованная основателем феноменологии не то из немецкой классической философии, не то у Декарта, не то у Платона.

Чтобы «сделаться» чистым, трансцендентальным субъектом, необходимо пойти по пути *анонимности*, стать на позицию созерцающей всеобщности. Сознание последовательно мыслит разные предметы, «отмысленные» предметы будут помещены в шлейф картинок-эйдосов и уже не смогут принадлежать конкретному эмпирическому субъекту. Но эта анонимность сознания и является источником возрождающейся жизни. Поэтому сознание у Гуссерля всегда живое и является источником преодоления мира.

«Жить в качестве Я-субъекта означает проживать многообразное психическое, — говорит Гуссерль в одном из “Амстердамских докладов”. — Однако эта проживаемая нами жизнь, так сказать, анонимна, она протекает, но мы не направляем на нее внимания, она остается вне опыта, ибо иметь нечто в опыте — значит схватывать его в его самости» [3, 65]. Далее Гуссерль подчеркивает взаимосвязь анонимности жизни со спецификой интенциональности: «В бодрствующей жизни мы всегда заняты чем-то, то этим, то тем, причем на низшей степени — непсихическим: например, воспринимая, мы заняты воспринятой ветряной мельницей, направлены на нее и только на нее, в воспоминании мы заняты воспоминаемым, в мышлении — мыслями. <...> Действуя подобным образом, мы ничего не знаем о разыгрывающейся при этом жизни, ее различных свойствах, которые сущностно необходимы для того, чтобы мы могли иметь темы для наших занятий...» [Там же].

Сознание, всецело поглощенное бесконечным осмысливанием предметов мысли, закономерно *не замечает* своей поглощенности этим и соответственно не замечает переходов от одного предмета к другому. Сам же процесс этих постоянных интенциональных скачков от одного к другому и есть процесс *проживания* интенций и событий: сознание может не осознавать, что оно — живое, то есть *всегда направленное на что-то новое*, но жизнь от этого не останавливается. Сознание интенционально «отталкивается» от атмосферы глухих, скрытых, но содействующих значимостей, от жизненного горизонта, на котором актуально направленное «Я» может снова обратиться к прежним наслаждениям, осознанно достигая апперцептивных озарений и превращая их в созерцания. Анонимная жизнь, таким образом, есть неотъемлемая характеристика сознания.

Жизнь, по Гуссерлю, существует еще до всяческого физического, объективизированного бытия. Время жизни совпадает с внутренним осознанием времени у субъекта и никак не связано объективной материальной историей. Х.-Г. Гадамер так проясняет позицию Гуссерля: «“Жизнь” — это не только “безыскусная жизнь” естественной установки. “Жизнь” — это также, и в не меньшей степени, трансцендентально редуцированная субъективность, которая есть источник всех объективаций. “Жизнью” Гуссерль называет то, что он подчеркивает как свое собственное достижение, критикуя объективистскую наивность всей предшествующей философии. Это достижение, согласно Гуссерлю, состоит в показе мнимости общепринятой теоретико-познавательной контроверзы идеализма и реализма и в выдвижении на ее место и в изучении внутренней сопряженности субъективности и объективности» [2, 299].

Именно поэтому в своих поздних работах Гуссерль постулирует понятие жизненного мира, забытого европейской наукой основания для любой активности. Естественные науки, по Гуссерлю, должны развиваться, только вспомнив об анонимном мире жизни, в котором сознание все время возрождает из анонимности новые смыслы. Именно благодаря этому кризис современных наук и европейского человечества, война, осознание смертности и пессимизм преодолеваемы. Человеческие, живые смыслы неизбежно обновятся. В 20-е гг. Гуссерль напишет по заказу японского журнала цикл статей, в которых слово «обновление» будет ключевым. Благодаря созидающей роли феноменологического субъек-

тивизма объективный мир не разрушается, творчество побеждает и утверждает в нем новые горизонты.

Позднее ученик Гуссерля — Л. Ландгребе напишет: «Любые феноменологические рассуждения о мире ограничены тем, что ими может быть установлено: то, где всегда находимся мы, люди, живя друг с другом в обществе, является их жизнью вживания в окружающий мир некоего более или менее ограниченного учения о типичности; этот мир для каждого [индивидуа], который размышляет, уже всегда наличествует. Он в нем рождается, затем в нем взрослеет, воспитывается в его традициях и воззрениях и таким образом получает его картину мира. Поскольку он воспринимает и перерабатывает опыт предыдущих поколений, усваивает новый опыт на их основе в обществе своих “современников”, то он вносит вклад и в дальнейшее развитие этой картины мира, будь то ее подтверждение в преемственных границах, будь то ее преобразование, революционный разрыв с унаследованными традициями, посредством которого для новых поколений устанавливается новая система ценностей...» [1, 55].

То есть, согласно Гуссерлю, на основе жизненного мира формируется не только наука, но и все остальные гуманитарные феномены — история, язык, культура, традиции. Жизнь сознания преодолевает кризисы, забвения, разрушение и смерть. Но что же объединяет посреди бушующего мира сознание и анонимную жизнь?

В поздний период творчества на этот вопрос Гуссерль отвечает так. Носителем сознания в жизненном мире выступает так называемое «живое тело» (*Leib*), которое и осваивает остальные тела мира: «...Все, что в жизненном мире предстает как конкретная вещь, само собой разумеется, обладает телесностью, даже если это не всего лишь тело [Körper], а, например, какое-нибудь животное или культурный объект, то есть обладает также и психическими или какими-либо иными духовными свойствами. Если мы принимаем в вещах во внимание только чисто телесное, то в плане восприятия оно, по всей видимости, предстает только в видении, в прикосновении, в слышании, то есть в визуальных, тактильных, акустических и т. п. аспектах. В этом, само собой разумеется, неизбежно участвует наше живое тело [*Leib*], всегда остающееся в поле восприятия, наделенное соответствующими “органами восприятия” (глаза, руки, уши и т. д.). В меру осознанности они постоянно играют здесь свою роль, а именно функционируют в видении, слышании и т. д. вместе с присущей им подвижностью Я [*ichliche Beweglichkeit*], так называемой кинестезией. Все кинестезии, всякое “я двигаюсь”, “я делаю” связаны друг с другом в универсальном единстве, причем кинестетический покой есть модус моего действия» [4, 147].

Сказанное парадоксальным образом может быть проиллюстрировано картинами Климта. Его беременные, орнаментированные, полураздетые, встроенные в колористический мир женские тела очень часто и выступают моделью этого гуссерлевского *Leib*, сквозь призму которого формируются первопорядковые и интерсубъективные миры, преодолевается одиночество, рождается новая материя смысла, посредством которой преодолевается европейский кризис и изгоняется смерть.

1. *Landgrebe L.* Der Weg der Phanomenologie: Das Problem einer ursprünglichen Erfahrung. Mohn, 1969.
2. *Гадамер Х.-Г.* Истина и метод. М., 1988.
3. *Гуссерль Э.* Амстердамские доклады. Ч. 1 : Феноменологическая психология // Логос. М., 1992. № 3.
4. *Гуссерль Э.* Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. СПб., 2004.
5. *Сармани-Парсонс И.* Густав Климт. М., 1995.
6. *Слинин Я. А.* Эдмунд Гуссерль и его «Картезианские размышления» // Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб., 1998.

Рукопись поступила в редакцию 4 декабря 2012 г.

УДК 366:1 + 140.8 + 339.13 + 75.051(436)

Е. А. Батюта

«РЕКЛАМНАЯ ФИЛОСОФИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ» В ЗЕРКАЛЕ «КОММЕРЧЕСКОГО ИСКУССТВА» Г. КЛИМТА

В статье рассматриваются причины и механизмы, обусловившие популярность использования репродукций и мотивов живописи Г. Климта в современном коммерческом искусстве. Автор считает, что такими причинами и механизмами являются особенности мировоззрения современного потребителя, его «философия», отраженная в рекламе. Потребитель живет в мире иллюзий разного уровня, подвергаясь рекламному воздействию. Символические образы художника совпадают с иллюзорными представлениями рекламы и стимулируют потребителя фантазировать, осваивая «игровую реальность» потребления.

Ключевые слова: потребитель, коммерческое искусство, философия потребления, социальная иллюзия, потребительская игра, манипулирование.

Декоративные символические работы лидера Венского авангарда рубежа XIX–XX вв. Густава Климта чрезвычайно популярны сегодня как основа для рекламных материалов. В спектре коммерческих предложений мы находим арт-постеры, календари и даже женские шарфы с репродукциями картин художника. Плоские, прозрачные, почти мозаичные изображения, игра орнаментальных форм непостижимым образом сочетаются с мироощущением и мировоззрением современного человека-потребителя, поведение которого напоминает исполнение роли в пьесе, где каждый имеет мизансцены, реквизит и костюмы, необходимые для хорошего спектакля. Суть этого шоу: *потребление как опыт* – здесь потребление само по себе является эмоциональной или эстетической целью индивида; *потребление как интеграция* – в нем имеет место использование и манипулирование объектом для выражения аспектов личности; *потребление как идентифицирующая игра* – в ней происходит слияние самосознания человека и самосознания группы.

Сегодня все вовлечены в систему коммуникаций посредством потребительской деятельности, в которой транслируются роли и статусы. Люди находятся

в поиске по самоопределению своих истинных «я» с помощью различных видов потребительской деятельности. И главной целью потребления может быть изыскание нескольких из множества возможностей, предлагаемых рынком, в погоне за «истинным кайфом». Мы можем решиться даже на политические действия в качестве потребителей, объявив бойкот товарами компаний или стран, чье поведение и взгляды не выдерживают наших этических стандартов. Следовательно, современный потребитель может выступать в различных ипостасях — «выборщиков», коммуникаторов, искателей удовольствий и собственного «я», жертвы, мятежника и активиста, причем иногда в одно и то же время.

Картины Климта, сочетающие две силы — абсолютную свободу в изображении предметов и выражение «недостижимого мира», стоящего за временем и реальностью, предвосхищают эти характеристики нашего современника.

Наиболее явные совпадения калейдоскопического мира «позднего» Климта и мира современного потребителя можно проследить в рекламе. В. В. Ученова, представляя философию рекламы, замечает, что мастерство воздействия рекламы — это в значительной мере «мастерство облазна» [8, 45]. Следуя данной установке, С. Шомова прямо определяет секрет обаяния рекламы как умение «продуцировать не ложь, но иллюзию». Имея в виду все виды рекламы, С. Шомова пишет: «Реклама не обманывает человека напрямую, но зато она создает условия для самообмана потребителя. Она умело и грамотно работает с ценностями общества, использует особые технологии логической аргументации и эмоционального воздействия, владеет секретами символизации и приемами суггестии (внушения)» [11, 144].

Иллюзорный мир потребителя невозможен без целого комплекса фантазий, которые обладают большим зарядом энергии и питают потребительские настроения. В. Х. Беленький выделяет следующие функции социальных иллюзий: *мультипикационную* (социальные иллюзии стимулируют смену парадигм, целей, обслуживаются общественные изменения); *идентификационную* (обеспечение отношений между социальными субъектами); *ориентационную* (представление целей); *манипуляционную* (как средство воздействия) [2, 110–116].

Иллюзия происходит от лат. *ludere* — играть, а также *illudere* — обманывать. Иллюзия определяется в словарях как ошибочное, неадекватное восприятие, в результате которого происходит замена реального и подлинного фикцией (вымыслом), а также видимость, имитация, приблизительная копия, схематическая модель или описание отдельных внешних свойств реально существующих объектов, игнорирующее другие, существенно значимые в условном контексте наблюдения качества [6]. Изначально присущие человеку основы иллюзорного восприятия действительности находятся в символической природе сознания. К. Юнг определяет веру в символ как путь в иллюзорную реальность [12]. В то же время, согласно А. Ф. Лосеву, символ следует рассматривать не в качестве указателя на какую-либо действительность, а как саму эту действительность [5]. Реклама представляет собой именно такую мифическую, иллюзорную реальность. О. А. Феофанов пишет в этой связи: «Мы все неизбежно участвуем в беспрерывном рекламном процессе, процессе формирования

мифов, иллюзий, рекламных сказок... Рекламодатели дают деньги и заказывают имидж (он же — миф) своему товару» [9, 65].

В обыденном сознании и научном дискурсе иллюзии противопоставляются реальности, но в рекламе они сливаются воедино. Иллюзорность целей потребителей выдает их чрезмерная ориентация на абстрактные положительные ценности, преимущественно самого высокого порядка, принятые в данном обществе. То, что называется рекламным мифотворчеством, представляет собой укращение реальности, приведение ее в соответствие господствующим положительным культурным ценностям.

Корелляция всех видов потребительского восприятия происходит на уровне воображения, пробуждая фантазии. Потребительские ментальные модели отличаются, в частности, от научных моделей тем, что создаются преимущественно фантазией, минуя стадию рационального осмысления. Главная задача всех средств рекламного контакта — пробудить воображение людей, благодаря которому существуют многие иллюзии.

Восприятие иллюзии обеспечивается с помощью надлежащего исполнения основных параметров медиапланирования — охвата целевой аудитории и частоты повторений. В рекламной кампании, которая длится, как правило, относительно недолго, необходимо обеспечить охват максимально большей целевой аудитории за короткое время, задействовав по максимуму все возможные способы контакта. Реклама в СМИ, охватывая максимальную аудиторию, лучше других средств обеспечивает главное условие существования иллюзии — ее социальность. Но потребительская аудитория существует в разных пластиах времени и пространства, и в этих благоприятных условиях задачей рекламы является превращение публики в массу путем соединения ее во времени и пространстве рекламного имиджа.

Иллюзия потребителя существует на уровне общества и проявляется в диалоге либо в его имитации в современных средствах коммуникации. Мы привыкли, что в основе мышления лежит единство мысли и мыслимого, в то же время, как известно, мысль изреченная есть ложь. Идолы рынка часто господствуют над остальными, и слово есть орудие потребительской иллюзии. Но слово и образ в наши дни не существуют порознь, причем образ имеет индивидуальную природу, а слово-знак — коллективную и создает, вступая в контакт с эмоциями, коллективные иллюзорные представления.

Иллюзия возникает благодаря тому, что слово само становится объектом, который замещает в сознании людей реальный объект. А. А. Леонтьев приводит широкий перечень трудов, посвященных изучению проблемы «двойной онтологии» слова [4]. М. М. Бахтин считал, что в знаке (слове) встречаются организм и мир, создавая мир знаков [1]. Подобный же мир составляет основу семиосферы Ю. М. Лотмана, персоносферы А. А. Ухтомского и мира общего коммуникативно-конвенциального знания К. Поппера. П. А. Флоренский утверждал, что слово есть сама реальность, которая не дублирует ее и является не копией, но реальностью в ее подлинности. Язык вместе с фантазией определяет многообразие существования иллюзорных представлений современного потребителя.

Вера в иллюзию поддерживается с помощью повторения, в том числе рекламных сообщений. Для того чтобы лучше представить роль частоты повторений рекламы в доведении сообщения до аудитории, проведем аналогию с простой иллюзией восприятия цвета. Известно, что раскрашенный в три сегмента различных цветов круг при вращении воспринимается в едином новом цвете. В случае рекламы роль скорости вращения выполняет частота повторений.

Представление рекламной иллюзии скрывается в тексте, изображении, видеоряде, подобно тому как миф выражается в системе культа, включающей словесную (заклинания, мольбы, литургия) и изобразительную (фигурки божков, рисунки, иконы) части. Среди видов рекламы наибольшее количество репродукций Климта встречается в рекламной листовке, где используются такие ее разновидности, как «поздравительные листовки», «фри-карды» (открытки), постеры. Именно они активно «паразитируют» на образах из живописи Г. Климта, провоцируя у потребителя поддержание иллюзорного представления о чудесном ином мире, талантливо изображенном художником. «Поздравительные» материалы, открытки и постеры распространяются во время рекламной кампании, но как бы вне ее рамок. Листовки содержат поздравления, как правило, с «большими» праздниками, например с Новым годом или 8 Марта, а также с профессиональными праздниками и распространяются как по почте, так и на носителях наружной рекламы. Культура потребительских иллюзий принимается таким образом как будничная жизнь — дома, на работе, с друзьями и в толпе. Действуя подобным образом, рекламное изображение делает иллюзорный мир частью «своего» мира потребителя.

Жанр портрета, наиболее популярный в творчестве Климта и чаще всего транслируемый, имеет многовековую традицию и богатое содержание: погрудные портреты, поплечные, поясные, в полный рост и портреты парадные, интимные, воплощенные и в скульптуре, и в миниатюре монументально, станково, карикатурно и т. д. Портрет рождает различного рода ассоциации, определяющие иллюзорное восприятие. Это могут быть ассоциации по типу «один из нас», апеллирующие к знакомым с детства образам. В портретных композициях всегда огромное значение придавалось взгляду. Представление взгляда в изобразительном искусстве определяло эпоху. Портретируемые в эпоху романтизма, например, никогда не смотрели на зрителя, в отличие от классицизма или барокко, когда взгляды, страстные или игривые, трагические или насмешливые, всегда обращались к нам. Персонажи Климта несколько отличаются от рекламных фотогероев нашего времени, их лица не располагаются на уровне глаз зрителя и не формируют иллюзию того, что это «один из нас». Портретируемые всегда спокойны и серьезны или тихо улыбчивы, страсти и сильные эмоции запрещены.

В сегодняшней рекламе не только арсенал изобразительных средств скуп, но невысок и вкус создателей и заказчиков рекламы. В основном это фотопортреты: поясные, личные или забавные групповые, где в качестве персонажей выступают друзья или же просто группа людей, созданная фотомонтажом. Умые, причесанные, аккуратные моложавые люди — вот практически весь скучный набор отличий современного рекламного героя. Именно это однообразие,

вероятно, и порождает увлечение яркими неземными персонажами портретов работы Г. Климта.

Постоянное и частое повторение авторитетных мнений приводит к формированию у современного человека-потребителя иллюзии собственного мнения. Подобная ситуация описана Э. Фроммом, когда он утверждает, что «на самом деле людям кажется, что это они принимают решения, что это они хотят чего-то, в то время как в действительности они поддаются давлению внешних сил, внутренним или внешним условиям, и “хотят” именно того, что им приходится делать» [9, 327]. По мнению Фромма, это один из способов, которым человек бежит свободы.

Среди современного визуального поколения словом без изображения уже мало кого «закодируешь». По многочисленным свидетельствам профессионалов, сегодняшние школьники, учащиеся и студенты с трудом усваивают тексты; слова уже не вызывают у них образов. Популярными становятся зрелищные фильмы в жанре *action*, насыщенные спецэффектами, музыкальные видеоклипы, комиксы, прямо представляющие образы. В условиях когда восприятие идет впереди представления, становится проще управлять формированием коллективных иллюзий; пропагандировать легче, поскольку люди готовы многое воспринимать на веру. Само слово «пропаганда» происходит от лат. *propaganda fide* — «пропаганда веры». Снижение способности к презентации открывает громадные возможности для изображения. Теперь уже не мы, а вещи смотрят на нас с фотографий и экранов телевизоров. Все дело в нюансах; подчеркнув детали, людей можно убедить в чем угодно. Для создания иллюзии художники Ренессанса использовали прием анаморфоза — умышленного изменения пропорций изображения. Сегодня в тех же целях используются объектив камеры, ракурс, план, монтаж, а зрители получают полное впечатление присутствия, формируя иллюзию понимания. Понимание, если оно вообще возможно, вызывает либо скучу, либо депрессию. Недопонимание заставляет воспринимающего субъекта работать в направлении заданных образцов, утверждая прекрасные иллюзии; именно в этом ключе символические изображения Климта выглядят особенно привлекательно для творцов потребительской культуры.

Иллюзия возрастает благодаря феномену измененного сознания, которое она же и провоцирует. Измененное сознание ограничивает роль разума в оценке ситуации и пробуждает древнюю веру. Вера есть составляющая природы человека и необходимое условие существования в условиях неопределенности, именно вера ведет людей на протяжении их истории от анимистических верований мифов через метафизическую веру в Бога к социальной вере. Понятие измененного состояния сознания неопределенно. Сознание само по себе есть нечто измененное по отношению к инстинктам животных, и не существует нормального, природного, естественного человека, как нет и понятия нормы. Все мы немного ненормальные, и, возможно, это и есть норма для человека. Можно сказать, что измененное сознание — это то, что открывает двери в воображаемые иллюзорные миры и заставляет человека там остаться.

Путь измененного сознания известен с глубокой древности. По свидетельству Э. Б. Тайлора, «у примитивных обществ и у народов, стоящих гораздо

выше их, болезненный экстаз, вызванный созерцанием, постом, наркотическими средствами, возбуждением или болезнями, встречается весьма часто и пользуется большим почетом именно среди тех групп, которых особенно близко касается мифический идеализм, и под его влиянием преграда между ощущением и воображением окончательно исчезает» [7, 142]. В качестве особой формы проявления измененного сознания можно рассматривать такое распространенное среди потребителей явление, как толпа, совершающая импульсивные покупки в периоды распродаж. Этот феномен существовал всегда, но особенно масштабно проявился в XX в. Г. Тард замечал, что люди, искренне считающие себя свободными в достижении рациональных целей, на деле являются бездушными куклами, которыми руководят политики или пророки. По Г. Тарду, свобода и целеполагание масс представляют собой иллюзию воли. Как отмечал Г. Лебон, мы входим в эру толпы. Х. Ортега-и-Гассет констатировал кризис общества, проявившийся в результате прихода к неограниченной власти масс, которые не способны, да и не должны управлять. Э. Дюркгейм описывал известный процесс овладения идеей массами как ситуацию, когда каждый индивид, ведомый лидером, ощущает себя в толпе личностью, реально интериоризируя иллюзорные массовые представления. Роль лидера в этом случае принимает на себя реклама.

Сегодня эта спонтанная иллюзия свободы все больше используется сознательно в рамках рыночного манипулирования. Осознание неопределенности существования потребительской реальности дает возможность конструирования ее феноменов и превращает потребительскую деятельность в имитационную игру. М. Бубер, рассматривая феномен манипуляции в масштабе истории человечества, выделяет сменяющие друг друга характерные периоды: «В одну эпоху то, во что «верят» люди как в нечто от них совершенно независимое и существующее само по себе, представляет собой действительность, с которой они находятся в реальном взаимоотношении, но о которой, разумеется, как им хорошо известно, они могут составить только чрезвычайно неполное представление. В иные эпохи, напротив, на место действительности заступает соответствующее о ней представление, которое к этому времени «составилось» и с которым поэтому возможно манипулировать, или даже некоторый остаток представления, понятие...» [3, 446]. Еще Фукидид говорил, что большинство людей не затрудняет себя поиском истины и склонны усваивать готовые взгляды. Иллюзия есть состояние, похожее на сон, т. е. наиболее естественно переживаемое человеком. Соблазн вымысла отмечал А. С. Пушкин: «...и низких истин мне дороже нас возвышающий обман». В иллюзии весь мир становится человеческим, исчезают ограниченность и обусловленность субъективной реальности. В потребительской иллюзии человек освобождается от ощущения локализованности в пространстве и времени, преодолевая проживание ущербности, и конструирующие необходимый для потребителя мир образы Г. Климта как нельзя лучше совпадают с его мироощущением. Эту особенность и эксплуатирует современная реклама, предлагая нам волшебный мир художника в виде коммерческого искусства, формирующего «философию иллюзий» потребителя.

1. *Бахтин М. М.* Литературно-критические статьи. М., 1996.
2. *Беленький В. Х.* Социальные иллюзии: опыт анализа // Социол. исслед. 2001. № 5.
3. *Бубер М.* Затмение бога // Бубер М. Два образа веры. М., 1999.
4. *Леонтьев А. А.* Деятельный ум (Деятельность, знак, личность). М., 2001.
5. *Лосев А. Ф.* Вещь и имя // Лосев А. Ф. Бытие. Имя. Космос. М., 1993.
6. Социальная философия : слов. / сост. и ред. В. Е. Кемеров, Т. Х. Керимов. М., 2003.
7. *Тайлер Э. Б.* Первобытная культура. М., 1993.
8. *Ученова В. В.* Философия рекламы. М., 2003.
9. *Феофанов О. А.* Реклама: новые технологии в России. СПб., 2000.
10. *Фромм Э.* Бегство от свободы. Минск, 1998.
11. *Шомова С. А.* Политические шахматы: Паблик Рилейшнз как интеллектуальная игра. М., 2003.
12. *Юнг К.* Символы материи и возрождения // Между Эдипом и Осирисом: становление психоаналитической концепции мифа : сб. М., 1998.

Рукопись поступила в редакцию 10 декабря 2012 г.

ОНТОЛОГИЯ

УДК 114 + 111.11 + 111.7

Д. В. Пивоваров

ОТНОШЕНИЕ, СВЯЗЬ, СВОЙСТВО, ВЕЩЬ (КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)

В статье проводится авторский категориальный анализ четырех предельно общих и тесно сопряженных между собой философских категорий — отношения, связи, свойства и вещь. Отношение определено как способ сопричастного бытия вещей и условие выявления и реализации скрытых в них свойств. Связь понимается как силовой контакт разных вещей, т. е. как прямое или опосредованное соединение и взаимное удерживание вещей в пространстве и во времени. Дефиницию свойства автор сжимает до формулы «определенность своего в ином». Вещь мыслится как качество в единстве его связей, отношений и свойств. Сопоставляются альтернативные точки зрения на сущность и взаимосвязь философских категорий отношения, связи, свойства и вещь.

Ключевые слова: отношение, связь, свойство, сопричастное бытие, силовой контакт, инаковость, свое-иное, вещь.

1. Отношение — способ сопричастного бытия вещей как условие выявления и реализации скрытых в них свойств. Отношения возникают в таких процессах сопряжения предметов — во взаимоотнесении, сближении и приобщении их друг другу, когда единение многих различных рождает кооперативный эффект. В этом эффекте, как в зеркале, преломляются и высвечиваются признаки сопрягаемых сторон. Поскольку отношение есть род условного бытия, т. е. способ осуществления внутренней возможности своего через среду иного, то релятивное (относительное, условное) следует противопоставлять абсолютному, безусловному бытию [8].

Отношение не вещь и не свойство, но то, посредством чего свойства какой-либо вещи получают свою видимость. Каков же онтологический статус отношения? Аристотель, введший в философию термин *отношение*, обозначал им род

бытия. Но в чем же особенность такого бытия? Лейбниц указывал, что поскольку отношение не удается свести ни к субстанции, ни к акциденции, то отношение имеет весьма специфическую — идеальную — форму своего существования [7]. Гегель рассматривал отношение как форму положенности, представленности одного через другое и признанности, т. е. как идеальное (нем. *Ideelle*) [2]. Реисты признают лишь бытие вещей и отрицают объективное существование отношений.

Вслед за Платоном объективные идеалисты-реалисты отрывают отношения (и общие свойства) от вещей, поскольку относят первые к сфере общего, а вторые — исключительно к области единичного. Напротив, номиналисты не склонны признавать реальность отношения. Марксисты полагают, что понятие об отношении как таковом возникает в результате абстракции и сравнения любых двух предметов по выбранному или заданному основанию сравнения (признаку); однако в материальном мире отношения неразрывно сопряжены с вещами, а потому, доказывают марксисты, отношения между вещами не менее реальны и материальны, чем сами вещи [10].

Согласно классической диалектике свойства проявляются в отношениях вещей. Отношение — это разновидность движения, действия, акта, а именно оно есть процесс и результат переноса (отнесения, отсылки) какого-либо внутреннего момента качественности вещи либо во внешнюю инстанцию — в другую вещь, либо в некоторую общую для разных агентов систему отсчета. Перенос завершается положением (вкладыванием, хранением) относимого содержания в найденное новое основание.

По мнению Гегеля, отношение имеет стороны, так как оно рефлексия в иное; таким образом, оно имеет свое собственное различие в самом себе; и стороны его — это самостоятельная устойчивость, так как они в своей безразличной разности друг относительно друга надломлены в самих себе. Устойчивость каждой из сторон отношения точно так же имеет свое значение лишь в отношении с другой или в их отрицательном единстве. Гегель понимает отношение как единство себя самого и своего иного, а потому видит его целым, имеющим самостоятельное существование [2].

Поскольку соотносящиеся стороны взаимно растворены в отношении и образовали единую (нерасчлененную) форму, то логическое мышление человека вряд ли способно сразу выразить реальные отношения связью отдельных понятий и наглядных образов этих сторон. Можно предположить, что отношение есть стихия, которая первоначально постигается интуицией. Интуитивное мышление оперирует не образами или понятиями, а особыми знаками единого и нерасчлененного — знаками-монадами. Интуитивное схватывание отношения как монады представляет собой поток переживаний в специфических формах неизобразительных модальностей. Интуитивные монады всегда очень трудно перевести на язык дискурсивного мышления, выразить в полной мере связью слов, суммой понятий и наглядных графических схем. Эти монады в значительной степени закрыты для концептуального анализа и в этом смысле существенно внелогичны.

С этимологической точки зрения (и по-русски, и по-латински: *latus*, *relatus*, *relativus*) слово *отношение* близко по смыслу, во-первых, словам, выражющим

следующие действия: носить, класть, делать общим, сравнивать, соприкасать, сближать, отсылать, удалять, скрывать и т. д.; во-вторых, словам, обозначающим пространственные термины: место, основание, бока, стороны, члены соотношения. Если в грамматическом смысле прилагательное чаще всего указывает на свойство предмета, а существительное — на сам предмет, то отношение есть скорее причастие, т. е. окачествленное действие или состояние как свойство лица или предмета; причастие — глагольная форма, совмещающая форму глагола и прилагательного. В математике под отношением понимают частное от деления одной величины на другую.

Так или иначе, и в грамматике, и в математике, и в философии отношение раскрывается прежде всего как форма участия, соучастия, значимости, роли в чем-либо. Когда имеют в виду какое-нибудь соотношение, то обычно ведут речь либо о взаимозависимости элементов системы, либо о взаимовыражении приобщаемых друг другу сторон, либо о рефлексии (взаимоотражении) сополагаемых противоположностей, либо о сравнении вещей сквозь призму опосредующего их пропорцию основания.

2. Связь — средство приобщения предметов (A, B, C и т. д.) друг к другу; способ пребывания одного в другом, разных — в их единстве; форма бытия многоного в едином. Вступающими в связь предметами A, B, C и т. д. могут быть любые определенности материального и (или) духовного бытия — вещи, явления, свойства. Выделяют два основных типа связи: 1) *силовой контакт* A и B , т. е. прямое или опосредованное соединение и взаимное удерживание вещей в пространстве и во времени, динамическое сцепление A и B (например, когезия как притяжение молекул в физическом теле или вязкость как причина сцепления различных частиц в общую массу); 2) внутреннюю связь сущностей, *присущность* A к B либо B к A (например, пребывание общего в индивидуальном, целого в частях, причины в следствии). В первом случае объединяемые A и B могут быть вновь разъединены, и их единство временно; во втором случае связь A и B постоянна, сохраняется на всем протяжении их сосуществования.

В узком и истинном смысле под связью понимают только внешнюю силовую связь, описывая ее как такое взаимное действие A и B друг на друга, когда каждое из них, количественно изменяясь в союзе с другим, тем не менее продолжает сохранять в той или иной мере свою качественную определенность, не снимается и не растворяется в едином как в чем-то третьем и сплошном [8].

Внешняя сила — высвобождение какой-либо потенциальной энергии, проявление сущностной силы, реализация моги любых форм притяжения и отталкивания взаимодействующих A и B , будь то аттракция и непроницаемость в ядерных, электромагнитных или гравитационных взаимодействиях в физическом мире, либо действия и противодействия в живой природе и обществе (живые силы и социальные силы), либо единство и борьба в духовном мире (духовные силы). В частности, в механике силу понимают как меру механического действия на данное материальное тело со стороны других тел. Это величина векторная, в каждый момент времени она характеризуется числовым значением, направлением в пространстве и точкой приложения.

Если категорию связи трактовать в этом узком смысле — только как внешнюю силовую связь, тогда появляется возможность противопоставить ее категории отношения. Отношение (R), как уже отмечалось выше, есть способ сопричастного бытия вещей, как условие выявления и реализации скрытых в них свойств. В противоположность динамически связанным вещам все члены R по традиции мыслятся положенными в субстрат этого R как в единство целого и растворенными в нем. Снимая себя в самостоятельной устойчивости aRb , соотнесенные A и B превращаются в стороны поглощающей их целостности, т. е. утрачивают бытие отдельных субстратов, лишаются прежней обособленности, теряют определенность разных качеств.

Примером динамической связи может служить взаимодействие Земли A и ее спутника B : по мере удаления B от A сила притяжения между ними стремительно убывает, однако сами эти небесные тела сохраняют прежние материальные параметры и остаются отдельно существующими предметами. Пример отношения — сходство (равенство) образа B с прообразом A : только сходство между A и B делает одно из них оригиналом, а второе копией; понятия образа и оригинала бессмысленны вне отношения сходства.

Итак, если узко понимать *связь*, то логично заключить, что A и B могут либо некоторым силовым способом вступать в связь друг с другом и при этом обычно не терять прежнюю определенность, оставаясь разными вещами внутри объединения AB , либо, наоборот, образовывать между собой какое-либо отношение aRb , вследствие чего и A , и B утрачивают внутри него самостояние; при таких логических условиях A и B , как правило, не могут одновременно быть связанными и находиться в отношении.

Однако чаще логический объем понятия связи не ограничивают признаком соединительного взаимодействия A и B . В него также включают присущность, генетическую связь либо расширяют образ связи до предельно абстрактных представлений о взаимной зависимости вообще, обусловленности и общности между любыми A и B и т. д. [13]. В этом, широком смысле уловить различия между связью и отношением как разными философскими категориями практически не удается, и тогда ими оперируют как синонимами. Не случайно Д. Юм заметил, что идея связи — одна из наиболее темных и неопределенных идей в метафизике [14].

Вместе с тем интуитивно ясно, что глаголы *взять* и *относить* обозначают разные способы действия, поэтому некоторые исследователи не хотят мириться со сложившейся в философской литературе тенденцией употреблять термины *связь* и *отношение* как обычные синонимы и стремятся категориально разграничить их. Одни авторы настаивают, что непосредственная связь — это вид отношения: перед тем как связать A и B , их нужно предварительно соотнести, соположить и совместить друг с другом так, чтобы между A и B возникла общая граница, в которой они оба окажутся снятыми, лишенными непосредственности наличного бытия. Другие философы, напротив, склоняются к оценке связи как категории более широкой, нежели отношение, а в последнем усматривают частный случай связи: отношение aRb , по их мнению, есть не связь «вообще», а связь между целым и такими его сторонами, которые вне целого сами по

себе бытия не имеют. Выделяют связи внутренние и внешние, существенные и несущественные, необходимые и случайные, прямые и косвенные, универсальные, общие и частные.

Во все эпохи философия сосредоточивалась на обсуждении принципа всеобщей взаимосвязи предметов и явлений. Лейбниц учил, что такая взаимосвязь вещей происходит по причине того, что каждое тело еще до протяжения имеет в себе некоторую сущностную силу; эта действующая сила, вырываясь наружу, вызывает движение и сцепление тел; от связности тел (*conscientia*) происходят их непроницаемость, сцепление и отражение [7].

По Гегелю, каждый объект, стремясь снять свою односторонность, вступает в связь с другим объектом, у которого проявляется такое же стремление; реальность их единства положена через их уравнивание и соединение. Связь есть стихия передавания, в которой *A* и *B* вступают во внешнюю связь друг с другом. Немецкий диалектик выделяет в связи два момента: а) спокойное слияние *A* и *B* и б) их отрицательное отношение, когда их прежняя самостоятельная определенность снимается в соединении и напряженность *A* и *B* в отношении друг друга угасает [2].

3. Свойство — момент качественной определенности своего (самобытия, вещи *A*), который через взаимодействие с иным (инобытием, другими вещами *B*, *C*, *D*, ..., *N*) отделяется от собственного основания, проникает в это иное бытие, обретает в нем, а также через него свою видимость и существует уже на осваиваемом чужом основании (носителе, субстрате). Свойство, дефиницию которого можно сжать до формулы «определенность своего в ином» [8], не есть сущее само по себе, если под сущим понимать некоторое наличное бытие, качество, вещь. В то же время свойство — это не ничто, а отраженное внутри вещи качество или качество в сфере возможности.

Свойство рождается внутри качества *A*, в сфере его сущности, и генотип свойства — это та или иная потенциальная возможность в сущности как совокупности всех внутренних отношений. Возможное свойство выявляется вовне и становится действительным свойством через исход и истечение каких-либо признаков от порождающей их основы. Эту генетическую принадлежность родному бытию *A* (бытию-в-сущности и бытию-при-сущем) обычно обозначают термином *присущность*, говоря, что вещи *A* присуще какое-либо свойство *P* или что вещь обладает свойствами.

Однако природа свойства остро противоречива: пребывая в целостности своего качества *A*, оно одновременно обитает — в форме представителя *A*, копии некоторой грани *A* — в теле иного нечто (например, *B*) и изменяет последнее характерным для *A* способом. Свойство есть, по Гегелю, видимость, отсвечивание одного качества в ином. Гегель определяет свойство как то в нечто, что становится иным; свойство основано в некотором внешнем, но в то же время принадлежит к тому, что нечто есть в себе. Вместе со своим свойством изменяется и нечто [2].

В условиях, когда *A* прекращает эмиссию свойства *P*, последнее, прерывая связь с первоистоком, теряет способность находиться между *A* и иными (*B*, *C*, *D*

и т. д.) — перестает быть диспозиционной (медиаторной, посреднической) реальностью — и актуально связывать свое и иное. Оно истощается, все более трансформируется, поглощается без остатка отчуждающим его инобытием и застухает. В таком случае говорят, что свойство P либо исчерпало себя и перестало проявляться, либо претерпело радикальное отрицание и глубоко спрятано (снято) в ином бытии, либо исчезло без видимого следа и т. п.

Вместе с тем всегда — как в случае сохранения, так и случае утери реальной связи свойства P с порождающим его бытием A — это свойство претерпевает в той или иной мере воздействие со стороны такого инобытия, в котором оно стремится вы светиться, обновиться и заново укорениться. Поэтому свойство P , строго говоря, не сводится без остатка к своему, к самобытности — к тому или иному моменту самобытия A . Всякое свойство непременно содержит в себе инаковость — признаки иного (B, C, D и т. д.) в своем (обусловленном A).

Инаковость есть то же самое, что и свойство, только взятое в аспекте проявленности иного в своем, когда иное, в свою очередь, рассматривается как источник эмиссии каких-то собственных, присущих только ему свойств, а свое — как основание воспринимающее и отчуждающее. Реализация свойства сопряжена с разнообразием условий взаимодействия A и $\text{не-}A$, зависит от степеней проявления тенденций освоения иного и отчуждения своего. В зависимости от доминирования этих тенденций в свойстве как промежутке между A и $\text{не-}A$ данное свойство можно квалифицировать как ярко выраженное свойство или, напротив, как слабо проявленное свойство.

Таким образом, свойство — это скорее функциональная, нежели субстратная форма существования; свойство — это виртуальная реальность. Оно как бы размывает границу между нечтo и иным, замечает Гегель, и переступает предел своего нечтo, благодаря чему вещность, собственно, и переходит в свойство. Свойство есть не только внешнее определение, но и в себе сущее существование, единство внешности и существенности. Свойства, говорит Гегель, выходят за пределы этой вещи, продолжаются в других вещах, и их принадлежность этой вещи не есть для них предел [2].

Свойства не составляют ограничения друг для друга. Сочетаясь в вещи, они не снимают себя. Поэтому свойство есть как бы переступание качества через само себя, когда свойство превращается в середину между находящимися в соотношении вещами. Не будучи особой вещью или отдельной метрической протяженностью, оно в то же время информирует всякое внешнее о внутреннем мире того качества A , которое его генерирует. Свойство способно пребывать во всем пространственно-временном континууме взаимодействия своего и иного — и в A , и в $\text{не-}A$, и между ними. В некотором смысле понятие свойства совпадает с понятием качества. Например, по мнению А. П. Шептулина, свойство есть то, что, как и качество, составляет устойчивость вещи. Обладая тем или иным свойством, нечто подвергается воздействию внешних влияний и обстоятельств. Благодаря свойствам качество сохраняет себя в соотношении с иным, противодействует посторонним воздействиям, хотя и не отстраняет иное от себя [13].

В том случае когда виртуальное существование свойства P , излученного бытием A , интуитивно рассматривают где-то в пространстве внутри $\text{не-}A$, свой-

ство есть момент своего внутри иного, т. е. положенность некоторого содержания *A* (или признака *A*) во внутреннюю структуру *не-A*. Под этим углом зрения свойство представляет собой особое внутреннее отношение — своего рода эйдос, образ оригинала *A* внутри отражающего его *не-A*.

Когда же мы обращаем внимание на пребывание свойства на границе между *A* и *не-A*, в промежутке между ними, тогда свойство можно определить как момент своего, проявленный вовне, как в зеркале, через поверхность иного. В этом — функциональном — измерении свойство есть такая сторона связи *A* и *не-A*, которая представляет собой процесс размывания границ между ними: во-первых, обнаруживается стремление *A* посредством свойства войти в *не-A*, изменить это *не-A* и расширить за его счет свою качественную определенность; во-вторых, налицо противодействие *не-A*, его активная реакция на экспансию извне, более сильное увязание *не-A* в *A*, что преображает *A*.

Свойства выражают отличительное и тождественное в вещах. Разъединяющие свойства указывают на уникальность, неповторимость, единичность вещи и противопоставляют эту вещь всякой иной вещи. Общими свойствами вещь, наоборот, едина со всеми или многими другими вещами. Всеобщие (субстанциальные) свойства именуют *атрибутами*, а частные свойства — *акциденциями* либо *модусами*.

4. Вещь есть способ субстратного обособления субстанции; индивидуализированное бытие единого во многом, простого в сложном; это качество в единстве его свойств, связей и отношений [8].

Вещь — единица бытия (*в-есть*), отдельное одно, индивид. Вещность — бытийственность, истечение бытия; вещество — разновидность материи, для которой характерна масса покоя; вещь же — это предмет (или объект), обладающий целостностью, относительной независимостью и устойчивостью существования. Поскольку о всякой вещи мы судим по свойствам, проявляемым ею во взаимоотношениях с другими вещами, то вещь также нередко определяют как все то, что может находиться в отношении или обладать каким-либо свойством [12].

Материалисты обычно понимают вещь как материальное тело, непременно наделяя ее пространственно-временными параметрами; субъективные идеалисты, напротив, дематериализуют вещь, отождествляют ее с идеей (образом) как единицей индивидуального сознания; объективные идеалисты, как правило, выделяют два вида вещей — материальные и духовные.

Из чего состоят вещи? Сводятся ли они к ансамблям своих свойств? Можно ли считать свойство частью вещи? В естественных языках категорию вещи обозначают преимущественно существительными, а в современной логике — предметными константами и предметными переменными; категория свойства в языке чаще всего представлена прилагательными. В любом суждении различены субъект и предикат, причем обычно субъект есть вещь-индивидуатор, а предикат — общее свойство, которое можно приложить ко многим или даже к бесконечно многим индивидуальным вещам. В этом (языковом) аспекте вещь несводима к своим свойствам и свойства не являются строительными частями вещи [9]. Например, дом как целое состоит из крыши, стен, пола

и других вещей-частей, но он не состоит в буквальном смысле из формы, цвета, размеров и иных своих свойств. Вместе с тем в онтологическом освещении вопроса о соотношении категорий вещи и свойства философы разделились на две партии.

Одни полагают, что устойчивым ядром вещи является нечто единое –индивидуализированная субстанция, а вокруг ядра образуется облако из свойств и отношений, благодаря чему вещь, во-первых, сохраняет свою идентичность и более независима, чем ее изменяющиеся со временем свойства, и, во-вторых, дается нам как упрямая реальность – как объективно единое в серии субъективных восприятий человека. Например, по Демокриту, вещь слагается из неизменных атомов, изменение ее свойств вызывается перестановкой атомов. Согласно Аристотелю в вещи есть материя и форма, причем обе стороны вещи – субстрат-носитель и свойства – друг от друга неотделимы и зависимы от вещи как целого. Декарт попытался неявно помыслить субстанцию вещи отдельно от ее свойств [4], и позже многие стали видеть в вещи-индивиде нечто первичное по отношению к ее свойствам. Т. Котарбинский и другие реисты вообще не признают реальности свойств, которые отличались бы от вещи как тела [6].

Другие философы склонны принимать за вещь пучок ее воспринимаемых свойств. Так, Дж. Беркли думал, что вещи сами по себе пассивны; в них нет ничего, кроме того, что воспринимается. У вещей есть только один атрибут, а именно способность внушаться людям и восприниматься в форме ощущений. Немыслимые и воспринимаемые в ощущениях вещи, уверял Беркли, не имеют отличного от их воспринимаемости существования и не могут поэтому существовать ни в какой другой субстанции, кроме тех непротяженных, неделимых субстанций, или духов, которые действуют, мыслят и воспринимают вещи. Признавая, что есть два главных рода вещей – тело и душа, Беркли утверждал, что все вещи извечно познаны Богом, и именовал: а) *идеями* – чувственные вещи; б) действительными вещами – идеи, запечатленные в наших ощущениях Творцом природы; в) воображаемыми вещами – образы действительных вещей [1].

Какова же общая природа вещей? Вот рассуждения о ней некоторых классиков философии.

Спиноза доказывал, что каждая вещь, единичная и конечная, выражает бесконечное и познается не сама по себе, но через бесконечное. Вещь как модус возникает из-за ограничения субстанции, ограничение есть отрицание. Бесконечная субстанция через свои атрибуты протяжения и мышления двояким образом предопределяет существование единичных вещей. Во-первых, все вещи связаны с субстанцией потому, что их взаимодействие детерминируется бесконечным модусом движения и покоя. Весь мир оказывается большой математической системой и может быть до конца познан геометрическим способом. Во-вторых, все вещи в той или иной степени одушевлены и едины с субстанцией через бесконечный модус бесконечного разума [11].

Лейбниц предположил первичной по отношению ко всем наличествующим вещам саму возможность или невозможность их существования. Первую причину вещей он усмотрел в Боге, который, создавая мировую гармонию вещей, объемлет умом все вещи сразу. Не вещи к нам приспособливаются, а мы к ним,

что позволяет нам согласовываться с божественной волей. Когда мы проникаем до самых оснований каких-нибудь вещей, мы находим в них наилучший порядок, который только можно пожелать. Все вещи склонны к изменению: тело — под воздействием движущей силы, а душа — вследствие стремления, которое влечет ее к отчетливым или смутным восприятиям. Но превосходнейшая часть вещей — град Божий, к нему мы ныне приближены очами веры, а в будущем сможем созерцать его прямо.

Г. В. Лейбниц считал, что для познания вещи нужно рассмотреть все ее реквизиты, т. е. все то, что достаточно для отличия одной вещи от другой. Ни одна вещь не существует вне нас в таком виде, в каком она является нашему воображению, и чувства сами по себе не могут дать знания о существовании вещей, находящихся вне нас. Существенную природу вещей надо признавать объектом ума, насколько этот объект содержится в вечных истинах. Существование таких умопостигаемых вещей, как я (дух или душа), по мнению Лейбница, несравненно более достоверно, чем существование вещей чувственных [7].

Д. Юм сомневался в том, что природу вещей можно изучать с помощью прошлого опыта, ибо они беспрестанно меняются. В то же время он считал, что все вещи в мире образуют единое целое, каждая вещь приспособлена к другой и во всем преобладает единый замысел [14]. П. Гольбах отстаивал тезис, согласно которому природа вещей и ее вечные законы не подлежат изменению, в то же время все наблюдаемые нами вещи взаимно притягиваются и отталкиваются, возникают и гибнут, получают друг от друга и сообщают друг другу движение, качества, модификации, в течение известного времени сохраняющие их в определенном виде или же изменяющие форму их существования. Защищая материализм, Гольбах постоянно подчеркивал, что реальность вещей вовсе не зависит от нашей заинтересованности в них, сами же вещи становятся нам известны или вызывают у нас идеи только через посредство наших внешних органов чувств [3].

И. Кант развивает в «Критике чистого разума» учение о вещи-в-себе. До Канта вещь-в-себе рассматривалась Мальбранишем, Лейбницием, Локком, Вольфом, Баумгартеном и другими мыслителями в простом значении вещи, какова она потенциально сама по себе, в отличие от того, какой она нам является в нашем познании. Кант объявляет вещь-в-себе принципиально потусторонней всякому опыту. Он считает возможным теоретически познавать только феномены, т. е. явленность нам вещей в нашем чувственном созерцании, но не сущности вещей. Вещи-в-себе теоретически непознаваемы, хотя их и можно мыслить как основу чувственно ощущаемых предметов. Бога, бессмертие, свободу и иные вещи-в-себе Кант расценивает как безусловные предметы разума, выходящие за рамки опыта [5].

Гегель много внимания уделил категории вещи, под которой он подразумевает не только обычные предметы или человека, состоящего из души и тела, но также душу, состоящую из душевных сил. Вещь — непосредственность бытия и основание своих свойств. Вещь как вещность, по его мнению, есть абстрактная всеобщая среда, которую можно назвать *вещностью* вообще или *чистой сущностью*. Вещь есть не что иное, как «здесь» и «теперь» в том виде, в каком они

оказались, т. е. как простая совокупность многих («здесь» и «теперь»). Когда вещность берется как одно, она определена как вещь.

Гегель говорит о вещи как истине восприятия и видит в ней: а) безразличную пассивную всеобщность материй; б) одно, исключение противоположных свойств и в) точку единичности, излучающуюся во множественность свойств в среде устойчивого существования. Вещь сохраняет себя в соотношении с иным, обладает способностью вызывать то или другое в ином, переходя в нем во внешнее. Благодаря своим свойствам вещь становится причиной, а быть причиной — значит сохранять себя как действие. Для своего существования вещь-в-себе нуждается во внешних отношениях; вещь — это ничто без взаимоотношения с другими вещами.

Вещь как *эта* вещь хотя и есть полная определенность, говорит Гегель, но это есть определенность в стихии несущественности. Для вещи характерно внешнее сочетание в ней пористых материй и их количественных границ; она состоит из самостоятельных материй, безразличных к их соотношению в вещи; эти материи выходят за пределы этой вещи, продолжаются в других вещах, и их принадлежность этой вещи не есть для них предел. Одна материя существует в промежутках другой. Выходит, что проникающее есть в одной и той же точке проникаемое, что противоречиво: вещь всегда, по словам Гегеля, надломлена внутри себя, внутренне противоречива и представляет собой разрешенное противоречие [2].

Таковы основные классические представления о природе вещи. Категория вещи широко применялась в философии вплоть до XIX в., сегодня ее частично вытесняют категории объекта и предмета.

-
1. Беркли Дж. Сочинения. М., 2000.
 2. Гегель Г. В. Ф. Наука логики. СПб., 1997.
 3. Гольбах П. А. Система природы // Гольбах П. А. Избр. произв. : в 2 т. М., 1963. Т. 1.
 4. Декарт Р. Сочинения : в 2 т. М., 1989.
 5. Кант И. Критика чистого разума. СПб., 1993.
 6. Котарбинский Т. Избранные произведения. М., 1963.
 7. Лейбниц Г. В. Метафизика. «Монадология» // Лейбниц Г. В. Соч. : в 4 т. М., 1982. Т. 1.
 8. Пивоваров Д. В. Основные категории онтологии. Екатеринбург, 2006.
 9. Райбекас А. Я. Вещь, свойство, отношение. Красноярск, 2000.
 10. Сагатовский В. Н. Основы систематизации всеобщих категорий. Томск, 1973.
 11. Спиноза Б. Этика. СПб., 1993.
 12. Уёмов А. И. Вещи, свойства и отношения. М., 1963.
 13. Шептулин А. П. Система категорий диалектики. М., 1967.
 14. Юм Д. Трактат о человеческой природе // Юм Д. Соч. : в 2 т. М., 1966. Т. 1.

Рукопись поступила в редакцию 15 октября 2012 г.

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ

УДК 316.772.4 + 316.454.5 + 332.024

И. В. Красавин

ТИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И АЛГОРИТМЫ ЭВОЛЮЦИИ СООБЩЕСТВА

Статья посвящена социально-философскому анализу исторической эволюции социальной коммуникации. Описана динамика процессов политического и экономического конструирования, посредством которых выстраивается взаимодействие людей. Типы организаций сообществ описываются в качестве форм управления временем. Показываются алгоритмы эволюции типов организации сообществ в ходе исторического процесса. Предлагается интерпретация институциональной организации сообществ как самоорганизующихся систем, в реальном историческом времени активирующих и подавляющих свои коммуникативные свойства. Показано, что любые типы социальных отношений фундаментально едины между собой в качестве коммуникации и различаются лишь композицией отношений. Понятиям власти, капитала даются новые определения как средств социальной организации.

Ключевые слова: сообщество, организация, эволюция, коммуникация, исторический процесс, институты, отношения, участник, капитал, власть.

Социальная эволюция сложна и труднообъяснима. В ее толковании исследователям помогают несколько приемов мышления, которые используются, как правило, не для того, чтобы понять наш мир, но для того, чтобы понять себя в этом мире. Обычно люди верят в то, что у эволюции и исторического процесса есть некая предзаданная цель, к реализации которой они стремятся. Когда цель будет достигнута, история кончится. Естественно, воплощением такой цели люди видят себя, причем не абстрактно, а со всеми культурными содержаниями и институциональной организацией. Невозможность ее достижения вынуждает заниматься повседневной эсхатологией. Способы социального взаимодействия предполагают один и тот же набор отношений для каждого из человеческих сообществ, однако комбинация этих отношений различается в зависимости от

условий коммуникации, что и определяет организацию институтов и скорость течения процессов. С точки зрения мирового сообщества как популяции homo sapiens, совершенно безразлично, какой народ, государство или культура выживают и погибают и какое содержание люди вкладывают в ход этих событий. По причине отсутствия у эволюции предзаданной цели ей не приходится проходить какие-то обязательные или исключительные стадии, которые приписываются то организации труда, то развитию техники, то степени свободы.

Условием конкретной социальной организации является ее размещение в пространстве. Так случилось, что у нашей планеты есть определенные размеры и форма. Люди, как биологические существа, непосредственно зависят от местности, в которой находятся. Как существа социальные, свои сообщества и структуру отношений они выстраивают, реагируя на географическое расположение и окружение. Размещение континентов и климатических поясов повлияло на распространение и селекцию растений и животных, предопределив тем самым последующие практики хозяйствования [5, 223]. Однако, несмотря на различия условий проживания, способы социальной организации обнаруживают удивительную повторяемость, различаясь лишь композицией конкретных отношений.

Институциональное управление сообществом может быть двояким: управление настоящим и управление будущим. Управление настоящим затрагивает текущий момент, как у членов социальных сетей, друзей, коллег, соседей и т. д. Ситуация в группе поддерживает формальное равенство участников. Иной является стратегия управления будущим, которая для поддержания существования человеческих сообществ требует контроля групповых практик с помощью формальной иерархии. Такой подход отличает партию от толпы, а бюрократию от веча. Действия общества становятся проективными, а социальная структура неравной. Структура управления — следствие многочисленности и плотности групп, регулярное взаимодействие которых нуждается в координации действий и порождает иерархию и неравенство. Чем больше постоянных контактов, тем скорее вырастают формализованные институты. То, в какой последовательности эти контакты непосредственно осуществляются, придает институтам тот или иной вид.

Форма управления сообществом во времени является реакцией на плотность и многочисленность контактов, подтверждение чему можно найти на материале социальной эволюции. Например, в небольших сообществах первобытных собирателей управление группой затрагивало только текущий момент. Формализация управления действиями группы имела другой стороной природные циклы в виде заданной смены условий обитания. Относительно природы сообщество оставалось неподвижным во времени. Индивидуальная сложность коммуникации была, безусловно, высокой, но коллективная — низкой.

В случае иерархизированного общества, наоборот, индивидуальная сложность низкая, а коллективная — высокая, так как она заранее учитывает присутствие иерархии и подчинение ей. Такими стали сообщества земледельцев: неравными, с иерархизированными институциями, чьи действия ориентированы не на следование природным циклам, а на их предупреждение и воспроизведение. Более того, такими же стали некоторые сообщества собирателей, быв-

шие многочисленными, с достаточной плотностью населения и постоянными контактами. Условиями их институциональной трансформации стали частота и постоянство контактов.

Племена первобытных собирателей были дисперсно расселены по земной поверхности и только в исключительных случаях создавали скученные сообщества. Изменение климата, начавшееся в VIII тыс. до н. э., заставило людей от практики управления настоящим обратиться к управлению будущим, вырастить плоды и построить социальную иерархию. Вследствие примитивной организации хозяйственных практик первые хлеборобы еще кочевали, сводя на нет плодородный слой почвы, но обретали в ходе перемещений по климатическим регионам опыт земледелия и взаимодействия с другими сообществами [4, 44–52].

Человечество представляло собой локальные сообщества, соединенные сетью торговых и даровых обменов. Эти цепочки коммуникации были непрямыми, и вещи перебирались от одного племени к другому в зависимости от ситуации. В случае если племена собирателей устанавливали между собой постоянный и целенаправленный обмен (а не только даровое позиционирование), появившийся рынок увеличивал население, сообщества становились иерархическими, порою с довольно сложным функциональным делением [3, 189]. С появлением земледелия иерархия, скученность и целенаправленный обмен стали постоянными факторами социальной организации, а цивилизация стала представлять собой, как и сейчас, плотные скопления тел на ограниченной территории и расходящиеся нити контактов.

В период неолита первые грубые орудия сменяют предметы сложной обработки, что свидетельствует о кумулятивном накоплении знаний и возросшем обмене иерархических сообществ. Факты открытия, добычи и обмена металлов позволяют сейчас судить о протяженности контактов, образовывавших целые металлургические провинции со схожими региональными приемами обработки [9, 10]. В свою очередь, когда цепочки контактов прерывались, сообщества нередко регрессировали либо меняли территорию проживания. Недаром шумеры и арии стали нам известны уже с полным набором оседлого хозяйствования, иерархической структурой и длительной миграцией за плечами.

Если первым пространственным фактором организации являлась экологическая ниша существования сообществ и вариативность природных видов, то вторым стало расположение сообществ относительно друг друга. Первые сообщества нередко гибли вследствие перепадов климата, но другие создавали все заново. Чем больше контактов сообщество могло устанавливать со своими соседями, тем быстрее шел процесс его дифференциации и усложнения институтов. Если сообщества оказывались сопоставимыми по уровню социального развития, как на Ближнем Востоке, в Средиземноморье или Индии, их эволюция приводила к взаимному обогащению и разнообразию социальных режимов и культур. Окруженное племенами с более простой структурой организации, иерархичное сообщество их ассимилировало, как в Китае. Практики землепользования, обработки ресурсов и торгового обмена вели к созданию социальной ниши для увеличения населения. В свою очередь, высокая плотность контактов вела к увеличению скорости социального времени, поэтому третьим

пространственным фактором любой социальной организации являются величина и плотность населения. Находясь в средоточии контактов, сообщество изменялось и развивалось быстрее; будучи их лишенными — воспроизводило свою социальную структуру, не деформированную ни внешним воздействием, ни внутренней конкуренцией.

Регулярность контактов между иерархическими сообществами и повышение плотности населения привели к тому, что процесс цивилизации принял самоподдерживающий характер. Торговый обмен и захват рабов создавали контакты первобытных собирателей с иерархическими цивилизациями. Первобытные племена включались в процесс цивилизации, и уже внутри этих коллективов появлялись иерархия и статусное возвышение групп, причастных к управлению обществом. При наличии активов, пользующихся спросом у соседей, сообщества выстраивали отношения, направленные на долговременные контакты, наращивая свои преимущества (контроль выгодных территорий, торговых путей и легитимных договоренностей) и ограничивая возможности остальных участников.

Недостаток активов или возможностей транзита заставлял вчерашних собирателей отправляться в набеги, как только их верхушка завладевала максимумом общего имущества. Сами внешние контакты были необходимы для того, чтобы поддерживать стабильность внутренней неравной структуры сообществ. Потребность элит в дополнительных активах для их последующего распределения и поддержания жизнеспособности сообществ усложнила социальную структуру и вызвала появление государства как организации распределенной и централизованной власти. Одновременно с властью приходит капитал, агрегируя и направляя активы и насилие в сторону управляемых отношений между сообществами.

Власть и капитал здесь не «вещи-в-себе», которые существуют и реализуются для подавления или накопления *per se*, — они являются средствами организации сообщества. Достижение власти как согласия к подчинению осуществляется посредством контроля политico-экономических процессов и институций. В конкурентной среде этот контроль постоянно оспаривается, но, что характерно, никто из участников не хочет конкурировать бесконечно.

Первый аспект власти — контроль отношений и действий индивидов, групп, организаций, сообществ. В данном случае коммуникативные возможности остальных участников подавляются или произвольно нарушаются в интересах обладателей власти, чьи позиции успешно совмещают частные притязания и общие возможности. Эта ситуация характеризуется низкой динамикой отношений и слабой вовлеченностью участников. Несмотря на то что односторонний контроль очевидно несправедлив, такая конфигурация отношений обычно не изменяется до тех пор, пока не вмешиваются внешние (для институциональной системы) события. Внешнее вмешательство приводит к фрагментации отношений и (временному) исчезновению зависимости участников. Результатом является патовая ситуация с последующей трансформацией отношений.

Другая сторона власти — гегемония, или согласие к подчинению и поддержка, предполагает учет интересов участников сообразно их коммуникативным

возможностям. Такая возможность всегда временна, поскольку ее перманентная динамика работает против нее самой. Здесь участники в состоянии реализовать себя и своим присутствием обеспечить социальный компромисс.

Капитал как средство социальной организации является плодом неэквивалентного обмена. Он создается из разницы условий нескольких обменов, разнесенных во времени и пространстве. Эти условия не эквивалентны друг другу, и одна и та же вещь в разных ситуациях или местах имеет разную степень ликвидности. Чтобы оставаться подобием универсальной меры обмена, капитал должен создавать подобие универсальной ситуации, в которой он всегда был бы ликвидным. Эта универсальная ситуация — неэквивалентный обмен, результатом которого всегда является умножение оперируемой ценности. Таким образом, капитал есть активы, контакты и логистика, посредством которых ситуативные ценности превращаются в эквивалент, ликвидный во времени и пространстве.

Капитал наиболее производителен тогда, когда он наиболее ликвиден, в связи с чем владельцы и распорядители капитала стремятся к универсальности своих отношений, тогда как все остальные виды деятельности и сообщества они предпочли бы видеть сепарированными. Чем больше капитал, тем выше его возможности по организации обменов, тем шире его логистика и ценнее активы. Внизу социальной пирамиды царит жесточайшая конкуренция, тогда как вершина гораздо более спокойна. Власть нельзя отдать и вернуть назад с прращением, а капитал можно.

Итог: власть может быть распределена и всегда требует взаимного участия, но капитал всегда концентрирован и держится не участием, а подчинением. Капитал строго иерархичен и всегда ставит участников в зависимость от крупнейшего игрока [12, 62–63]. Сам по себе капитал носит не самостоятельный характер, и его ценность зависит от того, в какой последовательности ситуаций он окажется. Эти ситуации, естественно, формирует структура отношений, посредством которых сообщество коммуницирует как внутри себя, так и с другими сообществами.

Капитал, по сравнению с властью, вторичен, но обладает рядом примечательных свойств. Власть присутствует уже в силу существования сообщества и участников отношений, связанных совместной жизнью. Капитал, чтобы стать самим собой, должен свои отношения организовать. Власть привязана к коллективным интересам сообщества. Капитал образуется как в частных, так и в общественных интересах. Власть обладает политически признаваемым суверенитетом. Капитал всегда зависит от решений власти. Власть не всегда следовала рациональным стратегиям капитала, и причиной тому была зависимость власти от состояния сообщества, поддержание существования которого в привычных (и желательно статичных) для людей условиях является задачей власти.

Капитал и власть — это стратегии и средства организации социальных отношений, которые могут разворачиваться в самых различных институциональных устройствах и режимах. Одна из причин, по которой на протяжении большей части истории капиталистам отказывалось во власти, заключалась

в том, что действия частных капиталистов не предусматривали ответственности перед коллективом. Приход капитала во власть и соответствующая реорганизация социальных отношений означали, что сообществу придется побывать всем коллективом в частной собственности у отдельных лиц [6, 184–185]. Другая причина коренилась в первичности власти: прия к ней, капиталисты гораздо меньше нуждались в накоплении капитала, так как наиболее важные активы и широкие возможности, даруемые властью, им уже принадлежали.

Сочетания капитала и власти в жизни сообществ были различными, что демонстрируют различия их институционального устройства. Следующим условием социальной организации является структура отношений, связывающая сообщество как внутри, так и снаружи посредством признаваемых институтов. Это условие является следствием первых вышеперечисленных условий социальной организации и определяет формы коммуникации сообществ. Иерархичные сообщества ввели целенаправленный обмен на дальние расстояния в качестве постоянной практики, и потому можно уверенно утверждать наличие взаимосвязанной, но децентрализованной системы отношений [11], благодаря которой сообщества могли влиять друг на друга не только путем военных вторжений, но и экономической экспансией, а также посредством изменения собственной социальной структуры.

То, что торговля велась в основном дорогими вещами (роскошью или редкими металлами), никак не снижает ее значения. Средства обмена обладали высокой стоимостью, а их создание требовало разделения труда, так что сам факт обмена концентрировал профессиональные контакты и вызывал социальную дифференциацию сообществ. Другое дело, что бедность большинства населения и отсутствие массового спроса превращали капитал в монополизированную ренту высшей страты, которая ее использовала в политических целях демонстрации статуса и содержания военных сил, поддерживавших власть. Впрочем, как только возникла подходящая возможность, обладатели сокровищ демонстрировали вполне современную хозяйственную хватку и политическую дальновидность.

Социальная эволюция, как следствие, была неравномерной, но это неравенство было обусловлено факторами, никак не относящимися к культуре, особенностям духа, разума или самосознания народов. Возможность многочисленных контактов и необходимость производства вели к более быстрой эволюции, тогда как отсутствие контактов (как у народов Северной Сибири) или возможность жить с природной рентой (в Юго-Восточной Азии, Тропической Африке) консервировали отношения. Показательно сравнение афро-евразийских сообществ, поддерживавших постоянные контакты друг с другом, и американских, каждая цивилизация которых начинала все заново. Первая американская цивилизация норте-чило в Перу появилась одновременно с египетской в III тыс. до н. э.; следующая, ольмеки в Мексике, — уже только во II тыс. до н. э. После гибели норте-чило в XVIII в. до н. э. следующая культура в Перу появится только в I в. н. э. Что характерно, социальная организация американских сообществ очень напоминала древний мир Евразии и Северной Африки, также закончивших эпохой обширных империй, но на тысячу лет позже.

Возникновение государства, помимо всего прочего, являлось реакцией на природную недостаточность территории проживания сообщества. В областях, пригодных к проживанию, совмещающих множество постоянных контактов, но недостаточных для обеспечения сообществ, государства возникли гораздо раньше, нежели в других местах. Знаменитое плодородие Нила и Междуречья стало таковым только с организацией сложной системы управления и производства. Там, где природа была щедра и доступна, как в Южной Индии, Индокитае, Юго-Восточной Азии, иерархизированная, но догосударственная уравнительная структура сообществ сохранялась на несколько тысячелетий дольше, чем на Ближнем Востоке и в Средиземноморье. Избыточность ресурсов делала государство, сложные формы центрации и распределения ненужными даже с учетом роста населения.

С усложнением практик коммуникации появляются высшие и низшие статусы социальных ролей, а торговый обмен ускорил превращение общего имущества в частное. Статусная и экономическая дифференциация изменила политическое позиционирование групп внутри сообществ, значительно усилив позиции управляющих институтами управления и богатейших собственников. Общественный договор заключается в том, что статус индивида зависит от готовности сообщества принимать его в этой роли. Люди того времени уже отлично понимали выгоды и ограничения каждой из социальных позиций в институциональной конструкции сообщества. Верхушка до тех пор занимала свое положение, пока ее заботами соблюдались интересы остальной части коллектива. Лишение активов вследствие плохого управления или эгоистичного присвоения заставляло сообщество менять управленцев, изгоняя или убивая последних. Согласие населения делиться имуществом и доходами с верхушкой основывалось на том, что она будет поддерживать привычное социальное существование с низкой степенью социальной динамики и редкими контактами. В связи с этим обыкновенным состоянием социальной организации был институционально поддерживаемый гомеостаз, получивший в литературе название «традиционное общество».

Устройство традиционного общества предполагало исходно коллективную собственность основных активов, добываемых обменом и производством. Дальнейшая его трансформация в связи с увеличением контактов и усложнением практик вела к тому, что обмениваемые товары становились частными, а основной актив (земля) уходил в собственность аристократии. Поскольку большинство сообществ были аграрными и внутри сельских общин порядок был направлен на принудительное равенство, договор между населением и любыми властными организациями заключался в коллективном распоряжении основными активами в обмен на ренту или труд. Небольшие размеры сообществ, относительная редкость контактов, коллективная собственность на основные активы делали постоянный административный контроль или поддержание рынка на обширных территориях невозможными. Поэтому первой и с тех пор основной формой политico-экономического управления сообществами стала монополия на насилие и причитающаяся с нее рента в пользу верхушки иерархии [8, 42].

С увеличением количества людей, контактов и создаваемых продуктов проникновение институциональной власти в жизнь сообществ сопровождалось одновременным созданием административного аппарата управления, в то время как рынок и дифференциация переводили все большую долю имущества в частную собственность аристократии. Нестабильность рынка и нужда в политическом позиционировании заставляли крупнейших частных собственников присваивать чрезмерный объем общественных средств и сил. В самой примитивной форме управление было рассредоточенным среди множества локальных полузависимых сообществ. Они дробились и концентрировались, и вариации распределения активов непосредственно сказывались на дееспособности государства. Дальнейшая централизация властных институций ради поддержания предсказуемых и приемлемых отношений отдавала основную долю активов в распоряжение государственной бюрократии. Так и жизнь сообществ была стабильней, и частные лица из верхушки ограничивались во власти. Устойчивость отношений сообщества позволяла людям адаптироваться к событиям, даже если пресс власти выдавливала из сообщества максимальный объем доходов.

Традиционное общество, первый модус управления будущим, осваивало коммуникацию, изменяя мир вокруг себя и себя в этом мире, но оно не стремилось к изменениям. Залогом поддержки сообщества всегда был статичный характер его институциональных отношений. Типичный ответ сообщества на нестабильность социальной структуры заключался в родовом закреплении статуса индивида или группы, что проявилось если не во всех, то в абсолютном большинстве сообществ, каждое из которых таким образом защищало социальный режим и людей от рискованных перемен. Родовой статус не что иное, как форма монополии, закрепленная между определенными группами людей и социальными секторами.

Другой общепринятый способ стабилизации социальной структуры заключался в старательном отделении власти от капитала, причем под властью здесь нужно понимать не только государство или элиту, но и власть локальных сообществ, средней и нижней страт, которые существуют посредством взаимного признания отношений собственности, найма, долга и подчинения. То есть целью традиционного общества являлось поддержание статичного институционального порядка, в котором спонтанное расширение власти отдельных индивидов, групп, организаций всегда и последовательно ограничивается в пользу остального сообщества. Проблемой для управляющих институций была нестабильность коммуникации. Сообщества, элиты до тех пор участвовали в создании и поддержании общей юрисдикции, пока на ее территории сохранялись необходимые экономические отношения и социальная организация. Потеря государством или крупнейшими собственниками возможностей для поддержания коммуникации немедленно порождала раздробленность власти и обращала сообщества в сепаратистов по вере или крови.

Расширение коммуникации сообществ породило разделение труда — сначала в рамках коллективной организации, а затем и частной, внутри сообществ и между ними. Появление у аристократов частных активов вызвало к жизни наемный труд и сферу услуг. Места концентрации контактов с необходимостью

наполнялись трудом и обменом, по происхождению и по найму, и если основного капитала в городах могло не хватать, то оборотный капитал возмещал нехватку с лихвой, и урбанизация сопровождалась расширением сетей коммуникации. Отличие города от села в том и заключается, что доля лиц, живущих с разделения местного и чужого труда, превосходит в нем тех, кто живет замкнутыми отношениями и натуральным хозяйством. Город выигрывал перед деревней совокупным количеством отношений, в которых находился, используя их для перемещения, центрации и распределения активов и средств обмена. Агрегирование контактов и разнообразие связей повышали не только количество продукции и услуг, но также их стоимость. В итоге тип отношений «центр–периферия» между сообществами и территориями оказался так же стар, как сама человеческая цивилизация. Внутри города омассовление частной жизни, труда и активов шло быстрее и также сопровождалось дифференциацией и концентрацией.

Там, где коммуникация множилась, статусы отчуждались от своих носителей, производились, обменивались и отнимались. Капиталистическое общество, второй модус управления будущим, вынуждено подчинить социальную иерархию и ценность труда накоплению меновых стоимостей, что целенаправленно деформирует уравнительную структуру через изменение социальных позиций участников. Социальная структура таких сообществ трансформировалась, и появлялась возможность отчуждения привычных статусов, что, впрочем, мало кого радовало. Сообщество становилось капиталистическим, если зависимость от динамики внешних и внутренних связей оставалась критически высокой и члены сообщества получали возможность соединять свои частные и групповые интересы, активы и капиталы как внутри своего сообщества, так и вовне. Поскольку жизнь территориальных сообществ далеко не всегда удовлетворяет названным условиям, капитализм как принцип организации принимали в основном профессиональные сообщества торговцев и крупных производителей, чьи объединения и сети были экстерриториальными и мало влияли на государственные институты. Территориальные капиталистические сообщества возникли вместе с первыми торговыми государствами и все же, зачастую демонстрируя чудеса организации социальных структур, рано или поздно, пройдя ряд трансформаций, неизменно регрессировали к более простым формам.

Развитие традиционного сообщества в более сложные институциональные формы — аристократию, государственную бюрократию или обретение им другой, капиталистической организации происходило за счет размыкания предшествовавшей системы отношений и создания новых институциональных форм. Степень интенсивности контактов в ходе этого процесса менялась: из замкнутого состояния коммуникация сообщества переходила в разомкнутое. Замкнутое состояние сообщества — это «нормальное», обычное и привычное для большинства людей и организаций состояние коммуникации. Относительная редкость или дисперсность контактов, ничтожность или неликвидность активов — вот главные условия замкнутой структуры организации, которая является самой распространенной и среди современных сообществ. Замкнутое и разомкнутое состояния общества не являются противоположными, качественно отличными

формами организации. Это лишь разные степени интенсивности коммуникации, но различия в интенсивности ведут к различиям в результатах. Отличить присутствие разомкнутого типа организации общества от замкнутого в истории достаточно просто: именно при нем мы можем наблюдать взрывной рост коммуникации, обмена, производства, урбанизации и утонченной культуры.

Разомкнутое сообщество целенаправленно изменяет мир вокруг себя и себя в этом мире, реагируя на обстоятельства коммуникации. Прежде всего размыкание касается свободного занятия экономической деятельностью и возможности включения в управление сообществом. Достижение разомкнутого состояния было возможно в том случае, если под воздействием внешних факторов внутри элиты сообщества устанавливался политический пат и ни одна из сторон не могла надолго подавить другую. Невозможность односторонней монополизации социальных связей, капитала и власти заставляла сообщества включать друг друга в сферу взаимодействия и создавать взаимоприемлемые институциональные структуры управления. Эта взаимоприемлемость является многосторонней секторальной монополизацией политико-экономических отношений разными социальными группами. Монополия фиксирует социальную динамику, и потому не только элиты стремятся поддерживать монополию своих позиций, но и остальные группы заинтересованы в монополизации тех отношений, в которых они находятся, связанные с различными уровнями социальной иерархии в политике и экономике. Рабочие и служащие хотят большей зарплаты, мелкие буржуа — защиты от конкуренции с гигантами бизнеса; средним и нижним социальным стратам нужен периодический доступ к власти для корректировки институциональной структуры в свою пользу. Эти группы разных уровней иерархии отнюдь не самотождественны и всегда состоят из конкурирующих и союзнических группировок, создаваемых движением конъюнктуры. Поэтому они, даже получив социальную монополию, остаются зависимыми от институционального контроля элит.

Появление и рост стоимостей, многочисленных потребностей и услуг рождали насыщенную и диверсифицированную коммуникацию возрастающей отдачи [7, 82–84, 104]. Разомкнутое сообщество обеспечивает возможности для экономической и политической реализации себя индивидами и группами на всех уровнях социальной иерархии сообразно с характером общественного договора. Однако такое состояние коммуникации исторически всегда являлось временным. Любая трансформация происходит, когда институциональная структура отношений приходит к пределам расширения и роста, — образованная новая система отношений, разомкнутая в том числе, также находит свой предел.

Неравномерная дифференциация естественным образом создает локальные концентрации капитала и власти, которые, увеличиваясь, снижают риск неуправляемой динамики, но, став чрезмерными, подавляют эту динамику в принципе. Процесс концентрации дифференцированных активов и связующих отношений в неравных социальных условиях приводит к разрушению монополий зависимых групп и ломает прежде фиксированный институциональный порядок. В случае невозможности для сообщества изменить институциональную структуру оно перестает поддерживать высокую динамику и контактность уча-

стников, — сообщество переходит в замкнутое состояние. В разомкнутом состоянии рост и расширение затрагивают все сообщество, тогда как в замкнутом рост одних групп происходит за счет разорения других.

Несмотря на различия в институциональной политике, традиционный и капиталистический типы организации сообщества в этой интриге роста и падения обладают сходством, вызванным одновременным ходом процессов дифференциации и концентрации. Как в урбанизированных сообществах, богатых частным и государственным капиталом, так и в традиционных, но затронутых воздействием рынка, экономическая дифференциация и независимость от решений власти позволяли верхушке расширять свои активы за счет остальных, даже не прилагая для этого специальных усилий, после чего государство лишилось налогооблагаемой базы и становилось бессильным. Сохранение гегемонии государственной власти требовало снижения социальных издержек, таких как приватизация и неравномерное распределение активов.

Поддержание средней и нижней страт общества, борьба с односторонними экономическими и властными монополиями, чрезмерной концентрацией активов приводили к расширению объемов рынка и обращающихся на нем стоимостей¹. Это включало сообщества в обмен, производство и культурное общение, расширяло урбанизацию и взаимодействие территорий. Однако итогом такого роста было увеличение влияния крупных и концентрированных активов и капиталов; рано или поздно они поглощали свободные сообщества со всем их имуществом. Если военная, экономическая экспансия или колонизация, как пути решения проблемы, оказывались невозможны, происходило разрушение институциональной структуры сообщества, а государство переживало период полураспада и теряло власть, которая переходила к отдельным представителям верхней социальной страты. В случае полного исчезновения государственных институций сообщество становилось уязвимым для вторжений извне, но при их сохранении верхушка оставалась в относительной политической и экономической неприкосновенности в пределах контролируемой юрисдикции.

¹ К. Поланы приложил немало усилий, чтобы развенчать представления о рыночной природе древних цивилизаций, исходя из предположения, что эти сообщества пользовались исключительно распределением, и выводя отсюда два разных путя институциализации отношений: свободный рынок Запада и распределяющее государство Востока. Нюанс в том, что одновременно он пытался доказать, что и свободного рынка как такового нет, это теоретическая абстракция, и организация рынка возможна только в ограничивающих социально-политических институциональных условиях. Продолжение этой мысли должно также вести и к выводу о невозможности полностью тоталитарного общества, поскольку отношения людей так или иначе включают торги и обмен. Следовательно, разделение сообществ на свободнорыночные и распределительные невозможно, можно лишь говорить о большей или меньшей роли обмена и распределения, усилив или ослабляя роли буржуазии и бюрократии, которые одновременно используют и обмен, и распределение. Однако замечания Поланы о различных ограничениях, налагаемых в древности на рынок, вполне справедливы, поскольку централизация доходов, активов и власти сдерживала дифференциацию и вместе с социальной стабильностью сохраняла привилегии правящих групп. Что касается рынка, то противопоставлять его социальной сфере нелепо, так как конкуренция выполняет социальную функцию обмена путем снижения цен. Разрушительным рынок оказывается тогда, когда одни участники становятся совершенно неконкурентоспособными, что достигается их социальным исключением из системы взаимосвязей и, наоборот, монополизацией отношений другими участниками.

Различия в институциональной организации сообществ были связаны с вариациями сочетаний капитала и власти, но сами эти сочетания не являлись «вещью-в-себе», какими-то особыми практиками, несшими какой-то особый социальный разум. Принципиальная способность сообществ к созданию различных политических и экономических институтов была (и есть) у всех. Разные институциональные устройства формировались сочетанием объективных условий коммуникации, в рамках которых создавались отношения власти и капитала. Как таковая, способность к развитию определялась не атрибутивными различиями отдельных занятий, практик или норм, а самим фактом коммуникации и ее интенсивностью, вызывавшими рост торгового капитала, военного насилия или административного контроля. Роль и влияние землевладельцев, бюрократов и капиталистов зависели от тех возможностей, обязательств и рисков, которые предоставляли внутренние и внешние отношения сообществ и которые нельзя было игнорировать. В равной мере в общей экономике и политике они создавали разомкнутые и замкнутые сообщества и регрессировали к примитивным формам в плачевых обстоятельствах.

Эту деформацию вызывали процессы дифференциации и концентрации основных активов и власти, тогда как конкретные люди являлись лишь исполнителями объективных процессов структуризации отношений. Под влиянием внешних воздействий — конъюнктуры, политики соседей — внутренняя коммуникация социальных групп меняется: одни усиливаются, другие ослабляются, происходят ротация элит и закрепление возникшей ситуации в новом институциональном соглашении. Аристократы превращались в буржуа, те — в бюрократов, которые становились аристократами, и наоборот. Реагируя на текущие процессы в характерных для своего сообщества объективных условиях, верхушка соответствующим образом распоряжалась, организовывала, направляла получаемые власть и активы, превращая их в монопольную ренту или создавая новые формы организации и включения участников. Если отвлечься от деталей атрибутов, присущих конкретным занятиям, инверсия отношений сообществ и групп покажет циклическую динамику. Все типы элит сравнительно успешно управляли сообществами и направляли институциональную структуру на выполнение необходимых действий, если коммуникативная среда подталкивала их к этому. И также успешно, независимо от рода занятий и убеждений, они присваивали себе, формально и по факту, максимум общественных активов и деформировали институциональную структуру сообщества.

Условием смены путей развития сообществ являлось достижение институциональных пределов роста, т. е. невозможности бесконечного расширения территориального влияния экономических и политических организаций, увеличения численности и доходов населения, накопления и концентрации активов в конечной институциональной структуре.

Несмотря на различия в последовательности локальных процессов, можно выделить общий инвариант развития событий, воздействовавших на традиционные и капиталистические сообщества. В слабо урбанизированных сообществах кратковременное расширение коммуникации и общий экономический рост приводили к чрезмерной концентрации земельных активов в руках местной и обще-

имперской верхушки, властной и торговой аристократии. Следствием было замыкание сообществ, выход территорий из общего рынка и политический сепаратизм, которые нередко приводили к развалу государства. Зависимость власти от лояльности верхней страты общества не позволяла осуществить перераспределение активов, а территориальное расширение сталкивалось с трудностями устойчивого управления чрезмерно протяженных пространств.

В урбанизированных сообществах с высокой социальной динамикой, где от рынка зависит большая часть населения, эта же ситуация дифференцированной концентрации представлена тенденцией прибыли к понижению и стремлением деловых организаций к монополии: нарастающая конкуренция приносит выравнивание прибылей и заканчивается монополией (олигополией). Происходя на множестве рынков, этот процесс требовал институциональных изменений, поскольку доходы концентрировались среди немногих участников, тогда как остальным оставались расходы. Разрушив прежний порядок, односторонняя монополия резко снижала и уровень социальной динамики, и степень насыщенности отношений коммуникации, сохраняя исключительное положение элит за счет всего остального общества.

Если институциональная структура не менялась, события принимали совсем дурной оборот: архаизация отношений сопровождалась мучительными социальными бедствиями — безработицей, обнищанием, голодом и столкновениями вплоть до гражданских войн. Большая плотность связей, по сравнению с традиционными обществами, позволяла сохранить территориальную целостность государства, но уровень развития социальной системы существенно снижался. Городские сообщества империй Древности и Средневековья становились аграрными, разделение труда и капитала «среднего класса» сменялось латифундиями немногочисленной верхушки.

В Новое время и в современности, в связи с ростом взаимосвязей сообществ, социальные издержки достижения институциональных пределов снижались, но политическая и экономическая экспансия каждого из гегемонов в таких случаях прекращалась, а влияние их сообществ сворачивалось [2, 99–103]. Одновременно исчезал выстроенный ими институциональный порядок: периферия необратимо изменялась, а бывший лидер был уже не в состоянии ее контролировать.

Историческое развитие мирового и региональных рынков способствовало появлению сообществ, где слабая государственная власть встретилась с сильным капиталом. Следствием этого было подчинение государственной власти задачам, стоявшим перед капиталом, что привело к ускорению экономического роста и появлению все более сложных форм социальной организации. Целенаправленное поддержание зависимости власти от капитала, выросшее в разветвленные институциональные формы, позволило в наше время не переводить капитал в случае его перенакопления в земельные и другие материальные активы, а превратить в свободные «потоки» финансовой коммуникации, независимой от решений локальной государственной власти. В такие годы банкиры начинают править миром, в особенности те, кто способен влиять на принятие властных решений.

Однако чрезмерная концентрация этих потоков снижает производительность социальной системы. Во-первых, такой огромный капитал не в состоянии найти

себе применение в слишком маленьких или небезопасных институциональных объединениях сообществ. Капитал накапливается быстрее, чем социальная система успевает создать ему приложения. Одна часть общества страдает от нехватки мест для инвестиций, другая от бедности. Во-вторых, те объединения, которые создают и получают достаточно капитала, расширяют степень своего влияния и контроля над экономикой и политикой. Их зависимость от центров скопления капитала выражается в крайней неравномерности социальной структуры, которая при колебаниях конъюнктуры деформируется и производит трансформацию сообщества. Наиболее независимые и успешные сообщества втягиваются в борьбу за контроль системы коммуникации и создание новых институциональных объединений. Попытки адаптации всех участников к изменениям трансформируют старую институциональную систему. Капитал настолько расширяется, а возможности институционального контроля со стороны гегемона становятся настолько ограниченными или неопределенными, что затраты в виде войн, долгов, непроизводительных трат становятся совершенно непропорциональными получаемым доходам и приводят к крушению гегемонической структуры [1, 48–49].

-
1. *Арриги Дж.* Долгий двадцатый век: деньги, власть и истоки нашего времени. М., 2008.
 2. *Валлерстайн И.* Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб., 2001.
 3. *Гринин Л. Е., Коротаев А. В.* Социальная макроэволюция: генезис и трансформация Мир-Системы. М., 2008.
 4. *Гумилев Л. Н.* Изменения климата и миграции кочевников // Природа. 1972. № 4.
 5. *Даймонд Дж.* Ружья, микробы и сталь. М., 2009.
 6. *Поланьи К.* Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени. СПб., 2002.
 7. *Райнерт Э. С.* Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными. М., 2011.
 8. *Тилли Ч.* Принуждение, капитал и европейские государства, 990–1992 гг. М., 2009.
 9. *Черных Е. Н.* ПротоиндоЕвропейцы в системе Циркумпонтийской провинции // Античная балканистика. М., 1987.
 10. *Черных Е. Н., Авилова Л. И., Орловская Л. Б.* Металлургические провинции и радиоуглеродная хронология. М., 2000.
 11. *Frank A. G., Gills B. K.* The World System: Five Hundred Years or Five Thousand? Routledge, 1996.
 12. *Marglin S.* What Do Bosses Do // The Review of Radical Political Economics. 1974. Vol. 5, № 2.

Рукопись поступила в редакцию 3 декабря 2012 г.

УДК 321 + 327 + 323.1 + 316.75

А. В. Логинов,
Д. В. Руденкин,
А. В. Данилова

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Авторы статьи осуществляют попытку описать динамику идеологических систем, а также классифицировать идеологические проекты современности. Для построения типологий последовательно используются критерии, предложенные М. Селиджером и Д. Шварцмантелем. Полученные модели идеологического поля сопоставляются с результатами контент-анализа предвыборных программ политических партий Российской Федерации (по состоянию на 2011 г.). В качестве вывода формулируется тезис о том, что теория идеологии нуждается в обновлении концептуального аппарата и локализации, поскольку объект ее анализа все труднее обнаружить в привычном для исследователя месте.

Ключевые слова: идеология, система, трансформация, политические партии, ценность, публичное пространство, политическая теория.

7 ноября 2012 г. в ИСПН УрФУ при участии уполномоченного по правам человека в Свердловской области Т. Г. Мерзляковой прошел круглый стол, темой которого стала новая национальная идея. В задачи круглого стола входило обсуждение возможных вариантов наполнения ценностного ядра новой российской идеологии. Основные допущения, разделяемые большинством ученых, выступивших на круглом столе, заключались в том, что 1) никакой идеологии в современной России сейчас нет; 2) любая идеология должна быть связана с государственными структурами и быть тотальной (в смысле — претендовать на целостность). Только один из выступивших участников отметил, что на самом деле мы живем в насквозь идеологичном обществе: в России победу одержала идеология неолиберализма в версии Ф. Хайека, и задача думающих людей состоит в том, чтобы признать ее ущербность и поменять идеологические ориентиры — с помощью механизма государственной пропаганды.

Создается впечатление, что идеология (в который раз) возвращается в центр общественных дискуссий, но что мы должны понимать под идеологией сейчас? Следует ли нам воспроизводить аргументы сторонников деидеологизации и сторонников реидеологизации общественного сознания (аргументы Р. Ароня, «раннего» Д. Белла и С. Липсета, с одной стороны, и аргументы Я. Бариона, «позднего» Д. Белла, О. Лемберга — с другой), прозвучавшие в знаменитом теоретическом споре 60–70-х гг. XX в., или же сам объект спора существенно изменился, возможно, вслед за изменениями в укладе жизни обществ «поздней» модерности? Удастся ли нам «поймать» идеологию в концептуальные сети классических теорий, обнаружить ее на привычном для себя «этаже» социального пространства? Другими словами, каким образом «текущая современность» (З. Бауман) влияет на модель идеологии, сформированную социальными теориями XIX — середины XX в.?

Мы полагаем, что, во-первых, на уровне социальной теории существует пересечение двух разных картин общества, пересечение, которое порождает конфликт требований применительно к идеологическим системам — при допущении, что последние играют значимую роль в процессе социального воспроизведения [3]. Во-вторых, в рамках нашей статьи мы планируем представить результаты эмпирического исследования, согласно которым «случай России» представляет собой удачный пример фальсификации обеих научных картин, о которых мы собираемся говорить ниже. Результаты эмпирической части исследования также могут рассматриваться как стимул к более широкой дискуссии об интерпретативных возможностях и месте социальной/политической теории в современности [4].

Типы идеологий. Классической для теории идеологии работой, в которой проведен формальный анализ идеологических систем и сформулированы критерии для их типизации, является работа М. Селиджера [6]. По мнению Селидженера, понятие «идеология» применимо ко всем системам убеждений, независимо от того, будут ли эти системы руководить действиями, направленными на изменение, сохранение или разрушение политической реальности. «В качестве того, что управляет и влияет на политическое действие, идеология должна определяться лишь в отношении к системам политических убеждений безотносительно к тому, будут ли они революционными, реформистскими или консервативными при взгляде со стороны» [Там же, 91–92]. Идеологии, по Селиджеру, это ориентированные на действие совокупности убеждений, организованные в качестве систем. Составляющими любой идеологии будут следующие элементы:

- описание (description),
- анализ (analysis),
- моральные предписания (moral prescriptions),
- технические предписания (technical prescriptions),
- инструментарий (implements),
- отрицания (rejections).

Селиджер считает, что только на уровне формального анализа мы можем разложить идеологию на составные части. В реальности идеологии смешивают воедино анализ ситуации и описание действительности с моральным предписанием, основанным на ценностях; смешение фактического положения дел с моральным императивом, дополненное «техническим» вычислением эффективности, придает, согласно Селиджеру, идеологии привлекательность в качестве руководства к политическому действию. Инструменты идеологии представлены правилами, которые суть способы и пути выполнения «моральных обязательств» или «адаптации их к требованиям обстоятельств». Отрицание, или «отклонение», (rejection) как структурный элемент позволяет любой идеологии позиционировать себя в качестве противоположной другим (идеологиям), следовательно, любая идеология, по Селиджеру, предполагает отказ от определенных принципов и идеалов.

Отметим, что этот момент в рамках нашего исследования будет принципиально важен. На основе подобного формального анализа элементов идеологии автор представляет и полное определение понятия: «Идеология есть совокуп-

ность положений, состоящих как из убеждений в чем-либо, так и отказа допускать что-либо, выраженная в ценностных суждениях, призывах (*appeal sentences*) и аргументации. Она предназначена служить относительно постоянной группе людей для того, чтобы оправдать на основании доверия к моральным нормам и до очевидности связной аргументации легитимность императивов и технических предписаний, которые должны обеспечить согласованное поведение, направленное на сохранение, изменение, разрушение или реконструкцию существующего порядка» [6, 119–120]. В зависимости от того, какая ценность (совокупность ассоциативно связанных ценностей) содержится в моральном «ядре» идеологии, мы можем поместить тот или иной идеологический продукт в «ячейку» между левыми и правыми экстремумами.

Далее, согласно Селиджеру, идеология как система имеет два уровня — долгосрочный и оперативный, соответственно идеологическая аргументация «...разбивается на два измерения: фундаментальные принципы, которые определяют конечные цели и общую перспективу их достижения, и оперативные принципы, лежащие в основании политики действий» [Там же, 109]. Все элементы идеологии реализуются в обоих измерениях, но с разным акцентом: идеология оперативного уровня центральными делает элементы расчета и эффективности (технические предписания), тогда как идеологии фундаментального уровня удерживают приоритет моральных норм. Поэтому второй критерий для типизации идеологий — это степень их ригидности, степень верности ценностным ориентирам. «Фундаментальные» идеологии тяготеют к моральному фанатизму, «оперативные» идеологии во главу угла могут поставить тактический успех, допустим победу на ближайших выборах за счет более «взвешенной» политической риторики. В любом случае идеологические системы содержат в себе непротиворечивое ценностное «ядро», характеризующее политический интерес определенной социальной группы (класса), и речь идет лишь о степени выраженности этих ценностей в *appeal sentences*. Такая классификация, на наш взгляд, вполне успешно выполняла свои задачи, по крайней мере до тех пор, пока социологи не столкнулись с проблемой несовпадения принятой по умолчанию модели общества с самой социальной реальностью [1].

Теория идеологии должна была отреагировать на изменения в социальной онтологии. В 2009 г. на русский язык переведена книга Д. Шварцмантера «Идеология и политика» [5], в которой автор проводит различие между идеологиями классическими и идеологиями современного толка. Анализ, проведенный Шварцмантелем, позволяет сгруппировать на одном полюсе любые идеологии классического типа (как бы они потом ни дробились в зависимости от ценностного ядра и степени жесткости), а на другом полюсе — идеологии современные, обладающие принципиально иным режимом функционирования. Шварцмантель полагает, что главная особенность современной политики состоит в возникновении многочисленных свободно организованных движений, созданных по сетевой модели и имеющих похожую организационную структуру, но кардинально отличающихся тем набором идей, которые дала им жизнь. Эти движения, пишет Шварцмантель, «...успешно мобилизуют силы, которые раньше поглощали традиционные формы политической активности левых и правых, что, в свою

очередь, свидетельствует о возникновении некоторого постидеологического общества, в центре которого лежат конкретные проблемы, а не масштабные картины общества» [5, 274].

Действительно, переход от логократии к видеократии на уровне политтехнологий, от статусной (классовой) стратификации к ситусному (символическому) видению социальной структуры на уровне социальной онтологии, децентрация самой социальной структуры, ее функционирование по типу «сетей» и продолжающаяся в наши дни дифференциация социальной жизни существенно меняют режим конструирования и поддержки социальных пространства и времени, в том числе публичного пространства и политических проектов. Но постидеологическое общество в терминологии Д. Шварцмантеля отнюдь не общество, свободное от идеологии вообще. Это общество, в котором происходит смена типов идеологии, осуществляется переход от идеологий классического типа (эти идеологии масштабны по своим задачам, связаны с государством, предполагают действие в рамках крупных институтов, выражены в программах политических партий, базируются на экономически вычисляемом сегменте социальной структуры (классы)) к идеологиям нового типа, которые молекулярны, партикулярны, внесистемны, организованы по принципу сетей, локальны по типу поддержки (идентичности) и по провозглашаемым требованиям. К первому типу идеологий в рамках этого разделения автор предлагает отнести, например, коммунизм, фашизм, национализм, ко второму типу — феминизм, энвайронментализм, движения за религиозную и культурную идентичность.

Шварцмантель пишет: «Огромное количество квазиидеологических движений свидетельствует о существовании более молекулярных и менее тотальных идеологий. Они (движения — А. Л., Д. Р., А. Д.) сигнализируют: идеологии, которые доминировали на протяжении всей новейшей истории, потеряли связь с конкретными современными проблемами, решение которых требует новых политических сил... Как бы то ни было, они не указывают ни на гибель идеологии, ни на потерю ею своей значимости, а скорее на абсолютное господство неолиберализма и необходимость сформировать некую глобальную идеологию, которая была бы направлена против доминирующей идеологии и смогла бы объединить “молекулярные” движения протesta со стороны свободно организованных сетевых движений» [Там же, 275–276].

Аргументы в защиту тезиса о победе неолиберализма в рамках нашей статьи специально рассматриваться не будут, в общем виде неолиберализм мы вслед за Д. Шварцмантелем определим как парадигму рыночных отношений и материальных благ в применении ко всем аспектам социальной жизни. В основе этой парадигмы — идея глобального рынка, редукция ценности человека к его потребительским возможностям и преобладание измеряемых критериев при описании продуктивности общественных институтов [Там же, 284]. Подчеркнем еще раз, что перспектива ближайшего будущего социальных систем в рамках теории Д. Шварцманеля не является постидеологической перспективой в строгом смысле слова, поскольку состоит в замещении старых идеологий новыми или, по аналогии с теорией А. Грамши, подразумевает рекомбинацию идеологий: перемещение «старых» идеологий на периферию общественной жизни [Там же, 281].

На наш взгляд, позиция Д. Шварцмантеля иллюстрирует заявленный нами в начале статьи «конфликт» требований и делает это тем удачнее, чем сильнее намерение автора совместить обаяние идеологий классического типа с принципиально новыми условиями для политического действия. С одной стороны, Д. Шварцмантель описывает переход к новому типу идеологий как неизбежный процесс, с другой — заявляет о недостаточности новых молекулярных идеологий именно потому, что они «легковесны» и не претендуют на новую масштабную картину лучшего общества, картину, в которой люди, надо полагать, по-прежнему нуждаются: «...значимость “несерьезных” идеологий заключается в том, что они обеспечивают часть — но только часть — столь необходимого для политической жизни процесса идеологического и политического обновления» [5, 283]. Идеологии нового типа, по Шварцмантелю, должны соединиться с элементами идеологий традиционного типа, находящихся в оппозиции к доминирующему неолиберализму, и образовать мощный кулак новой (по-прежнему претендующей на масштабность изменений) контридеологии: «Чтобы достичь такого результата, критическую мощь новых идеологий нужно совместить с более систематизированными и исторически обоснованными идеями, присущими “стальным” оппозиционным идеологиям левого крыла» [Там же, 302].

Итак, с одной стороны, на уровне социальной онтологии мы имеем модель общества, в которой социальная структура размыта, политическая жизнь фрагментирована, публичные пространства виртуализированы, сборка социальности происходит по типу сингулярностей. С другой стороны, в качестве причины такого положения дел мы называем победу неолиберализма (в России — крайне радикальной его версии) как самой успешной из классических масштабных идеологий Запада. Далее, мы фиксируем появление в социальной реальности идеологий нового типа, но заявляем, что эти «легковесные» идеологии не справляются с решением таких задач, которые, в свою очередь, уместнее поставить в рамках совершенно другой социальной онтологии, а именно модели общества как структурированной тотальности [2]. Наиболее вероятным вариантом развития ситуации в Западной Европе Д. Шварцмантель считает появление идеологических гибридов, способных противостоять неолиберализму, а в случае с Россией уместно предположить (если следовать высказываниям на круглом столе), что с доминирующей идеологией мы настолько сбыклись, что попросту не замечаем ее интерпелляций.

Ценностная и идеологическая дифференциация политических партий Российской Федерации. Если допустить, что идеология неолиберализма (в версии Ф. Хайека) в России является доминирующей, а по своему типу — «классической» (т. е. использует ресурсы государственных институтов), то следует ожидать актуализации ее ценностей в риторике партии власти. Результаты эмпирического исследования¹ показывают обратное: наиболее четкая либеральная

¹ Контент-анализ предвыборных программ политических партий, участвовавших в выборах в Государственную думу РФ в 2011 г., проведен в рамках выполнения работ по проекту «Идеологические системы в поздней модерности: динамика и механизмы производства публичных пространств», ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг., мероприятие 1.2.2, соглашение № 14.А18.21.0514.

идеологическая платформа — у оппозиционной партии, а политические программы подавляющего большинства партий, боровшихся за места в Государственную думу РФ в 2011 г., представляют собой идеологический микс, трудно-совместимый даже с локальными идеологиями «нового типа», обнаруженными Д. Шварцмантелем в современной Западной Европе. Рассмотрим логику исследования подробнее.

Целью эмпирической части нашего исследования стало уточнение ценностной и идеологической дифференциации политических партий, участвовавших в выборах в Государственную думу РФ в 2011 г. Объектом анализа стали предвыборные программы политических партий. По результатам исследования мы планировали ответить на вопросы о том, насколько идеологически последовательны основные игроки на политической арене и насколько осуществима классификация партий по традиционному идеологическому спектру.

Механизм получения выводов при решении этой задачи был следующим. Основным индикатором, по которому мы замеряли выраженность тех или иных идеологических ориентаций, явились ценности. В фокусе нашего анализа оказалось три группы идеологий: либерализм, консерватизм и социализм. К ценностям либерализма мы относили «Свободу убеждений», «Свободу действий», «Демократию», «Личность», «Собственность», «Рынок», «Закон», «Права человека», «Мир» и «Изменения». К ценностям консерватизма причислялись «Патриотизм/Державность», «Нравственность», «Стабильность», «Семья» и «Порядок». К ценностям социализма относились «Сильное государство», «Социальные гарантии», «Равенство», «Солидарность», «Труд», «Здоровье» и «Борьба».

По результатам подсчета индикаторов, которые характерны каждой из этих ценностей, мы делали вывод, насколько в программе той или иной партии выражена та или иная ценность. Опираясь на ранжирование ценностей по частоте упоминаний, мы определяли, к какой именно идеологической традиции тяготеет партия.

В ходе этого исследования мы пришли к следующим выводам, характеризующим ценностно-идеологическое поле программ политических партий, а отчасти и стратегии (механизмы) его конструирования:

1. Ценности каждой из идеологий востребованы крайне неравномерно². В ходе анализа удалось установить, что из ценностей, которые мы рассматривали в качестве характерных тем или иным идеологиям, российские политические партии обращаются далеко не ко всем. Так, из либеральных ценностей крайне востребованными оказались «Закон», среди консервативных — «Патриотизм», а среди социалистических — «Социальные гарантии». В то же время выяснилось, что такие ценности, как «Демократия», «Изменения», «Свобода убеждений», «Свобода действий», «Рынок», встречаются в программах анализируемых партий довольно редко. Таким образом, одним из первых наших наблюдений стала различная частота обращений российских политических партий к ценностям тех или иных идеологий. Удалось установить, что, часто обращаясь

² См.: диаграмму 1 (с. 94).

к одним ценностям, российские политические партии могут фактически игнорировать другие.

Стоит заметить, что нередко это активное обращение партий к одним ценностям при слабом внимании к другим граничит с логической непоследовательностью. Актуализируя в своей программе одни ценности той или иной идеологии, партия может вообще не уделить внимания родственным, близким ценностям (например, часто ссылаясь на либеральную ценность «Демократия», но лишь эпизодически упоминать другую либеральную ценность — «Свободу убеждений»). Можно предположить, что такая непоследовательность говорит об изрядной гибкости политических партий в использовании различных ценностей. По сути, партии при написании программ производят своеобразную фильтрацию. Из всего спектра ценностей, которые характерны той или иной идеологии в ее классическом понимании, они отбирают те, которые с их точки зрения наиболее релевантны для актуальной повестки дня и делают на них первоочередной акцент. Вместе с тем ценности, которые с точки зрения партий несовременны или вызовут негативную реакцию в обществе, в программах практически игнорируются.

2. Ценностное и идеологическое пространство, заданное предвыборными программами российских партий, относительно гомогенно. В нем примерно в равной степени представлены ценности, характерные и для либеральных, и для консервативных, и для социалистических взглядов на развитие общества. Кроме того, сама иерархия ценностей и степень их выраженности в программах *разных* партий в целом очень похожи. Спектр ценностей, которые стали самыми популярными в программах политических партий, довольно ограничен. В основном в него вошли такие ценности, как «Закон», «Социальные гарантии»³, «Сильное государство», «Патриотизм», «Нравственность». Анализ показал, что партии могут различаться по степени своего интереса к этим ценностям, но все они в любом случае популярны. Лишь ценности «Стабильность», «Личность», «Труд», «Семья», «Права человека», «Патриотизм/Державность» и «Солидарность» оказались востребованными в разных программах в существенно различающейся степени⁴. Подобная однородность говорит о том, что сами ценностные картины, которые актуализированы в предвыборных программах российских партий, в принципе похожи. Они апеллируют по большей части к одним и тем же тематикам и одним и тем же ценностям. Степень дифференциации обозначенного ими ценностно-идеологического пространства сама по себе относительно невелика.

³ См. диаграммы 1–8. Ценность «Социальные гарантии» является наиболее распространенной во всех программах партий и с большим отрывом занимает 1-е место по совокупной частоте упоминаний (670, ближайшая по популярности ценность «Закон» — только 375 упоминаний). «Социальные гарантии» занимают твердое 1-е место по частоте упоминаний в программах «Справедливой России» (228 упоминаний), ЛДПР (157 упоминаний), КПРФ (86 упоминаний), «Патриотов России» (70 упоминаний). В программах остальных партий ценность «Социальные гарантии» также является одной из наиболее востребованных, хотя и не занимает 1-го места.

⁴ Например, ценность «Личность» занимает 3-е место по частоте упоминания в программе «Правое дело» и 16-е — у «Патриотов России».

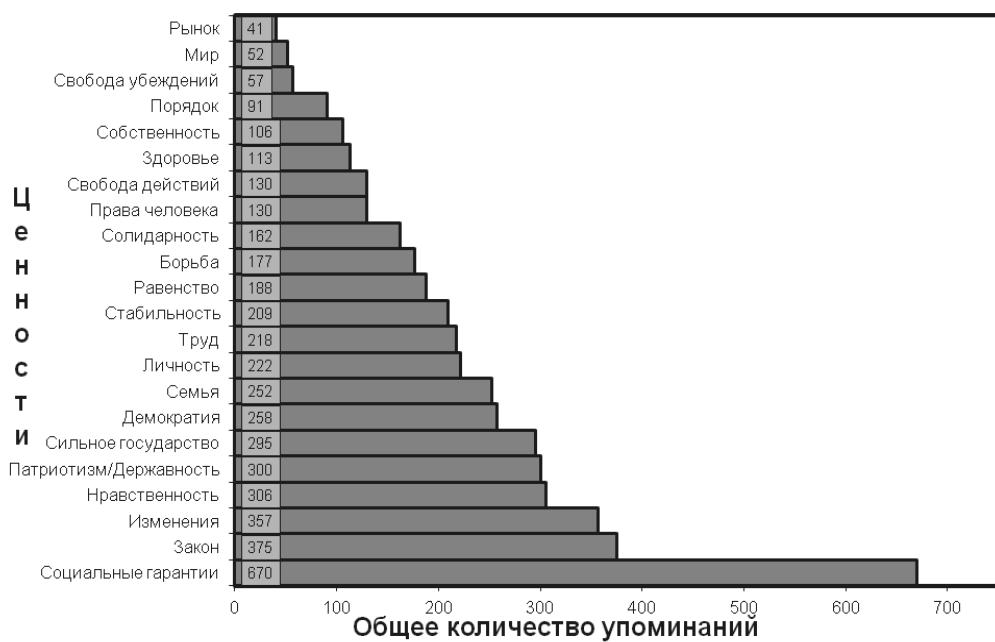


Диаграмма 1. Ценности, выраженные в проанализированных программах политических партий

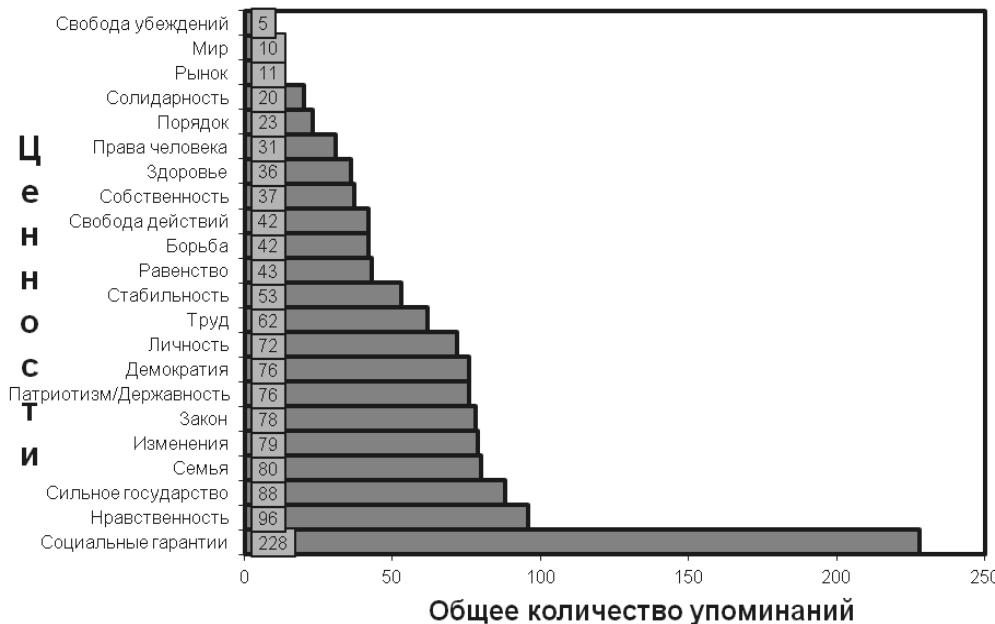


Диаграмма 2. Выраженность ценностей в программе партии «Справедливая Россия»

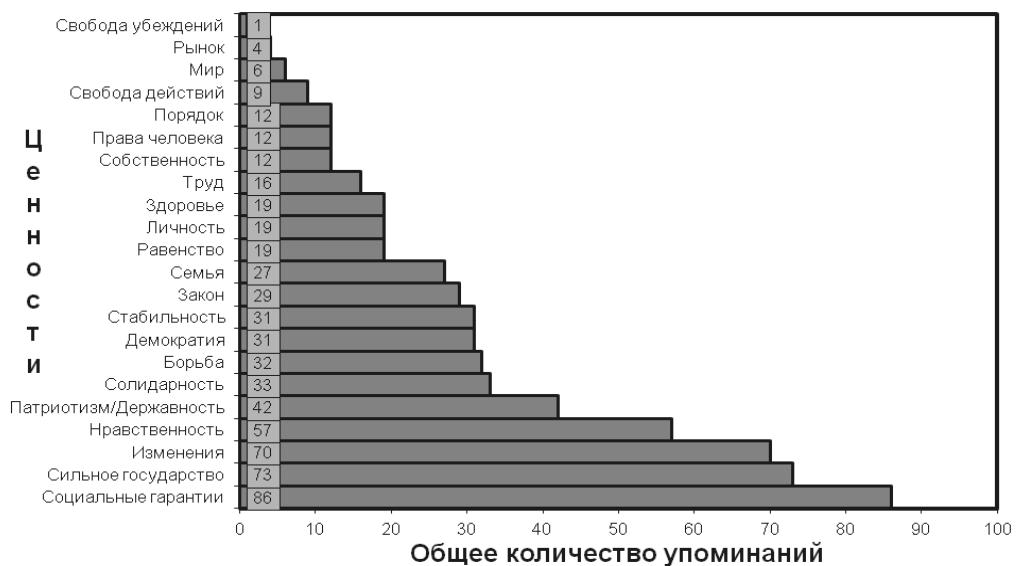


Диаграмма 3. Выраженность ценностей в программе партии «КПРФ»

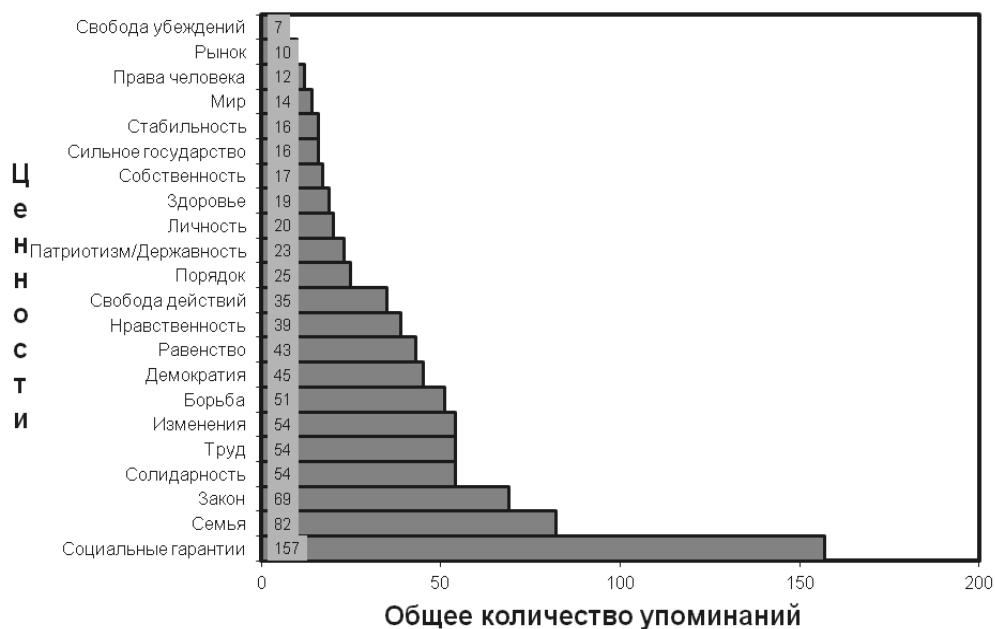


Диаграмма 4. Выраженность ценностей в программе партии «ЛДПР»

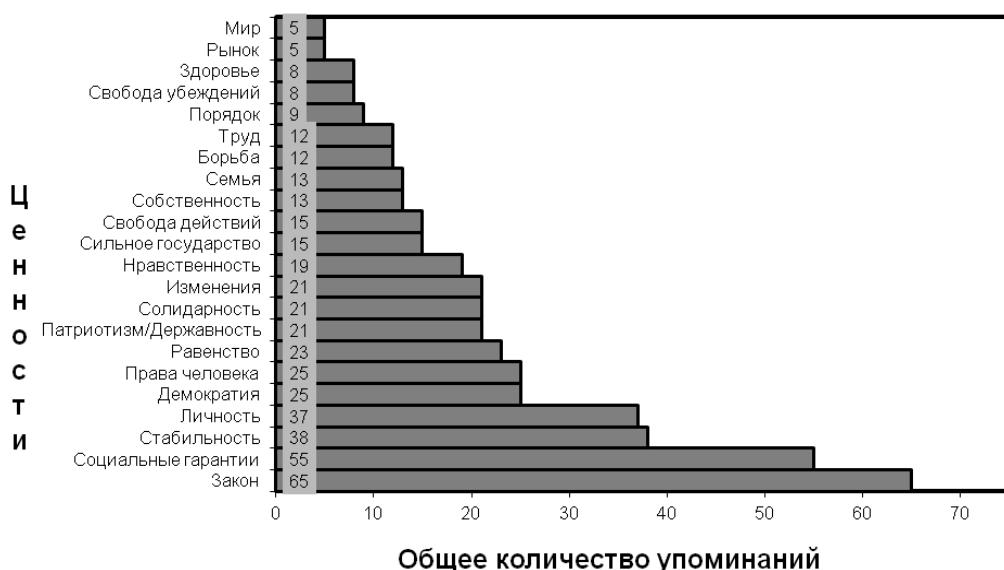


Диаграмма 5. Выраженность ценностей в программе партии «Яблоко»

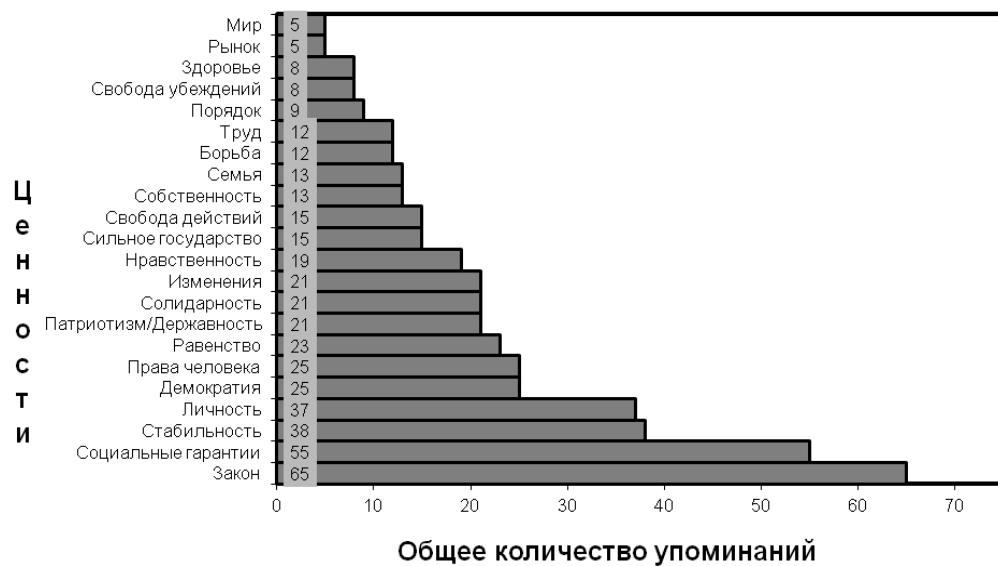


Диаграмма 6. Выраженность ценностей в программе партии «Правое дело»

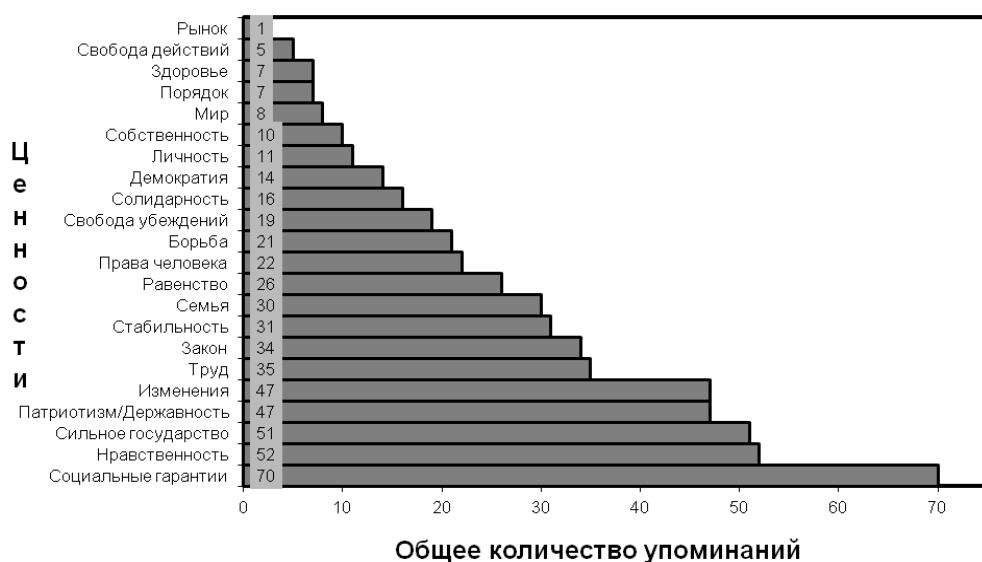


Диаграмма 7. Выраженность ценностей в программе партии
«Патриоты России»

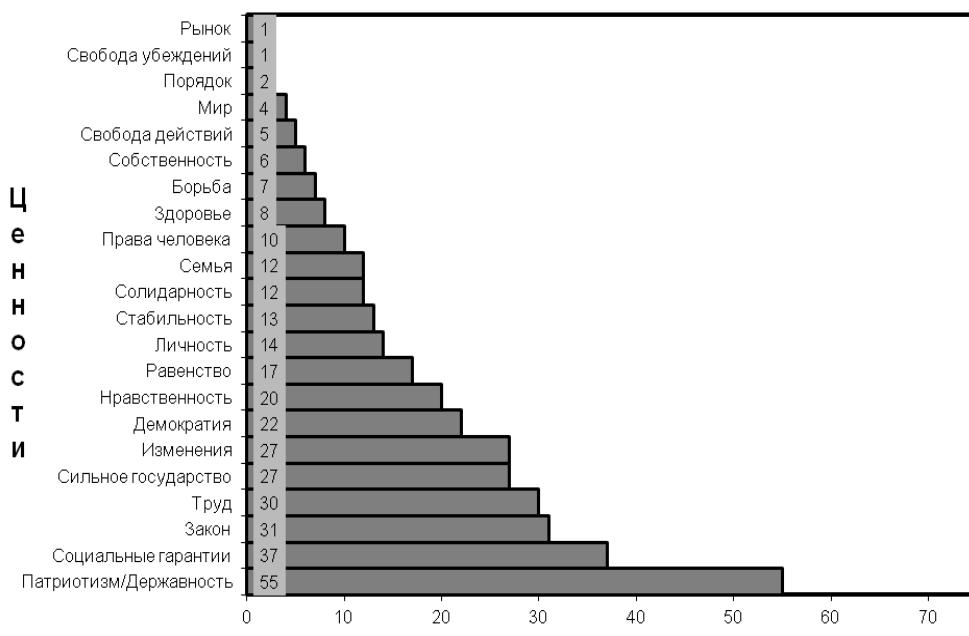


Диаграмма 8. Выраженность ценностей в программе партии
«Единая Россия»

3. В идеологическом плане исследованные программы партий представляют собой гибридные продукты. Они построены на синтезе ценностей, которые характерны для разных идеологий. Ни одна из программ не продемонстрировала доминирующего внимания к ценностям какой-то одной идеологии. Скорее можно говорить о тяготении тех или иных партий к ценностям консерватизма, социализма или либерализма. Однако даже те партии, которые в целом тяготеют к социалистическим ценностям, в принципе склонны действовать в своей программе ценности и консерватизма, и (в чуть меньшей степени) либерализма. В свою очередь, партии, которые тяготеют к консервативным ценностям, активно обращаются и к социалистическим, и (опять же в меньшей степени) к либеральным ценностям. Партии же, которые в большей степени тяготеют к либеральным ценностям, склонны выражать в своих программах взгляды, присущие консерватизму и социализму.

Так, например, партия «ЛДПР»⁵ самим своим названием позиционирует себя в качестве носителя либеральных ценностей и взглядов. Однако проведенный анализ показал, что в ценностном плане программа партии «ЛДПР» – это документ смешанного типа, в котором находят проявление ценности и либеральной, и консервативной, и социалистической направленности. Из тех ценностей, которые рассматривались нами как выразители либеральной идеологии, лишь «Закон» (69 упоминаний, 3-е место по частоте использования), «Изменения» (54 упоминания, 6-е место по частоте использования) и «Демократия»⁶ (45 упоминаний, 8-е место по частоте использования) проявляются относительно часто. Прочие ценности, которые характерны либеральным взглядам, проявляются в программе партии «ЛДПР» лишь эпизодически («Свобода убеждений», «Рынок» и «Мир» и вовсе занимают последние места по частоте упоминаний). Поэтому можно сказать, что собственно либеральные ценности в предвыборной программе партии «ЛДПР» выражены относительно слабо – они явно присутствуют, но не играют ведущей роли.

Самой часто используемой здесь становится ценность «Социальные гарантии» (157 упоминаний). На втором месте находится ценность «Семья» (82 упоминания). На четвертом и пятом – «Солидарность» и «Труд» (набирают по 54 упоминания), на седьмом – «Борьба» (51 упоминание), на девятом – «Равенство» (43 упоминания). Все эти ценности (за исключением «Семьи») мы рассматриваем в качестве характерных для социализма. То есть первые места по частоте упоминаний в программе партии «ЛДПР» занимают ценности, характерные для социалистической идеологии, тогда как ценности, присущие либерализму, отходят на второй план. Значимую роль в программе сыграли и ценности консервативного типа. В частности, уже упомянутая ценность «Семья». Относительно высокую популярность набрала также ценность «Нрав-

⁵ См.: диаграмму 4.

⁶ Следует учитывать, что слово «Демократическая», которое мы использовали как один из индикаторов проявления ценности «Демократия», фигурирует в самом названии партии. Следовательно, некоторая степень актуализаций этой ценности может быть связана с простым упоминанием названия партии в тексте программы, а не с содержательной актуализацией демократических идей.

ственность» (39 упоминаний). Хотя, безусловно, консервативные ценности в программе выражены слабее, чем социалистические.

Аналогичные соотношения ценностей прослеживаются и в программах других партий. Партии «КПРФ» и «Справедливая Россия»⁷, как и «ЛДПР», в своих программах активно апеллируют к ценностям одновременно и либерализма, и консерватизма, и социализма. Партия «Яблоко»⁸ в своей программе придерживается в целом либеральных идей, но при этом по многим позициям проявляет себе как выразитель консервативных и даже социалистических взглядов. Идеологические ориентации партий «Единая Россия» и «Патриоты» России лишь незначительно тяготеют к консервативным ценностям: обе партии наравне с ценностями консерватизма заимствуют идеи, присущие социализму и либерализму⁹. Последовательного отстаивания догматов какой-то одной идеологии в программах абсолютного большинства партий не прослеживается: программы российских в ценностно-идеологическом плане представляют собой гибрид.

Свообразным исключением из этого правила «идеологического синтеза» оказалась партия «Правое дело»¹⁰, которая в своей программе относительно последовательно отстаивала ценности либеральной идеологии. Партия «Правое дело» оказалась единственной из всех изученных, в программе которой наиболее выраженными ценностями оказались ценности, присущие одной идеологии — либеральной: «Закон» (69 упоминаний), «Изменения» (59 упоминаний), «Личность» (49 упоминаний) и «Демократия» (45 упоминаний). Стоит заметить, что либеральные ценности в программе этой партии прослеживаются даже отчетливее, чем в программах партий «Яблоко» и «ЛДПР», которые тоже в той или иной степени тяготеют к либеральным идеям. При этом ценности, характерные для социализма и консерватизма, хотя и не отсутствуют вовсе, отчетливо оттеснены на второй план (относительно немного упоминаний набрала самая популярная среди остальных партий ценность «Социальные гарантии»¹¹). Впрочем, даже программа партии «Правое дело» в ограниченном виде содержит элементы консервативной и социалистической риторики.

4. Относительный идеологический антагонизм в анализируемых программах партий обнаруживается лишь по поводу *либеральных* ценностей. В ходе анализа выявилось сразу несколько примеров партий, которые объединяют в себе элементы социалистических и консервативных ценностей, но при этом почти не актуализируют ценностей, связанных с либерализмом (например, «Патриоты России»). Удалось обнаружить пример своеобразного синтеза всех трех идеологических направлений (к таким можно причислить партию «КПРФ»). Как было

⁷ См.: диаграммы 2 и 3.

⁸ См.: диаграмму 5.

⁹ См.: диаграммы 7 и 8.

¹⁰ См.: диаграмму 6.

¹¹ Всего эта ценность упоминается во всех программах более 600 раз. Причем партия «Справедливая Россия» апеллирует к этой ценности 228 раз, а «Правое дело» — лишь 37. Фактически если среди всех упоминаний этой ценности на «Справедливую Россию» приходится каждое третье, то на «Правое дело» — только каждое двадцатое. При этом объем предвыборных программ этих партий в целом сопоставим.

отмечено ранее, существует партия, которая в большей степени тяготеет к либерализму, не особенно затрагивая ценности консерватизма и социализма, — таковой оказалась партия «Правое дело». Однако среди проанализированных партий не обнаружилось таких, которые синтезировали бы в себе либерализм и социализм либо либерализм и консерватизм. Однозначно объяснить, почему так произошло, сложно. Однако вполне возможно, что именно отношение к либерализму и его ценностям является дифференциалом, который позволяет разграничить между собой ценностные картины, свойственные разным партиям. Как показал анализ, ценности консерватизма и социализма в представленных программах сочетаются вполне естественно. Отторжение по каким-то причинам вызывали лишь некоторые ценности, присущие либерализму.

5. Проявилась девальвация символического значения названия партии. Среди партий, ставших объектами анализа, оказались несколько таких, которые в своем названии подчеркивают приверженность той или иной идеологии: «Либерально-демократическая партия России», «Патриоты России», «Коммунистическая партия Российской Федерации», «Правое дело». Ранжирование ценностей, выраженных в их предвыборных программах, показало, что номинальное причисление партии к той или иной идеологии, выраженное в ее названии, мало говорит об истинных ценностях, которые она транслирует.

Проиллюстрируем это наблюдение на примере партии «КПРФ»¹². Принимая во внимание название этой партии, можно предположить, что основной акцент она должна делать на отстаивании социалистических идей. Действительно, некоторые характерные для социализма ценности выходят в программе на первый план: по частоте использования ведущие места заняли ценности «Социальные гарантии» (86 упоминаний, 1-е место по частоте упоминаний) и «Сильное государство» (73 упоминания, 2-е место по частоте упоминаний). Тем не менее прочие присущие социализму ценности актуализируются здесь лишь эпизодически: «Солидарность» набирает 33 упоминания, «Равенство» и «Здоровье» — по 19, а «Труд» — всего 16. Одновременно партия «КПРФ» активно обращается к ценностям, присущим консервативной идеологии (ценность «Нравственность» набирает 57 упоминаний и занимает 4-е место по частоте упоминаний, ценность «Патриотизм/Державность» — 42 упоминания, 5-е место по частоте упоминаний). Обращения к либеральным ценностям встречаются реже, но этот результат предсказуем: известно, что риторика руководства партии «КПРФ» нередко строится на критике либеральных реформ 1990-х гг. Однако некоторую распространенность получили и либеральные ценности.

Таким образом, в своей предвыборной программе партия «КПРФ» оказалась далека от отстаивания чисто социалистических ценностей. Наряду с ценностями, характерными для социалистической идеологии, она активно обращалась и к тем ценностям, которые присущи консерватизму, а в ряде случаев — даже либерализму. То есть, обозначая в самом своем названии ориентацию на социалистическую идеологию, партия в итоге проявила гибкость и в своей про-

¹² См.: диаграмму 3.

грамме обратилась не только к социалистическим ценностям. Аналогичный вывод можно сделать и относительно партии «ЛДПР», на ценностной ориентации которой мы останавливались чуть выше. Позиционируя себя как либеральная, эта партия скорее отразила в своей программе ценности того же консерватизма. Получается, по сути, что апелляция названия партии к той или иной идеологии имеет чисто декларативный характер. Присутствие в названии партии слов «либеральный», «консервативный», «социалистический» (или близких им по смыслу) еще не говорит о том, что партия действительно будет придерживаться соответствующей идеологии.

Итоговый вывод заключается в том, что идеологический компонент в программах, которые российские политические партии представили перед выборами в Государственную думу в 2011 г., выражен очень слабо. Партии активно апеллируют к ценностям, позволяя себе в том числе и вполне нормативные суждения. Но с идеологическими доктринаами, догмами эти апелляции соотносятся слабо. Анализ показал, что типичная российская политическая партия в своей программе скорее выявляет круг актуальных проблем и предлагает способ их решения (вполне возможно, что популистский). При этом обращение к тем или иным ценностям является скорее инструментом, с помощью которого партии более наглядно выражают свои взгляды на ключевые проблемы и способы их решения.

Ценостные атTRACTоры каждая партия явно обдумывает, но старается избегать слишком явных акцентов на тех ценностях, которые могут вызывать неоднозначную реакцию. При этом апелляции собственно к идеологиям лишь косвенны и лишены какой бы то ни было системности. В идеологическом плане представленные партиями программы эклектичны, гибридны: по сути, они обращаются к любым ценностям, которые сочтут актуальными, не проявляя особенной разборчивости в идеологических коннотациях этих ценностей.

Таким образом (по крайней мере, на уровне официальной политической риторики) в рамках классического политического публичного пространства борьба идеологических систем в России не прослеживается. Далее, «победившая» идеология неолиберализма, во-первых, не ассоциируется с партией власти; во-вторых, в концентрированном виде не содержится ни в одной политической программе. Наконец, ни классификации Селиджера, ни классификации Шварцмантера последовательно применить к российскому политическому пространству попросту невозможно, за исключением идеологии либерализма (!), которая выражена оппозиционным «Правым делом» и могла бы (с некоторыми оговорками) быть отнесена по режиму функционирования к идеологиям «современного типа» (!) (Шварцмантель).

Большинство политических программ в качестве своего «ядра» имеют повторяющийся сплав достаточно противоречивых ценностей, а потому говорить о какой-либо идеологической *связности* политических проектов, нормативном *различии* в программах и *принципиальности* идеологических позиций (Селиджер) на примере политических партий РФ в настоящее время не представляется возможным. Следует ли из этого вывод о конце идеологий в России (что в рамках нашего исследования означает отказ от одного из признаков модерности) либо

вывод о том, что в стране изменился режим производства политического пространства и поэтому идеологии нужно искать в другом месте и другими средствами, — вопрос для дискуссии и дальнейших исследований.

-
1. Гидденс Э. Девять тезисов о будущем социологии // Thesis. 1993. Т. 1, вып. 1. С. 57–82.
 2. Лаклау Э. Невозможность общества // Логос. 2003. № 4–5. С. 54–57.
 3. Логинов А. В. Онтологический статус идеологии в современности // Изв. Урал. гос. ун-та. Сер. 3. Обществ. науки. 2010. № 4 (83). С. 15–29.
 4. Меньшиков А. С. Нужна ли кому-либо политическая философия? (Или как теоретизировать политику?) // Полис (Политические исследования). 2010. № 1. С. 83–102.
 5. Шварцмантель Д. Идеология и политика. Харьков, 2009.
 6. Seliger M. Ideology and Politics. L., 1976.

Рукопись поступила в редакцию 2 декабря 2012 г.

УДК 316.323.72 + 316.422 + 316.472

А. С. Меньшиков

ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕРНОСТЬ И ПОСТСОВЕТСКАЯ СОЦИАЛЬНОСТЬ*

В статье продолжается начатое ранее рассмотрение публичной сферы и ее роли в социальном воспроизводстве модерности с особым вниманием к политической легитимности. Приводятся ретроспективные оценки концепции публичной сферы Ю. Хабермаса, высказанные в связи с годовщиной выхода в свет его работы «Структурные изменения общественности» (1962). Анализируется критика концепции Хабермаса, переносящая внимание на микроуровень и на субъективность как пространство борьбы идеологий и тем самым постепенно замещающая традиционное политико-философское и социально-философское видение институциональной публичной сферы. В заключение указывается на сходство онтологии «субъективизирующих подходов» с онтологией, предлагаемой неолиберальной идеологией, и отстаивается идея о важности проекта политического модерна, в котором публичная сфера играет главную роль.

Ключевые слова: Хабермас, общественность, публичная сфера, политическая модерность, советская субъективность, постсоветская социальность.

В предыдущей статье [5] я постарался продемонстрировать, что публичная сфера является условием для обеспечения концептуальной инфраструктуры модерности, указать на необходимость публичной сферы как механизма формули-

* Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг., мероприятие 1.2.2, проект «Идеологические системы в поздней модерности: динамика и механизмы производства публичных пространств» (соглашение № 14.А18.21.0514).

рования и поддержания общественной связи. Поскольку 2012 год ознаменован пятидесятилетней годовщиной выхода в свет работы Ю. Хабермаса «Структурные изменения общественности», а некоторые мои рассуждения требуют дополнений, то я вновь обращаюсь к этой теме. Знакомясь с посвященным юбилейной дате разделом журнала «Политическая Теория» [19], с некоторым удивлением обнаружил, что многие тексты данного раздела цитируют с разной степенью полноты следующий фрагмент работы Хабермаса, который я приведу в расширенном варианте: «Касательно частного лица не существовало разрыва между человеком (*homme*) и гражданином (*citoyen*), в том смысле, что человек (*homme*) одновременно являлся владельцем частной собственности, стремившимся в качестве гражданина (*citoyen*) защищать стабильность частнособственнического порядка. Классовый интерес был основой общественного мнения. Однако в тот период он объективно совпадал с общим интересом, по меньшей мере, это [буржуазное] мнение могло считаться общественным, рождающимся из критического обсуждения общественности и, следовательно, рациональным. ...Пока публичность существовала как сфера и работала как принцип, то, таким образом общественность оценивала себя и свои действия, было идеологией и в то же время больше, чем просто идеологией» (курсив мой. — А. М.). На основе продолжавшегося господства одного класса над другим господствующий класс тем не менее развил политические институты, которые в объективном смысле служили видимым воплощением идеи его упразднения: истина, а не власть устанавливает закон (*veritas non auctoritas facit legem*) — воплощением идеи преобразования господства в ненавязчивое ограничение, которое возобладает только потому, что оно опирается на убедительность общественного мнения» [13, 87–88].

В повторении авторами ретроспективных оценок именно этого фрагмента исследования Хабермаса («то, как общественность оценивала себя и свои действия, было идеологией и в то же время больше, чем просто идеологией») мне видится некая тоска по идеологии. Не столько ностальгия современных западных авторов по конкретной идеологии, например, по «правильному либерализму», который при всей своей классовой ограниченности служил бы общечеловеческому прогрессу, сколько по «правильным» идеям, которые, став идеалами политики и будучи воплощенными через институционализацию, смогут легитимировать общественный порядок как рациональный порядок, т. е. некая тоска по ценностной осмысленности и рациональности политики. Рациональность политики, которая формировалась в пределах публичной сферы и обеспечивала демократическую легитимность общественного порядка (самоопределение народа — носителя суверенитета), составляла центральную установку проекта политического модерна.

Так, Р. Бернстейн, один из авторов этого раздела, настаивает на необходимости возрождения ценностного ядра идеи публичной сферы и заложенного в проекте модерна обещания, призывает к разработке «творческого противоречия», содержащегося в идее общественности (открытость рациональности и одновременно манипуляции), в наших сегодняшних условиях [7, 767–8]. Сравнивая анализ публичности в работах Ю. Хабермаса, Х. Арендт и Дж. Дьюи, Р. Бернстейн приходит к выводу, что их подходы дополняют друг друга и демонстрируют

неотделимость демократии от публичности [7, 777]. Потому Р. Бернштейн утверждает непреходящее значение работы Хабермаса для поддержания подлинной идеи публичной сферы, которая, несмотря на, а скорее даже благодаря «франкфурто-марксистской» критике Хабермаса, после надлежащего исправления обеспечит критическую общественную рациональность.

А. Кацнельсон обнажает историко-философский промах в работе Хабермаса. Хабермас, по мнению Кацнельсона, недооценил осознание классическими либералами возможной опасности «превращения общественного мнения из средства освобождения в механизм подавления», а потому не включил в свое рассмотрение попытки либералов найти этой проблеме решение. Кацнельсон заключает: они, т. е. Токвиль и Милль, «ухватились за те организации и правила, которые могли бы сделать счастливым брак между либерализмом и расширяющейся демократией» [16, 786]¹, тем самым оптимистично утверждая ценность и применимость классического либерализма сегодня, т. е. выполнимость обещания свободы и общественной рациональности, которое Хабермас в своем «марксистски деформированном» диагнозе эволюции общественности посчитал неисполненным.

Совершенно открыто М. Кук отстаивает общую правоту подхода Хабермаса, в особенности использование «телеологических понятий» («teleological concepts» [12, 816]), которые «необходимы, чтобы обеспечить выводящую за пределы имеющегося контекста перспективу» («the context-transcending perspective» [Там же, 812]) и «оценивать рациональность результатов социокультурных процессов, ведущих к новым способам отношения к миру» [Там же, 817], предлагая лишь уточнения к модели коммуникативной рациональности Хабермаса.

Критикуя «новых реалистов» и «радикальных контекстуалистов», в ряды которых попали Й. Шапиро, А. Сен и Р. Гейс, Кук утверждает: «Они не способны адекватно объяснить рациональность новых понятийных конструкций, они вынуждены отказывать им в рациональности (a-rational). Применительно к нашему обсуждению, радикальные контекстуалисты лишены ресурсов, необходимых для осмыслиния “объективного значения”, приписываемого Хабермасом буржуазной идее свободы, несмотря на ее идеологический характер, — той ее значимости, которая превосходит конкретный социокультурный контекст ее собственного возникновения. Также редко отмечается неспособность радикальных контекстуалистов раскрыть потенциал вклада теоретиков в понятийные трансформации, связанные с принципиально новыми способами отношения к миру. Недостатком позиции нового реализма и радикального контекстуализма вообще следует считать то, что они не могут оценить преобразующую и

¹ Такими решениями, по мнению Кацнельсона, были, с одной стороны, федерализм и свободные общественные объединения, вызвавшие восхищение Токвиля («в качестве гарантии против подавляющей новой власти большинства эти источники инициативы сочетали интерес и добродетель и умеряли худшие свойства обоих благодаря свободе объединений» [16, 785]), а с другой стороны — расширение и усиление среднего класса, предложенные Миллем («вера, исповеданная Миллем, в способность расширенной и более демократической политики сделать представительное правление и свободу более, а не менее, крепкими» [Там же, 784]).

просвещающую роль теории. Хабермасовский коммуникативный поворот демонстрирует, как теория может играть эту роль» [12, 817].

Такая «преобразующая и просвещающая» роль теории может быть прояснена благодаря тому, что свобода, переживаемая в опыте, и свобода, понятийно осмысленная, могут быть связаны через лежащую в основе коммуникативной рациональности интерсубъективность познания и действия. Те уточнения, которые Кук считает необходимым внести в модель коммуникативной рациональности Хабермаса, таковы: «Я объясняю силу коммуникативной рациональности выводить за пределы имеющегося контекста двояко: во-первых, я утверждаю, что предельные ориентиры (*ultimate reference points for normative theorizing*) ценностного рассуждения — такие трансцендентности, как истина и справедливость, — являются радикально превосходящими конкретный контекст и потому недоступны в своей полноте людям; таким образом, я постулирую непреодолимую пропасть между истиной, справедливостью и другими трансцендентными ориентирами и нашим знанием о них, которое приобретается посредством коммуникативной рационализации (*communicative reasoning*). Тем не менее — и это вторая часть моего объяснения — я уверена, что этот разрыв может быть сужен посредством коммуникативной рационализации. В рамках нашего обсуждения это означает, что я ставлю нормативность истины и справедливости в частичную зависимость от ценностной области, которая не является результатом человеческой деятельности. ...Восходящий (*bottom-up*)² подход к социальной и политической теории не может обойти потребность в выводящей за пределы имеющегося контекста перспективе и в соответствующих понятиях истины и справедливости, которые бы превосходили контекст» [Там же, 819].

Таким образом, ставя под сомнение «имманентизм гегельянско-марксистской трактовки» коммуникативного разума у Хабермаса, Кук, благодаря внесенным уточнениям, сохраняет уверенность в легитимируемости общественной рациональности, пусть и исходя из несколько мистической «трансцендентности истины и справедливости», верит в способность теории через коммуникативную рационализацию преобразовывать общества в свете «объективного смысла».

Более осторожный оптимизм выражает У. Шейерман, который, прослеживая эволюцию позиции Хабермаса, раскрывает некоторое охлаждение его реформистского устремления: «Отбросив не только гегельянство и марксизм, но и социалистическую мечту середины двадцатого века о демократизированной экономике, в которой государственное планирование играло ведущую роль, Хабермас сегодня, кажется, ослабил свой реформизм, ограничив его относительно скромными институциональными изменениями» [20, 835]. Однако У. Шейерман указывает на институциональную возможность и ценностную необходимость продолжения намеченных Хабермасом реформ: «Новые институциональные возможности для участия и контроля, включая “секторальные общественности” (*domain-specific public spheres*), могут проложить путь нарастающей “демократизации администрации”» [Там же, 834]. Государство благосостояния,

² Иначе его можно было бы назвать индуктивным.

легитимное как гарант нового поколения прав — экономических и социальных, но подверженное бюрократизации, еще не утратило потенциала к большей публичности и демократичности, при условии, что общественность воспользуется открывшимися перед ней новыми возможностями участия и контроля за управлением.

Эти новые формы участия общественности в политике были особо выделены в статье А. Норваль, которая показывает, как то, что Хабермас считал проблемой упадка — медиатизация публичной сферы, становится с развитием новых технологий возможностью³ — «пространством изобретения» (*inventive space of participation*) для организации политической деятельности, участия в публичных дискуссиях и расширенного доступа к публичной сфере ранее из нее исключенных акторов [18, 803–804]. Новые медиа становятся местом, где созревает новая «демократическая субъективность»: «Демократическая субъективность возвращается благодаря участию в практиках “возражения” (*practices of “talking back”*). Образование, о котором говорит Хабермас, может быть существенно, но все зависит от воплощенных практик привыкания (*embodied practices of habituation*), от политического воображения и воздействия примеров, от действий, которые являются нам возможностью быть и действовать по-иному... В частности, гарантируется расширение доступных нарративов, которые могут вынудить политиков, принимающих решения, избегать слишком узких формулировок политической повестки, обеспечивается продвижение не-доминирующих (*nonhegemonic*) политических альтернатив и административных решений (*policy options*), облегчается выражение разнообразных взглядов» [Там же, 807]. Таким образом, новые медиа, достигнув следующего этапа развития, «снимают», по мнению Норваль, предыдущий конфликт между массовостью и рациональной общественностью, создавая основу для новой расширенной общественности и новой легитимности общественного порядка.

Теперь, однако, самое время обратиться к более критическим голосам, которые ставят под вопрос как само видение общественности, предложенное Хабермасом, так и значимость общественности и критической общественной рациональности для легитимности общественного порядка.

Так, Э. Аллен обращает внимание не только на структурную исключенность женщин из описанной Хабермасом общественности, которую тот вполне осознавал, но и, опираясь на высказанную ранее против Хабермаса критику Н. Фрэйзер, указывает на следующие упущения концепции Хабермаса [6, 823–826]:

1. Хабермас ошибочно «полагает возможным абстрагирование от существующих властных иерархий и участие граждан на равных в общественных обсуждениях вопросов, затрагивающих всех» [Там же, 823], тогда как, по мнению

³ «Хотя Хабермас несомненно прав в анализе оглушающих и манипулятивных тенденций в обществах с широким проникновением массовых медиа, я покажу, что указанная им дихотомия (массовая культура и расширенная общественность. — A. M.) построена на существенной недооценке возможностей критического мышления в “массовой” общественности, даже в современных условиях, когда общества медиатизированы в большей степени, чем Хабермас мог тогда вообразить» [18, 803].

Фрэйзер, только «действительное социальное равенство может обеспечить политическую демократию» [6].

2. Хабермас считает необходимой для работающей демократии «некую универсальную единую общественность» [Там же]; Фрэйзер, напротив, предпочитает «множество контр-общественностей, особенно в обществах с раскалывающими их социальными иерархиями» [Там же].

3. Для Хабермаса «публичные обсуждения должны быть посвящены решению вопросов, затрагивающих всех» [Там же, 824], Фрэйзер подчеркивает: «вопрос о том, что должно считаться общественным вопросом, и вопрос о том, кто будет проводить и отстаивать границы между общественным и частным, должны сами быть открыты для обсуждения» [Там же].

4. Хабермас настаивает на четком разграничении гражданского общества и государства, в его повествовании существенный признак общественности — ее негосударственный статус. Фрэйзер предлагает разделение на «слабые и сильные общественности, первые означают те места, где формируются мнения и общественная воля, а вторые — те места, где принимаются политические решения» [Там же], и именно их взаимодействие следует изучать.

5. Введенные Хабермасом позднее понятия «альтернативных общественостей» и «глобальной публичной сферы» Фрэйзер заменяет другими — «подчиненные контробщественности» (*subaltern counterpublics*) и «транснациональная публичность» (*transnational publicity*). Эта замена поясняется Э. Аллен таким образом: «Хабермас обеспокоен тем, что возникающие коммуникативные структуры неформальной глобальной публичной сферы не могут стать эффективными, пока не учреждены конституционно механизмы для перевода общественной воли, сформированной в таких сферах, в обязывающую политическую силу. ...Структура транснациональной и глобальной публичной сферы дает преимущество элитам, которые имеют материальные и символические ресурсы, обладают необходимыми языковыми навыками, в том числе общаться на английском. В свете масштабного глобального неравенства остается лишь усомниться, смогут ли мнения и воли, обсуждаемые и сформированные в возникающих транснациональных и глобальных публичных сферах, быть легитимными, в том смысле, что они должны включать все заинтересованные стороны и гарантировать подлинное равенство участия для всех. Возникает в принципе вопрос, не является ли теория общественности сама слишком укорененной в контексте европейского просвещения и потому слишком увязанной с наследием колониализма и империализма, чтобы действительно прочувствовать эти конфликты» [Там же, 825–826].

Апология буржуазной публичной сферы в ее изначальном виде, оплакивание ее искажения массовыми обществами и медиатизацией, более того, сам проект поиска правил для глобальной публичной сферы оказываются, с точки зрения Э. Аллен, сомнительными, поскольку «мы должны преодолеть убежденность в том, что мы знаем, как включение и равенство в контексте неоколониальных и неоимпериалистских властных отношений возможны, что мы знаем, какие формы оно примет, и какие правила и процедуры должны определять его, ибо это скорее затемнит, нежели прояснит идеологическую природу и функции

нашего нынешнего понятия публичной сферы» [6, 827]. Критическая рациональная общественность, буржуазная ли, глобальная ли, если и может служить опорой легитимности, то в лучшем случае лишь одной из ее подпорок, поскольку может предоставить канал, через который сопротивляющийся подавлению, «нерациональный» (по европоцентричным критериям), заглушаемый и обделенный общественный элемент может быть включен в политику. Рациональность же последней, т. е. рациональность политики, скорее (западная) самоутешительная иллюзия, маскирующая реальные властные асимметрии.

Если «критический реализм» оценки идеи общественности у Э. Аллен еще сохраняет некий реформистский запал и отстаивает ценность большего равенства, большей справедливости, большей рациональности, при всей условности последней, то реализм Дж. Мэнсбридж можно назвать «циническим». Мэнсбридж противопоставляет хабермасовскому видению политики, как «политики, направленной на создание общего блага» (a politics aimed at forging a common good), альтернативное понимание — «политику, направленную на законное удовлетворение эгоистических интересов и обеспечение договоренностей конфликтующих сторон» (a politics aimed at legitimately pursuing and negotiating conflicting self-interests) [17, 709]. Тем самым критик исходит из иного видения властных отношений (не сотрудничество в общем деле, а борьба за долю ресурсов), иного видения права (законы основаны не на универсальном разуме, но являются компромиссом, навязываемым всем в балансе сил) и иного видения легитимности общественного порядка (утверждение некой — скорее своей, нежели идеалистической «общей» — воли ненасильственно, независимо от содержательной части дискуссии, будь то поиск общего блага или достижение баланского компромисса).

По мнению Мэнсбриджа, Хабермас в работе «Между фактами и нормами» сам частично отходит от идеалистического видения общественности: «Он видел лишь две возможности для достижения общего интереса в сегодняшнем многообразии соперничающих интересов: рост благосостояния, который мог бы снизить “антагонизм соперничающих потребностей до такой степени, что возможность взаимного удовлетворения становится достижима”, и общий интерес каждого на планете в предотвращении “глобального самоуничтожения”. “В отличие от идеи буржуазной общественности в период ее либерального становления, — с надеждой заявил Хабермас, — эти цели и сам процесс рационально-критического обсуждения “нельзя отбросить как идеологию”» [Там же, 796]. Этот отход свидетельствует не столько о том, что подход Хабермаса изначально неверен, сколько о том, что он переоценил возможности одного способа легитимации: «Ошибка Хабермаса, по моему мнению, заключалась в том, что он, заместив волю регулятивным идеалом разума, с вытекающими из этого замещения требованиями общего интереса, открытого доступа, подчинения лишь лучшему аргументу, отсутствия господства (power), посчитал его единственным регулятивным идеалом, который может легитимировать государственное принуждение в осуществлении закона. Этот регулятивный идеал применим лишь там, где по конкретному вопросу члены политии имеют интерес, близкий к “общему” (general) интересу. Мы нуждаемся в других регу-

лятивных идеалах по многим другим вопросам в континууме от общих (common) до соперничающих интересов» [17, 796]. Этот континуум регулятивных идеалов соответственно может распространяться от «переговоров, направленных на объединение» («integrative negotiation») и «переговоров, направленных на полноценное сотрудничество» («fully cooperative negotiation») до «честного эгоистического торга» («fair strategic bargaining») и «честной борьбы» («fair struggle»).

Выводы, которые делает Мэнсбридж, далеки от оптимистических: «Регулятивные идеалы в честной борьбе, как и другие упомянутые идеалы, не могут быть целиком реализованы, поскольку равенство сил достижимо не более, чем полное отсутствие власти... Понятие честной борьбы может таким образом служить регулятивным идеалом демократии, хотя скорее состязательной (adversary), нежели совещательной (deliberative) демократии, и приближение к этому идеалу будет генерировать реальную, пусть и относительную, легитимность принимаемым решениям... Никогда реальная демократия не сможет соответствовать какому-либо из идеалов. Потому никакая демократия не может быть совершенно легитимна, ее легитимность будет оцениваться в категориях “в большей степени” или “в меньшей степени”» [Там же, 797–8]. «Публичная сфера» Хабермаса, «общественность» и «общий интерес», составляющие основу концептуального аппарата для осмыслиения легитимности политики, проистекающей из рациональности, предстают как чрезмерно идеализированные и прекраснодушные средства для обоснования необходимости таких чисто технических элементов демократии, как публичность и прозрачность государственного управления.

Осознавая и принимая в принципе высказанную критику идеи общественности и публичной сферы в версии Хабермаса, должны ли мы действительно согласиться с последним выводом о том, что рациональность и рациональная легитимность политики должны быть если не отброшены, то существенно потеснены в своих притязаниях, признавая вслед за Э. Аллен и Дж. Мэнсбридж, что публичная сфера может быть лишь дополнительным каналом включения граждан в политику или лишь одним из регулятивных идеалов политики? Ведь тогда со всей остротой встает вопрос о том, какими теоретическими и понятийными ресурсами мы обладаем для формулирования нашего «общего» и для видения нас как общества? Что будет местом производства общественной связи и кто будет ответствен за ее осмысление, если не публичная сфера и не рационально-критически рассуждающая общественность?

Насколько удовлетворительными в ответе на этот вопрос могут быть предложенные выше дополнения к концепции публичной сферы: от настораживающее этатистского у Шейермана (государство благосостояния, в котором слились социальное и государственное, должно взять на себя функции публичной сферы) до чрезвычайно институционально неустойчивого у Норваль (публичная сфера в новых медиа) и несомненно критического, но сомнительно рационального у Аллен (контробщественность и транснациональная публичная сфера)? Я вернусь к этому вопросу позднее, но другой — методологический — вывод, который можно сделать из этих ретроспективных оценок концепции Хабермаса,

будет заключаться в том, что исследовательский интерес следует перенести с собственно института публичной сферы, традиционные контуры которого все более расплывчаты, на другие объекты. В частности, вследствие размывания механизмов, формировавших классическое буржуазное общественное мнение, Норваль, например, предлагает основное внимание обратить на субъективность, именно она становится в поздней модерности «полем битвы дискурсов», именно на уровне индивидуальных навыков восприятия и оперирования идеями следует изучать работу идеологий — ценностных рационализаций.

Тот же подход предлагается в новых направлениях общественных наук: антропологии нравственности [21, 25] и социологии критической способности [8, 22], о которой я уже высказывался [4]. Так, Дж. Зигон считает, что этнография морального выбора (*moral breakdown*) обнаруживает, на примере анализа отношения ко лжи двух молодых девушек-москвичек, что индивиды скорее пользуются ценностями, т. е. избегают «сильной приверженности» той или иной связной ценностной модели, маскируют и оправдывают свои отступления от декларируемых ценностей, манипулируют фактами своего поведения и их интерпретациями, «подгоняя» одно к другому, подавляют и изменяют собственные воспоминания о поступках [26].

Таким образом, изучение идеологий как систем социального воспроизведения [3] переформатируется как изучение практик оправдания и обоснования, осуществляемых индивидами на уровне субъективности и интерсубъективного взаимодействия, понимание же идеологий как связных ценностно-рациональных моделей заменяется на понимание идеологий как репертуаров идей и ценностей. Соответственно идеологии как механизмы подавления и маскировки («механизмов духовного насилия», классового господства, государственной мобилизации и т. п.) становятся ресурсами для формулирования требований и притязаний индивидами, которые не столько объекты манипуляции неких таинственных идеологов-кукловодов, сколько «активные пользователи» и «компетентные потребители» идейных продуктов, символов и идентичностей как в политике, так и вне ее.

Чрезвычайно интересным примером здесь может послужить изучение эволюции «советской субъективности», обзор которого предлагает Ч. Чаттерджи [9]. По мере углубления изучения процессов исторических изменений советской субъективности возникали все новые модели «самости»: а) «тоталитарная самость», которая билась между конформизмом и сопротивлением тоталитарному режиму; б) «прагматичная самость», стремящаяся выжить в условиях насильственной модернизации и в качестве стратегии самосохранения адаптирующая самопонимание к доминирующему дискурсам (*'usable self'*); в) «автономная самость», в более широком контексте модернизации дисциплинируемая к саморефлексии, саморасшифровке, к «работе над собой»; г) «нормативная самость», порождаемая дискурсами модернизации и приобретающая «агентность, которая по сути не автономна, но произведена и находится в непрерывном взаимодействии с идеологией» [Там же, 979], потому «лишенная какого-либо понимания, что составляет полноценную жизнь... не верящая, что личные отношения, семья, дом могут быть источниками смысла и саморазвития» [8, 980];

д) «банальная самость», которая обнаруживает сферу домашнего и частного как полноценное пространство самореализации, отстранившись от идеологического и публичного; е) «противоречивая самость», которая «обладала противоречивым мироощущением и выражала смешанные чувства, когда ей приходилось обеспечивать свои жизненные потребности, интерпретировать культурные коды, создавать самопонимание в диалоге с государственными и общественными предписаниями» [9, 986]⁴.

В целом, заключает Чаттерджи, «партийные и государственные деятели, как и чиновники западных государств благосостояния, пытались создать дисциплинированных и современных граждан на заводах, в колхозах и трудовых лагерях, а также культурных и разборчивых социалистических потребителей дома. Их проект, как и другие попытки построить утопию модерности, не достиг своих целей и вместо этого породил новые и неожиданные идентичности. ...Возможно, если мы преуспеем в том, чтобы расположить советскую субъективность в континууме от домашней среды, малого близкого коллектива до более широких общественно воображаемых реальностей класса, национальности, гендера, религиозных конфессий и гражданства, и проанализируем, как происходит ее взаимодействие с дискурсами и практиками государства, мы сможем лучше выявить набор возможных действий индивида, заданных его сложными и многочисленными субъективными позициями» [Там же, 985–986].

Как мы видели выше, Норваль полагает, что открытость, плуралитм, доступ к каналам коммуникации являются средой взращивания «демократической субъективности», созревания субъекта, автономного, укорененного в своей экономической самостоятельности и интеллектуальной самодостаточности. Однако приведенные в обзоре Чаттерджи историко-специализированные исследования показывают, на очень подходящем примере позднего СССР и новой России, в которых постепенно снимались ограничения, как нарастают в условиях увеличения открытости, плуралитма и социальных возможностей после падения СССР деполитизация, деидеологизация, приватизация субъективности⁵. А. Юрчак обнаружил эти тенденции уже в позднесоветский период, когда в ходе

⁴ Я сохраняю кальки английских наименований, чтобы остаться верным тексту авторов обзора, а не авторов, обозреваемых и вводивших тот или иной термин.

⁵ Интересными в этой связи представляются выводы А. Хоннета, который именует подобные же тенденции «парадоксальной индивидуализацией». Под этим он понимает ситуацию, в которой в условиях действительного расширения социальных возможностей индивидов возникают новые формы подавления и страдания, опирающиеся именно на свершившуюся индивидуализацию [14]. Ср. также высказанные ощущения относительно парадоксов либерализации Б. Грайса: «Невозможен героизм, невозможна креативность как акт свободы. Проблема заключается в том, что, если ты живешь в правовом обществе, ты на все должен получить разрешение, а для этого ты должен кого-то попросить. Конечно, может быть, тебе и разрешат, не обязательно тебе автоматически откажут. Но даже если тебе разрешат — ты находишься в зависимости от разрешающего. Проблема заключается в том, что ты не являешься субъектом решения того, есть ли то, что ты делаешь, нарушение свободы другого или нет. То есть тебя об этом, собственно, не спрашивают — ты спрашиваешь об этом других. Ты имеешь дело, таким образом, не со свободой других, а с... Ты имеешь дело с бюрократией. Если мы говорим о двух типах свободы: освобождении от чужого проекта и реализации своего проекта, — то для того, чтобы реализовать проект сегодня, нужно получить на него отзывы, финансирование, разрешения от самых различных организаций» [2].

«перформативного перелома»⁶, идеология утратила свое прямое значение и стала использоваться и восприниматься индивидами как средство для осуществления своих целей, придавая новые, непредвиденные партийными идеологами смыслы традиционным формулировкам и ритуалам [24]⁷. Довольно забавно, что, полемизируя с Юрчаком, К. Хамфри показывает жизненный путь честного приверженца идеологии на вершине политической иерархии в СССР (Г. Л. Смирнова), вовлеченного в ценное, но не публичное (!) осмысление общественного развития [15], тем самым лишь подтверждая, что «идеологические битвы» здесь разделялись на формальные публичные и потому перформативные и творческие непубличные и потому смыслоориентированные.

Однако, принимая и высоко оценивая исследовательские результаты этих антропологических работ о нашей постсоветской ситуации, в целом приходится сделать вывод, что такой подход, выбивая почву из-под институционального рассмотрения публичной сферы, перенося фокус на субъективность, если и может сохранить социологическую категорию «коллективная идентичность», то обессмысливает традиционную категорию политической философии «коллективная воля», тем самым растворяя легитимность, проистекающую из рационально-критического обсуждения общественностью и сформированного ею сознательного согласия на ту или иную политику (Ю. Хабермас) и рациональность политики как публичного (общего) дела, *«res publica»* (П. Вагнер)⁸. Для последнего формулы эволюции политической модерности можно считать следующие: новые идеи/идеологии порождают политическую практику, в том числе революционную, затем следует институционализация и рождается новая политическая форма. Конкретнее: возникновение идеи народного суверенитета (самоопределения) и, следовательно, демократической легитимности политики приводит к революциям, которые сместили старые порядки династической легитимности; возникают новые национальные государства, в рамках которых сформировалось самопонимание модерных политий на основе четырех нарративов, а именно прав человека, революции, демократии и национального государства [23].

Публичная сфера и для Хабермаса, и для Андерсона, и для Вагнера — необходимый элемент модерной политической формы, ибо именно она является пространством самоопределения коллектива, т. е. механизмом конституирования об-

⁶ «...Перформативное повторение точных формул авторитетного дискурса лишило прямой (constative) смысл, связанный с презентацией, основы, сделало его все более непредсказуемым, открытым новым истолкованиям, позволяя возникнуть новым неожиданным значениям, отношениям, образом жизни в различных контекстах повседневности» [24, 60].

⁷ «Взрослея исключительно в период брежневского правления, они не пережили никаких существенных изменений советской системы и образа жизни вплоть до перестройки и стали чрезвычайно умелы с ранних школьных лет в перформативном воспроизведении форм авторитетного дискурса. В то же время они активно втянулись в создание новых разнообразных занятий, идентичностей, форм жизни, которые были возможны благодаря авторитетному дискурсу, но не были им заданы» [Там же, 32].

⁸ Вагнер видит задачу политической философии как «анализ возможностей действовать сообща, с целью воспроизведения общего видения мира (common reference to the world) в современных условиях» [23, 102].

щественной связи⁹. «Субъективистский» подход антропологов заставляет задуматься о смене моделей легитимности, о других вариантах мыслить общее. Помимо «цинического» реализма Мэнсбридж, альтернативой политико-философскому видению общественной связи является недавняя работа опирающегося на методологию Фуко С. Кольера, который пишет: «Наиболее известна позиция Фуко о власти, которую он изложил в “Надзирать и наказывать” и сопутствующих работах. Там Фуко атакует господствующий подход к изучению властных отношений, который исходил из факта государства и суверенитета, и исследовал, каким образом власть проистекла из государственного суверенитета и достигала низов через посредство закона.

В пику этому господствующему подходу Фуко призвал к “политической философии, которая не строится ни на проблеме суверенитета, ни, следовательно, на проблемах закона и запрета”. Его прославленным ответом на этот вызов была “микрофизика” властных отношений, которую он разработал касательно надзора (*discipline*)¹⁰ — характерной для модерности формы власти. В отличие от суверенной власти надзор не проистекает из единого источника, но циркулирует по капиллярам коллективной жизни. Он не подавляет, но производит и углубляет. Он не применяется помимо знания и вопреки ему, но через знание, задавая условия возможности определенных способов мыслить и действовать» [10, 81].

В ходе формулирования своей топологии властных отношений¹¹ Кольер предлагает, следуя Фуко, обратиться к «микроэкономике» управления [11, 23], аналитически «собирать» (*assemblages*) конкретные ситуации проявления власти и управления, а также случаи критического пересмотра субъектами сложившихся ситуаций и программирования новых возможностей. Предположительно сама ткань социальности становится объектом изучения¹². Так, в своем исследовании «Постсоветское социальное: неолиберализм, социальная модерность, биополитика» Кольер ставит себе задачу изучить «возникновение советской биополитики, сосредоточиваясь на проекте советской социальной модерности: не модернизации общества, как будто “общество” предсуществует и только дожида-

⁹ Ср. ощущения касательно коллективного рационального самоопределения Б. Грайса: «С одной стороны, *свобода* к полностью утратилась, с другой — *свобода от* постоянно растет. Я думаю, что в последнее время оказалась захваченной сfera логического и риторического принуждения. Когда современный человек слушает что-нибудь хоть в какой-то мере разумное, он это автоматически отвергает просто на том основании, что это его убеждает, поскольку и в этом сказывается момент логического принуждения... Поскольку в условиях либерализма любой проект может быть реализован только тогда, когда другие люди с ним согласны. Но на определенной стадии развития *свободы от* такое согласие становится невозможным, и поэтому никакие проекты не могут быть реализованы. То есть каждый живет со своим проектом, который априори не может стать общим» [2].

¹⁰ Или, иначе, «дисциплинирование».

¹¹ «Топологический анализ, напротив, проясняет гетерогенное пространство, учрежденное множеством факторов и несводимое к данной форме знания-власти. Он более подходит для изучения динамичного процесса, в котором существующие элементы, такие, как техники, схемы анализа, материальные формы, подхватываются и переформатируются и в котором создаются новые комбинации элементов [10, 99].

¹² «Конкретная конфигурация коллективной жизни, в сабирании (*assembly*) которой градостроительство играло центральную роль» [11, 22].

ется, чтобы его модернизировали, но форм истинности, типов программирования и аппаратов, посредством которых такие фигуры, как общество и экономика, “отливались”, по выражению Фуко, в виде объектов знания и вмешательства в советской России» [11, 19–20].

Таким образом задается методологически определенная онтология, которая делает коллективы фикциями социологического и бытового воображения («дeregulates», «размазывает» социальность), декомпозирует институты, превращая их в «собирательные понятия», и опирается на понятия — такие, как «микроэкономика», индивидуальные стратегии (рефлексии и программирования), прагматическое понятие мышления¹³, которые параллельны, если не идентичны, понятиям, составляющим основной концептуальный аппарат той неолиберальной идеологии, которую автор планирует критически анализировать¹⁴. Субъективизирующие подходы являются «вмешательством на уровне политической онтологии», как Кольер именует неолиберализм [Там же, 23]. Заимствуемый из поздних работ Фуко методологический аппарат приводит к такому пониманию модернной социальности, которое делает невозможной политическую модернность как сформулированный рациональной волей самоопределяющегося коллектива «проект модерна». Оптика социальной модернности превращает самоопределяющийся политически (по вопросам, затрагивающим всех, рационально решаемым в свете общего блага) коллектив — «политию» — в «обреченное сообщество» (*community of fate*)¹⁵, объединенное лишь социальной инфраструктурой канализации, отопления и электричества. Изучение реальной инфраструктуры социального и конкретные включения в нее индивидов (*assemblages*), которые, как субъективности, могут, руководимые индивидуальными стимулами (*individual actor's incentive*), делать тот или иной индивидуальный выбор, создает «слепое пятно», делает невидимой концептуальную инфраструктуру, которая позволила бы индивидам помыслить себя обществом и совершить общий выбор. Особо это различие заметно, если взять в качестве примера социальное время: расписания могут структурировать и «собирать» наше коллективное взаимодействие, но они не могут придать смысл нашей коллективной жизни.

¹³ «Задачей, таким образом, является изучить этих акторов как мыслителей, а мышление изучать не как абстрактную рефлексию и не как фиксированную “систему” или эпистему, но как практико-критическую деятельность, где, следуя П. Рабиноу, “исторические стечения обстоятельств становятся концептуальными и практическими проблемами”» [11, 28].

¹⁴ «Совершенно непродуктивно оценивать сущность неолиберализма на основе какого-либо единичного примера. Неолиберализм — это то, чем он становится в критическом размышлении и в программах реформирования. Мы можем постичь его, только изучая его, в их действительной реализации» [Там же, 250].

¹⁵ «Некоторым невероятным образом именно эти приземленные социо-технические системы (водопровод, отопление, выплаты бюджетникам. — А. М.) и были тем “общим”, что делало Белую Калитву общиной единой судьбы (*community of fate*)» [Там же, 7].

1. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001.
2. Бойм С., Гроис Б. О свободе // Неприкосновенный запас. 2003. № 1 (27) [Электронный ресурс]. URL: <http://magazines.russ.ru/nz/2003/1/boim.html>
3. Логинов А. В. Онтологический статус идеологии в современности // Изв. Урал. гос. ун-та. Сер. 3 : Общественные науки. 2010. № 4 (83). С. 15–29.
4. Меньшиков А. С. Как теоретизировать политику? // Полис. Политические исследования. 2010. № 1. С. 82–101.
5. Меньшиков А. С. Теория модерности и социальная интеграция // Изв. Урал. гос. ун-та. Сер. 3 : Обществ. науки. 2011. № 3 (94). С. 39–52.
6. Allen A. The Public Sphere: Ideology and/or Ideal? // Political Theory. 2012. 40 (6). Special Feature: 50th Anniversary Symposium on the Structural Transformation of the Public Sphere by Jürgen Habermas. P. 822–829.
7. Bernstein R. J. The Normative Core of the Public Sphere // Political Theory. 2012. 40 (6). P. 767–778.
8. Boltanski L., Thévenot L. On Justification, Economies of Worth. Princeton : Princeton UP, 2006. [De la Justification. Les Economies de la Grandeur. P. : Gallimard, 1991].
9. Chatterjee C., Petrone K. Models of Selfhood and Subjectivity: The Soviet Case in Historical Perspective // Slavic Rev. 67:4. 2008. P. 967–986.
10. Collier S. J. Foucault's Analysis of Political Government beyond "Governmentality" // Theory, Culture and Society. 2009. 26 (6). P. 78–108.
11. Collier S. J. Post-Soviet Social: Neoliberalism, Social Modernity, Biopolitics. Princeton, NJ : Princeton UP, 2011.
12. Cooke M. Realism and Idealism: Was Habermas's Communicative Turn a Move in the Wrong Direction? // Political Theory. 2012. 40 (6). P. 811–821.
13. Habermas J. Structural Transformation of the Public Sphere. A Inquiry into a Category of Bourgeois Society / Tr. by Thomas Burger. Cambridge Mass. : The MIT Press, 1992 (англ. пер. — 1989, 1-е изд. в оригинале — 1962).
14. Honneth A. Organized Self-Realization. Some Paradoxes of Individualization // European J. of Social Theory. 2004. 7 (4). P. 463–478.
15. Humphrey C. The 'Creative Bureaucrat': Conflicts in the Production of Soviet Communist Party Discourse // Inner Asia. 2008. 10:1. P. 5–35.
16. Katzenelson I. On Liberal Ambivalence // Political Theory. 2012. 40 (6). P. 779–788.
17. Mansbridge J. Conflict and Commonality in Habermas's Structural Transformation of the Public Sphere // Ibid. P. 789–801.
18. Norval A. "Don't Talk Back!" — The Subjective Conditions of Critical Public Debate // Ibid. P. 802–810.
19. Ibid.
20. Scheuerman W. E. Good-Bye to Radical Reformism? // Ibid. P. 830–838.
21. The Anthropology of Moralities / ed. Monica Heintz. Berghahn Books, 2009.
22. Wagner P. After Justification: Repertoires of Evaluation and the Sociology of Modernity // European J. of Social Theory. 1999. 2 (3). P. 341–357.
23. Wagner P. Modernity as Experience and Interpretation. A New Sociology of Modernity. Cambridge : Polity, 2008.
24. Yurchak A. Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation. Princeton : Princeton UP, 2005.
25. Zigon J. Within a Range of Possibilities: Morality and Ethics in Social Life // Ethnos. 2009. 74:2. P. 251–276.
26. Zigon J. Making the New Post-Soviet Person: Moral Experience in Contemporary Moscow. Leiden : Brill, 2010.

Рукопись поступила в редакцию 6 декабря 2012 г.

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ПОЛИТОЛОГИЯ

УДК 321.7 + 342.53 + 342.34

А. А. Керимов

ДЕМОКРАТИЯ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

В статье рассматривается соотношение понятий «демократия» и «парламентаризм». Автор на основе анализа различных подходов в интерпретации демократии и парламентаризма устанавливает взаимосвязь этих двух социально-политических явлений, подчеркивает особую роль демократии в становлении и развитии парламентаризма.

Ключевые слова: демократия, парламентаризм, парламент, народное представительство, принцип разделения властей.

С точки зрения политической теории парламентаризм является одной из форм представительной демократии. В этом смысле парламентаризм фактически отождествляется с демократическими ценностями, сложившимися за многие столетия, такими, как гражданское общество с высокой степенью правовой культуры; утверждение идеи верховенства закона; приоритет прав личности в отношениях с государством; создание соответствующей системы ценностей, которая бы исключала противоречия общественных и личных интересов при осуществлении государственной власти.

Подлинный парламентаризм возможен только при демократии, когда парламент — важнейший элемент парламентаризма — находится «ближе, чем другие институты, к тому месту, где происходит слияние теории демократии и демократической практики» [11, 16], и не формально, а на деле выступает в качестве высшего представительного органа власти.

Парламентаризм можно определить как «демократическую систему организации и функционирования высшей государственной власти, базирующуюся на принципах разделения властей и верховенства права, в которой парламент с его

законодательной, представительной и контрольной прерогативами занимает ведущее положение в деле утверждения и развития социальной справедливости» [18, 714]. Но иной раз под парламентаризмом понимают только практику функционирования парламента. Хотя достаточно часто можно встретить и расширенную интерпретацию парламентаризма, его отождествление с представительной демократией в целом, трактовку парламентаризма как «способности представительного органа государственной власти свободно обсуждать и принимать политические решения в форме законов» [5, 83]. Можно соглашаться или оспаривать это суждение, однако бесспорно одно: не бывает демократии без парламентаризма, а парламентаризма без парламента.

Парламентаризм возникает и существует тогда, когда парламент наделен полномочиями законотворчества, правом формирования правительства и контроля над ним, возможностью отправки в отставку правительства, а также главы государства (или монарха в случаях парламентской формы монархии, когда монарх занимает престол не по наследственности, а по избранию, зачастую тем же парламентом).

Парламентаризм включает в себя кроме парламента еще и целую систему политических, правовых, моральных норм и факторов различного уровня, регулирующих жизнь общества. Следовательно, демократизация невозможна без развития и совершенствования представительных форм осуществления власти различными социальными слоями общества, т. е. без парламентской демократии.

Говоря о демократии, мы имеем в виду представительную демократию — выборные органы парламентского типа как на общенациональном уровне, так и на региональном. Именно эти органы, по мнению Л. А. Кравченко, «носят название представительных, и их наличие, значимость и активная роль являются важным показателем демократического режима в стране. В этом плане развитая представительная демократия — синоним парламентаризма» [9, 23].

Рассуждая о характере представительного правления, составляющего сущность парламентаризма как института политической системы, Дж. Ст. Милль подчеркивал значимость непосредственного участия народа в законотворческой деятельности. Он считал, что участие народа в законотворчестве будет серьезной защитой от засилья бюрократии, которая стоит прежде всего на страже собственных интересов. Действительно, либеральный принцип представительного правления исторически связан со становлением парламентаризма и обеспечивает возможность общественного контроля над правительственныеими органами силами парламента.

Примечательна точка зрения на систему народного представительства и русского правоведа рубежа XIX–XX вв. Н. М. Коркунова, который сводил все ее формы к трем основным типам: «1) представительство по личному праву; 2) представительство по назначению правительства; 3) выборное представительство» [7, 420].

Представительство по личному праву (так называемое «представительство сословий») было распространено в Средние века. В современных условиях, когда по существу сословия исчезли, данная форма представительства практически перестала существовать.

Следующий тип — представительство по назначению правительства, т. е. назначение того или иного лица правительством для выполнения им каких-либо государственных функций.

Наиболее распространенной и предпочтительной системой является система выборного представительства. Она дает реальную возможность влиять на состав государственных учреждений вследствие изменений общественных интересов и настроений общества. Лишь выборное народное представительство может гарантировать, чтобы право, создаваемое государством, всегда находилось в соответствии с народным правосознанием — источником всякого права.

По нашему мнению, данную классификацию следует несколько детализировать. Выборное представительство необходимо понимать в широком и узком смысле. В первом случае в систему представительства будут входить все государственные органы, должностные лица, в избрании которых так или иначе принимает участие население государства. В основу подобного представления закладывается признак выборности органов государственной власти гражданами. Во втором случае под представительством будет пониматься создание коллегиальных органов, состоящих из избранных народом представителей, т. е. органов, которые относят к законодательной ветви власти. Именно выборное представительство лежит в основе современной парламентской (партийной) системы, которая исходит из того, что «народные представители, являясь более авторитетными и более правильными, чем кто-либо другой, выражителями народных нужд и желаний, могут с наибольшим основанием решать государственные дела, а также претендовать на выбор тех лиц, которым поручается непосредственное управление» [10, 4].

Сущность принципа представительности, однако, не исчерпывается делегированием полномочий. Это только одна смысловая сторона понятия «представительность». Российские исследователи Н. И. Бирюков и В. М. Сергеев, так же как и английский исследователь проблем парламентаризма А. Бирч, выделяют три смысловых значения этого фундаментального принципа парламентаризма: «делегирование полномочий; “типичность”, то есть обладание типичными, средними характеристиками некой группы лиц; символ» [2, 14]. И. В. Гранкин также говорит о комплексном характере представительства, подчеркивая, что «подлинное народное представительство как реальный символ демократии должно включать не только право на свободные выборы доверенных лиц и делегирование полномочий, но и реальную возможность контроля деятельности своих уполномоченных» [3, 36].

Состав парламента определяется волеизъявлением народа. Это означает, что верховная власть принадлежит народу, что парламентская власть выступает как власть, уполномоченная народом — сувереном власти. В силу этого парламент олицетворяет народный суверенитет. Он призван выражать народную волю и субординировать интересы. А что касается «типичности», то здесь речь идет о том, что парламентское представительство в совокупности должно являть собой социум в миниатюре. Следовательно, «только при таком характере представительства парламент способен адекватно отразить интересы народа,

учесть все многообразие настроений и мнений людей, весь спектр культур и традиций, в особенности если избирательный округ многонационален» [6, 50].

Для глубокого понимания сущности демократии немаловажное значение имеет правильное толкование представительности как «символа». Парламент символизирует демократию, и в случае угрозы демократическому строю именно парламент как символ этого строя первым оказывается под ударом.

Таким образом, участие граждан в формировании парламента является лишь «внешней» характеристикой парламентаризма, в то время как его базовым компонентом выступают прежде всего функционирование представительных учреждений и характер их взаимодействия с другими элементами политической системы, а также с гражданским обществом.

Демократически устроенное общество, отмечает Г. Г. Диленский, «это в первую очередь общество, обладающее институтами, позволяющими ему в той или иной степени влиять на власть и политику, общество, предоставляющее людям, с одной стороны, определенную степень свободы самоопределения личности... с другой — защиту от авторитарного произвола власти имущих, жизнь людей в рамках и под защитой закона» [4, 15]. Как видим, эти, а также многие другие трактовки демократии достаточно далеки от классической традиции. Реальное народовластие — недостижимая цель, хотя бы потому, что неравенство — естественное качество человеческого общества.

По замечанию Ю. Хабермаса, «демократический законодатель издает свои законы, имея в виду только большинство. Однако решение большинства может приниматься только таким образом, что его содержание считается мотивированным итогом дискуссии, которая как бы условно завершается, поскольку необходимо, наконец, принять решение» [15, 74]. Демократию можно идентифицировать, поставив вопрос: кто управляет народом, то можно говорить об истинной демократии с точки зрения классической античной и просветительской традиции. Если поставить вопрос иначе (как управляет?), то при ответе существует множество подходов: «демократия — это правление народа, избранное народом и для народа (Авраам Линкольн — 16-й президент США)» [13, 147], «демократия — власть политиков в интересах народа» [17, 352]. Но в любом случае нет сомнения в том, что свобода граждан может быть обеспечена лишь в том государстве, где законодательная, исполнительная и судебная власти действуют в строго определенной области и взаимно ограничивают друг друга, т. е. в рамках реализации на практике принципа разделения властей.

В качестве основополагающих принципов, раскрывающих сущность демократии, в современной политологической литературе выделяют: «1) реализацию на практике принципа разделения властей; 2) наличие высшего законодательного органа, избираемого народом; 3) наличие, кроме законодательного органа, и других избираемых органов власти и управления, вплоть до самоуправления; 4) всеобщее, равное, свободное избирательное право; 5) определение исхода дискуссий при принятии решений по большинству» [12, 94].

Из приведенных выше признаков демократии видно, что одним из основных ее ценностей, с которым неразрывно связан парламентаризм, является принцип разделения властей.

Возникнув как идея, концепция разделения властей за длительную историю своего существования постепенно превратилась в политический, а затем и в конституционный принцип многих государств.

Принцип разделения властей преследует несколько целей. Смысл его заключается в том, что каждая ветвь власти предназначена для осуществления определенных функций государства и не должна заменять, подменять другие сферы. Реализация на практике принципа разделения властей предполагает создание и функционирование системы сдержек и противовесов, недопущение сосредоточения всей полноты государственной власти в рамках какой-либо одной ветви, установление единовластия, а говоря иначе, диктатуры одной системы.

В западной политической традиции проблема разделения властей часто сводилась к стремлению различных социальных слоев сохранить свои привилегии в условиях гражданского общества. С этим связаны острые дискуссии о соотношении палат, распределении полномочий и многие другие. Однако специфика подобных дискуссий состояла в том, что они разворачивались в рамках более и менее оформленного гражданского общества и институтов парламентаризма, а способом разрешения конфликта становились реформы избирательной системы, парламентские реформы, институциализация политических сил в рамках парламентской системы разделения властей и, наконец, появление эффективной системы внутрипарламентского регулирования через изменяющийся баланс сил парламентских фракций, партийных конусов, группирующихся вокруг известных в стране лидеров.

Разделение властей как политический феномен происходит не в силу традиционности данного принципа организации государственной власти, а объективно проистекает из невозможности осуществления власти из единого центра, единым властвующим субъектом. Необходимо учитывать и тот факт, что народ в различных общественно-экономических формациях неоднороден. Социальные классы и слои общества наряду с общими интересами имеют и специфические, которые могут быть представлены и реализованы через различные государственные структуры. Поэтому разделение властей на отдельных этапах общественного развития возможно не только в организационно-правовом, но и в социально-политическом смысле. В демократическом государстве народ, оставляя за собой конституционное право осуществлять власть и решать некоторые управленческие вопросы через институты прямой демократии, предоставляет значительный объем властных полномочий государственным структурам. Таким образом, объектом разделения являются не только функции, но и властные полномочия, что и дает право говорить о разделении властей.

Теория и практика разделения властей не предусматривает наделение какой-либо ветви государственной власти полномочиями и функциями верховной власти. Здесь нельзя не согласиться с точкой зрения, согласно которой «единство и целостность государственности не позволяют ставить вопрос о том, какая власть важнее и более “властная”. Ни одна из них не может существовать без двух других» [1, 28].

Таким образом, принцип разделения властей не отрицает единства власти. Он отрицает единовластие. Единство власти предполагает заинтересованное

сотрудничество, взаимодействие всех трех ветвей власти, недопущение сосредоточения всей власти в одной из ее ветвей, установления диктатуры.

Выяснение сущности парламентаризма требует и рассмотрения соотношения парламентаризма и форм государственного правления. На этот счет имеются разные точки зрения.

В научных работах для обозначения форм государственного правления довольно часто употребляются такие выражения, как «президентская форма правления», «парламентская форма правления». В зависимости от правового положения главы государства различаются две основные формы правления: монархическая и республиканская. В рамках этих двух форм правления на основании правового положения главы государства выделяют разновидности форм правления: в монархиях — абсолютная, дуалистическая, парламентская форма; в республиках — президентская, парламентская, президентско-парламентская и премьерско-президентская формы правления.

Анализ политологической литературы показывает, что не все исследователи согласны с вышеобозначенной классификацией форм правления. К примеру, Н. А. Сахаров считает, что «более корректно в плане научной терминологии говорить о президентской, полуправительственной, парламентской системах правления, нежели о разновидностях форм правления» [14, 3]. Нам же близка точка зрения, рассматривающая «республиканскую и монархическую формы правления как понятия родовые, а президентскую, полуправительственную, парламентскую — лишь как разновидности республиканской формы правления и соотношение между ними как между общим и особенным» [16, 3–5].

Таким образом, в обозначенном соотношении «форма правления — парламентаризм» форма правления (монархия, республика) является первичной. Парламентаризм же — одна из разновидностей форм правления, но не форма правления в юридическом смысле этого слова. Характерно, что в ряде стран парламентская система вполне сочетается с такой формой государственного правления, как монархия, и часто называется парламентской монархией.

Понимание парламентаризма только как разновидности форм правления явно недостаточно. Парламентаризм — явление многоплановое, имеющее сложную внутреннюю структуру, состоящую из взаимосвязанных элементов. Парламентаризм характеризует и организацию общественной жизни, достигнутый уровень обеспечения прав, обязанностей и свобод граждан, т. е. степень демократизации общества. О парламентаризме следует говорить лишь в связи с демократическим правлением, хотя парламент может существовать и в авторитарных режимах (например, в Уганде, Индонезии). Но сводить парламентаризм лишь к одной из форм правления, характеризующихся уровнем подчинения друг другу парламента, правительства и главы государства, явно недостаточно. В то же время парламентаризм, обладая некой универсальностью, способен обретать различные формы в зависимости от характера государственности, социально-политических и экономических условий. «Парламентаризм характеризуется исключительной гибкостью. Взаимоотношения правительства и представительства, — отмечает С. Котляревский, — могут принимать здесь

очень разнообразный вид... С ним в равной степени примирима и монархическая, и республиканская форма» [8, 58].

Таким образом, парламентаризм присущ только демократически развитым обществам, и правомерно говорить о нем лишь в том случае, если в политической системе общества реализован принцип разделения властей, где парламент по отношению к другим органам государственной власти занимает доминирующее положение и выступает в качестве высшего общенационального государственного органа народного представительства, в рамках которого происходит институционализация господствующих в обществе интересов, ориентаций и настроений. При этом парламент, осуществляя функцию соединения суверенитета народа с государственной властью, точно указывает на реальный источник власти, тем самым придает системе государственного управления демократичный характер, а самому парламенту — широкую социальную доступность и открытость.

-
1. Бачило И. Л. Факторы, влияющие на государственность// Государство и право. 1993. № 7.
 2. Бирюков Н. И., Сергеев В. М. Становление институтов представительной власти в современной России. М., 2004.
 3. Гранкин И. В. Парламент России. М., 1999.
 4. Дилигенский Г. Г. Что мы знаем о демократии и гражданском обществе // Pro et contra. 1997. Т. 2, № 4. Осень.
 5. Евзиров Р. Я. Парламентаризм и разделение властей в современной России // Общественные науки и современность. 1999. № 1.
 6. Керимов А. А. Понятие парламентаризма в российской политической науке // Изв. Урал. федерал. ун-та. Сер. 3. Общественные науки. 2012. № 2 (103).
 7. Коркунов Н. М. Русское государственное право. СПб., 1914.
 8. Комляревский С. А. Сущность парламентаризма // Новое время. 1994. № 14.
 9. Кравченко Л. А. Парламент как институт представительной демократии // Конституционное и муниципальное право. 2002. № 2.
 10. Мижсев П. Г. Парламентаризм и представительная форма правления в главных странах современной Европы. СПб., 1906.
 11. Политическая демократия и федерализм в России и Германии. Мюнхен ; Вюрцбург. 1999.
 12. Политология : энцикл. слов. / общ. ред. и сост. Ю. И. Аверьянова. М., 1993.
 13. Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. М., 1996.
 14. Сахаров Н. А. Институт президентства в современном мире. М., 1994.
 15. Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность // Сборник лекций, интервью. М., 1992.
 16. Хутинаев И. Д. Институт президентства и проблемы формы государства. М., 1994.
 17. Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М., 1995.
 18. Юридическая энциклопедия. М., 2001.

Рукопись поступила в редакцию 20 ноября 2012 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

УДК 327:355.01 + 355.4(470) + 94(470) “1920/1930”

И. Д. Панькин

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ НА ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ В СССР В КОНЦЕ 1920-х – 1930-е гг.

Основным тезисом автора является утверждение о том, что советская экономическая политика второй половины 1920–1930-х гг. формировалась с учетом тех изменений, которые происходили на международной арене. В статье анализируется дискурс, ведущийся в литературе по данному вопросу, и концентрируется внимание на военно-мобилизационном планировании, которое оказывало серьезное влияние на составление первых пятилетних планов развития народного хозяйства СССР.

Ключевые слова: внешнеполитический фактор, военно-мобилизационное планирование, научный и общеполитический дискурс.

В советское время причинами изменений в экономической и прежде всего промышленной политике Советского государства считались как внутриполитический, так и внешнеполитический факторы. В частности, при характеристике пересмотра заданий первого пятилетнего плана в сторону их значительного увеличения историки называли такие факторы, как «объективные потенциальные возможности и успехи в хозяйственном строительстве, новое соотношение классовых сил в стране, упрочение социалистического сектора, ранее невиданный энтузиазм народных масс — истинных творцов истории», так и действие ряда неблагоприятных факторов, в частности, «отставание ряда ведущих отраслей тяжелой индустрии и обострение международной обстановки (военные действия на КВЖД в июле 1929 г.)» [7, 33]. Особое внимание уделялось обострению советско-английских отношений во второй половине 1920-х гг., приведшему к разрыву дипломатических отношений между двумя странами весной

1927 г. Историки обвиняли Англию в «серезной и крайне опасной попытке развязать войну против Советского Союза силами объединенного антисоветского фронта» [9, 40].

В зарубежной историографии нет единства мнений по вопросу о степени влияния изменений в международной обстановке на корректировку экономической политики Советского государства и усиление военных приготовлений.

Эмигрантский исследователь В. Суворов (Резун) в начале 1990-х гг. указал на 1927 г. как на поворотный момент в изменении промышленной политики в СССР и выделил два момента, которые, по его мнению, предопределили этот поворот: окончательное укрепление единоличной власти Сталина и сделанный им вывод о неизбежности Второй империалистической войны вследствие обострения международной обстановки [23, 34]. Автор писал: «В 1927 г. Stalin заявил о том, что Вторая империалистическая война совершенно неизбежна, как неизбежно и вступление Советского Союза в эту войну» [Там же, 26]. Израильский исследователь Г. Городецкий считает, что поворот в экономической политике СССР наметился ранее весны 1927 г. Он пишет, что в Москве бдительно следили за намерениями Англии на протяжении 1925–1926 гг., но первые отчетливые признаки того, что консерваторы намерены пойти на разрыв торговых и дипломатических отношений с Советами, появились в конце февраля 1927 г. [28, 214].

Между тем шведский исследователь Л. Самуэльсон полагает, что хотя «военная тревога» 1927 г. создала политico-психологический климат, благоприятствующий формированию в тот период основ общегосударственного мобилизационного планирования, это все-таки предполагало «более удаленный временной горизонт» [29, 246].

В современной литературе по вопросу о влиянии внешнего фактора на экономическую политику Советского государства высказываются различные взгляды. Часть исследователей отстаивает традиционные подходы. Н. С. Симонов, подробно остановившись на фактах, которые свидетельствовали о нарастании военной угрозы для СССР со стороны империалистических держав в 1926–1927 гг., ввел в научный оборот источники, которые, по его мнению, зафиксировали усиление внимания со стороны высших партийных и государственных структур страны к вопросам усиления обороноспособности. По его данным, в июне 1927 г. Политбюро ЦК ВКП(б) и Совет труда и обороны приняли решение о немедленной разработке в наркоматах «(каждому по своей линии) мероприятий, способствующих поднятию обороны страны» [20, 61].

Л. В. Шубарина пишет: «Военная тревога (в 1927 г. — И. П.) вызвала повышенное внимание к проблеме развития оборонной промышленности у руководства Уральской области. Обладая значительной металлургической базой для развития оборонной промышленности, Урал не располагал машиностроительными предприятиями, работавшими на передовых для того времени технологиях и оборудовании» [26, 40]. Академик РАН В. В. Алексеев считает, что ситуация с промышленностью, которая сложилась в годы НЭПа, не могла «не тревожить большевистское руководство, которое с конца 1920-х гг. взяло курс на форсированное развитие промышленности». По его мнению, «с этого време-

ни промышленная политика вышла на передний край национальных интересов». Ученый подчеркивает, что этому способствовала новая обстановка в мире. Он пишет: «После очевидного затухания революционного подъема в европейских странах возобладала политика “осажденной крепости”, которая предполагала не только развитие классического набора отраслей промышленности, необходимого для поддержания обороноспособности страны в условиях враждебного окружения, но и востребовала существовавшие ранее разработки по освоению восточных районов страны. Промышленный Северо-Запад и Юг были стратегически уязвимы, в связи с чем сдвиг в размещении производительных сил на восток стал неизбежен по стратегическим соображениям» [1, 12–13].

О. Н. Кен подчеркивает, что, вопреки мнениям советских историков, «импульс к развертыванию стратегических оборонных работ был дан прежде, чем весной 1927 г. международное положение СССР серьезно осложнилось. В начале 1927 г., ожидая падения Шанхая, советское руководство имело основания полагать, что успех Гоминьдана подтолкнет британское консервативное правительство к уступкам сторонникам дальнейшего обострения отношений с СССР» [19, 20]. С. Т. Минаков отмечает, что в связи с нарастанием напряженности в советско-английских отношениях уже в декабре 1926 г. высшее политическое руководство обратилось к проблеме состояния подготовки СССР к войне. Автор ввел в научный оборот текст доклада начальника Штаба РККА М. Н. Тухачевского 26 декабря на заседании Политбюро ЦК ВКП(б), в котором прямо признавалась неготовность Красной армии и страны к войне, говорилось о скучности материальных боевых мобилизационных ресурсов [14, 468–469]. По данным О. Н. Кена, после этого Сталин предложил Политбюро в плотную заняться проблемой состояния военной промышленности «с точки зрения ее соответствия обороне» [9, 21].

Современные исследователи отмечают, что к середине 1928 г. политический импульс, который придала развитию СССР «военная тревога» 1927 г., начал трансформироваться в новую стратегию социалистического строительства. О справедливости данного утверждения может свидетельствовать то, что в риторике большевистских руководителей во второй половине 1920-х гг. все больше стала прослеживаться связь между индустриализацией страны и нарастанием военной угрозы для СССР.

К. Е. Ворошилов, выступая на XV съезде ВКП(б) в прениях по докладу А. И. Рыкова и Г. М. Кржижановского о директивах по составлению пятилетнего плана развития народного хозяйства с сообщением «Вопросы обороны и пятилетка» говорил: «Я считаю необходимым отметить, что вопросам подготовки государства к обороне мы стали придавать актуальное значение только с весны текущего (1927-го. – И. П.) года, именно – когда активная политика империалистов, Англии в первую очередь, стала явно угрожать СССР, когда СССР должен был усилить военную подготовку для защиты своей политики мира» [18, 980].

При этом между руководителями большевиков и военными специалистами происходила полемика по вопросу о том, в какой степени развитие экономики следует подчинить задачам укрепления обороноспособности страны.

Л. Д. Троцкий писал: «надо, чтобы темп военного строительства, доведенный до максимума, соответствовал в то же время основному темпу хозяйственного развития страны», «нельзя требовать от хозяйства непосильных жертв, то есть таких, которые грозили бы подорвать развитие промышленности и тем в корне подкосили бы саму армию», «сбиться в этом деле с ноги — значило бы подорвать обороносспособность страны» [24, 146]. Его поддерживал один из лучших военных теоретиков 1920-х гг. комбриг А. А. Свечин, который утверждал, что численность Красной армии необходимо прямо соотносить с экономическими возможностями страны [19]. Он произнес следующие слова: «В наших условиях ставке на качество нужно давать значительное преимущество; ставка на количество... это лучший способ разорить страну» [12, 44].

В то же время нарком обороны К. Е. Ворошилов уже в декабре 1927 г., намечая первоочередные меры по всесторонней милитаризации экономики, предупреждал, что пятилетний план развития народного хозяйства должен исходить «из необходимости в меру материальных ресурсов организации такой обороны Советского Союза, которая обеспечила бы победоносный отпор объединенным силам наших вероятных противников». По его словам, «индустриализация страны предопределяет обороносспособность СССР» [18, 992–993]. Он предложил «немедленно приступить к детальной проработке вопросов о планировании всего народного хозяйства во время войны» [Там же, 994].

Летом 1928 г. И. В. Сталин во главу угла поставил «обеспечение нынешнего темпа индустриализации страны» и то обстоятельство, что «мы не гарантированы от военного нападения». По его словам, «чтобы оборонять страну, мы должны иметь известные запасы для снабжения армии, хотя бы на первые шесть месяцев» [21, 175–176]. Ему вторил К. Е. Ворошилов, который отмечал, что «весь мир вооружается до зубов и против нас» [17, 58].

Выступая на пленуме ЦК ВКП(б) в ноябре 1928 г., Сталин сказал: «Невозможно отстоять независимость нашей страны, не имея достаточной промышленной базы для обороны. Невозможно создать такую промышленность, не обладая высшей техникой в промышленности. Вот для чего нужен нам и вот что диктует нам быстрый темп развития индустрии» [22, 248].

В результате произошедших дебатов победила последняя точка зрения, и в ноябре 1928 г. Пленум ЦК ВКП(б) принял резолюцию, в которой «недооценка военной опасности» была объявлена опознавательным знаком правоуклонистской ереси [10, 382]. Особому осуждению были подвергнуты «минималистские» запросы Л. Д. Троцкого и А. А. Свечина [4].

При этом следует иметь в виду, что советское военное и политическое руководство в конце 1920-х гг. еще исходило из концепции «оборонной достаточности». В 1928 г. К. Е. Ворошилов говорил: «Если бы мы с вами решили во что бы то ни стало быть сильнее или стать в уровень с нашими вероятными врагами (а таковыми является весь капиталистический мир), то мы с вами уподобились бы Дон Кихоту. Нам этого не нужно. Но быть на одном уровне с нашими ближайшими соседями — с Румынией, Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией и Финляндией, — со всей этой каемочкой государств, окружающих нас, нам нужно во что бы то ни стало» [2].

Несмотря на развернувшуюся критику «минималистских» взглядов, выступая в апреле 1929 г. на XVI конференции ВКП(б) с докладом о пятилетнем плане, председатель СНК СССР А. И. Рыков сомневался в том, что можно освоить огромные средства, направленные на военное строительство, и с пользой для дела «использовать те гигантские возможности, которые даются современной техникой» [25, 13–14].

Основное внимание современные исследователи при изучении воздействия внешнего фактора на экономическую политику Советского государства уделяют характеристике военно-мобилизационного планирования, которое стало широко внедряться после окончания восстановительного периода. Правда, Ю. А. Горьков ввел в научный оборот данные, которые свидетельствуют о том, что советское руководство начало разрабатывать планы по подготовке к войне с 1924 г. [3, 158–161]. Ряд этих документов в настоящее время опубликован [15].

Характеризуя особенности военно-мобилизационного планирования в стране, Н. С. Симонов пишет: «Военно-мобилизационная подготовка промышленности СССР имела основной задачей обеспечить поставку в военное время необходимых вооруженным силам страны предметов военного потребления в количестве, заявленном НКО СССР. Для этого разрабатывались: а) сводный мобилизационный план промышленности; б) мобилизационные планы наркоматов; в) мобилизационные планы предприятий» [20, 115].

В литературе ведутся дискуссии по вопросу о том, когда был составлен первый пятилетний план строительства вооруженных сил. В советское время утверждалось, что «пятилетний план строительства Красной армии... всякий раз рассматривался и принимался Советским правительством параллельно с пятилетним планом развития народного хозяйства» [6, 3]. В зарубежной историографии, напротив, говорится, что «военный пятилетний план» предшествовал первому пятилетнему плану и отчасти служил основой для его составления [27, 30].

Современные российские историки поддерживают мнение зарубежных ученых. О. Н. Кен указывает: «Первым пятилетним планом, принятым в Советском Союзе, стал план строительства его вооруженных сил на 1926–1931 гг. Работа над ним велась в 1926–1927 гг. усилиями Штаба РККА». По его мнению, «утверждение пятилетнего плана строительства РККА на 1926–1931 гг. стало толчком к пересмотру системы планирования оборонных усилий в масштабе страны» [9, 20, 21].

Н. С. Симонов пишет о том, что в 1927 г. 235 военных и гражданских заводов СССР получили мобилизационные задания [20, 62]. Автор полагает, что таким образом в 1927–1928 гг. в СССР начинает создаваться государственный оборонный комплекс (система государственных мобилизационных органов) [Там же, 42–43].

Н. С. Симонов отмечает, что по отправному варианту первого пятилетнего плана, разрабатывавшемуся Госпланом и ВСНХ в 1928–1929 гг., удовлетворение потребностей обороны страны предусматривало «увеличение производства с 1 января 1929 г. по 1 октября 1933 г. боеприпасов в 2,7 раза, ручного огнестрельного оружия в 2,5–3 раза, самолетов в 2,7 раза, танков в 15 раз, автомобильного транспорта в 4–5 раз» [Там же, 81]. По его наблюдениям, «в 1928–1929 гг.

в Госплане СССР и ВСНХ СССР продолжалось уточнение контрольных цифр развития советской промышленности и народного хозяйства на 1928/29–1933 гг. Особое внимание уделялось показателям роста металлургической, химической промышленности и машиностроения, являющихся базовыми отраслями по отношению к военно-промышленным производствам». Автор пишет о том, что 20 декабря 1928 г. СТО на своем распорядительном заседании утвердил разработанный военным ведомством мобилизационный план промышленности, рассчитанный на случай войны [20, 66, 67].

Современные исследователи при изучении влияния внешнего фактора на экономическую политику обращают особое внимание на принятое Политбюро ЦК ВКП(б) 15 июля 1929 г. Постановление «О состоянии обороны СССР», в котором подводились итоги оборонной работы с 1927 по 1929 г. Это постановление всесторонне изучается и отмечается его роль в усилении военных приготовлений в СССР. Характерно время принятия этого документа: в мире происходило нарастание антисоветской истерии.

О. Н. Кен указывает: «В отличие от почти спонтанного обращения Политбюро к различным аспектам оборонной работы в первой половине 1927 г. летом 1929 г. оно посвятило состоянию обороны страны три заседания — 1, 8 и 15 июля, на которые вызывались руководящие работники НКВМ и хозяйственных ведомств». По его наблюдениям, «прерогативами на формулирование основных подходов обладала тройка Сталин, Молотов и Ворошилов» [9, 61]. Н. С. Симонов пишет о том, что 15 июля 1929 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло Постановление «О состоянии обороны СССР», в котором отмечался «целый ряд крупных недостатков как в подготовке Красной армии, так и всего народного хозяйства к обороне» [20, 67]. О. Н. Кен указывает, что в постановлении обращалось внимание на то, что «подготовка всей промышленности, в том числе военной, к выполнению требований вооруженного фронта совершенно неудовлетворительна» [9, 62].

В литературе ведется дискуссия по вопросу о том, насколько военно-мобилизационное планирование заставило скорректировать задания первого пятилетнего плана. Еще Г. К. Жуков в своих воспоминаниях писал: «В середине 1929 г. ЦК партии принимает Постановление “О состоянии обороны страны”, в котором излагается линия на коренную техническую реконструкцию армии, авиации и флота... Это постановление легло в основу первого пятилетнего плана военного строительства» [5, 106]. Н. С. Симонов уверен в том, что указанное «постановление легло в основу первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР, так как определило его главные приоритеты» [20, 70]. Автор исходит из прямой зависимости корректировки плановых заданий от изменений во внешнеполитическом положении СССР. По его данным, еще 5 апреля 1929 г. Сектор обороны Госплана СССР представил в СТО доклад, посвященный вопросам учета интересов обороны в первом пятилетнем плане [Там же, 66–67]. Н. С. Симонов пишет о том, что, отвечая на этот документ, в апреле 1929 г. РЗ СТО приняло решение о переводе нескольких заводов военной промышленности на положение мобилизованных. В их числе были военные предприятия Урала: Ижевский оружейный и Мотовилихинский ар-

тиллерийский заводы. По его словам, «на мобилизованных предприятиях вводился непрерывный круглосуточный график работы; рабочему и инженерно-техническому персоналу отказывается вправе свободного увольнения и перехода на другую работу» [20, 74].

О. Н. Кен указывает, что Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О состоянии обороны страны» (1929) заложило «основы последующих решений на этот счет» [9, 304]. Н. С. Симонов пишет, что в результате принятых мер в июле 1929 г. был утвержден мобилизационный план «С-30», который требовал, «не снижая темпов подачи предметов вооружения и боевой техники для выполнения текущих заказов наркомата по военным и морским делам (НКВМ), создания дополнительных производственных мощностей по всем отраслям промышленности, обеспечивающих военно-промышленные производства сырьем и материалами». По его словам, принятие мобилизационного плана «С-30» потребовало внесения корректировок в отправной вариант первого пятилетнего плана, ибо «нестыковались балансы качественной стали и ферросплавов, проката черных и цветных металлов, продукции основной химии, машиностроения и т. д.» [20, 81].

Другие исследователи более осторожно подходят к проблеме о прямой зависимости корректировки плановых заданий от изменений во внешнеполитическом положении СССР. Л. Н. Нежинский еще в годы «перестройки» доказал, что на рубеже 1920–1930-х гг. никакой непосредственной военной угрозы СССР не существовало [16, 14–16, 23]. О. Н. Кен исходит из того, что «сформулированные Л. Н. Нежинским критерии непосредственной военной угрозы позволяют распространить его выводы на большую часть межвоенного двадцатилетия» [9, 306]. По его словам, «кризис международного положения СССР в начале 1930 г., в значительной мере спровоцированный насилиственной коллизией и другими мерами советской власти, побудил руководство страны принять меры к повышению мобилизационной готовности на период весны – лета 1930 г., но непосредственно почти не сказался на проекте строительства Красной армии на конец пятилетки». По его данным, только «составленные в 1934 г. мобилизационные планы на ближайшие два года предусматривали развертывание сил в масштабах, намеченных на этот период еще в 1930–1932 гг.» [Там же, 304–305].

О. Н. Кен делает вывод, что «лишь к середине 30-х гг. определяется прямая зависимость сдвигов в мобилизационном планировании от перемен во внешнеполитическом положении в поведении СССР» [Там же, 306]. В то же время автор указывает, что «к середине 30-х гг. советское мобилизационное планирование и военные приготовления в целом вступили в системный кризис. Он состоял не столько в “трудностях роста”, сколько в их волевом преодолении в предшествующие годы и воплощал все главные противоречия строительства вооруженных сил на военное время и развития военно-экономического потенциала, всей оборонной политики» [Там же, 334].

По мнению исследователей, основной просчет мобилизационного планирования первой половины 1930-х гг. заключался в чрезмерном накоплении военных запасов и неподготовленности хозяйства к обеспечению вооруженных

сил современным оружием. Этот факт признавался уже в 1930-е гг. К. Е. Ворошилов подчеркивал, что в эти годы Советский Союз втянулся в ускоренное техническое переоснащение вооруженных сил, отказавшись тем самым от политики «разумной достаточности» 1920-х гг. и омертвляя «огромные денежные и материальные ресурсы, так необходимые хозяйству» [2]. По мнению военного историка В. Меликова, перевооружение Красной армии необходимо было осуществлять, поскольку «генеральные штабы современных империалистических армий все же осторожно идут на перевооружение и насыщение новыми и новейшими образцами некоторых видов и типов оружия» [13, 578].

Уже в советской историографии признавалось, что «к 1938 г. образцы бронетанковой техники, серийно выпускавшиеся в СССР в 1929–1935 гг., практически выработали свой ресурс. Их состояние, по оценке специалистов, “было ужасным”. Большинство этих танков и бронемашин не могли тронуться с места и были разоружены» [11, 130]. Современные исследователи констатируют, что «системы вооружения, в изобилии поступавшие в Красную армию в первой половине 30-х гг., в своем большинстве отражали уровень российской конструкторской мысли двадцатилетней давности» [9, 335]. Н. С. Симонов пишет о том, что «лишь в 1933–1934 гг. военная промышленность приступила к серийному выпуску новых образцов артиллерийских орудий, пулеметов и винтовок» [20, 99].

Несмотря на споры, которые ведутся в научной литературе по вопросу о степени влияния международной обстановки на изменение экономической политики Советского государства, есть все основания утверждать, что советское руководство реагировало на эти изменения и корректировало в связи с этим свою промышленную политику, делая акцент на военную мобилизацию экономики.

1. Алексеев В. В. Промышленная политика как фактор российских модернизаций (XVIII–XX вв.) // Промышленная политика в стратегии российских модернизаций XVIII–XXI вв. Екатеринбург, 2006.

2. Ворошилов К. Е. На пороге 13-го года // Красная звезда. 1930. 23 февр.

3. Горьков Ю. А. Готовил ли Сталин упреждающий удар против Гитлера в 1941 г. // Другая война: 1939–1945. М., 1996.

4. Дунаевский В. Теория перманентной мобилизации проф. Свечина // Против реакционных теорий на военно-научном фронте. М., 1931.

5. Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. М., 1970.

6. Захаров М. Коммунистическая партия и техническое перевооружение армии и флота в годы предвоенных пятилеток // Воен.-ист. журн. 1972. № 2.

7. Зуйков В. Н. Создание тяжелой индустрии на Урале (1926–1932). М., 1971.

8. История Второй мировой войны, 1939–1945 : в 12 т. М., 1973. Т. 1.

9. Кен О. Н. Мобилизационное планирование и политические решения, конец 1920 – середина 1930-х гг. СПб., 2002.

10. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 9-е изд. М., 1984. Т. 4 (1926–1929).

11. КПСС и строительство вооруженных сил. 2-е изд. / под ред. Н. М. Киряева и др. М., 1967.

12. *Лобов В. Н.* Актуальные вопросы развития теории военной стратегии 20-х – середины 30-х гг. // Военно-ист. журн. 1989. № 2.
13. *Меликов В.* Проблемы стратегического развертывания по опыту мировой и гражданской войны. Т. 1 : Мировая империалистическая война 1914–1918 гг. / предисл. Б. М. Шапошникова. М., 1935.
14. *Минаков С. Т.* Советская военная элита 20-х гг. (состав, эволюция, социокультурные особенности и политическая роль). Орел, 2000.
15. *Мухин М. Ю.* Российский государственный архив экономики. Комплексы документов по исследованию военной промышленности в 1921–1941 гг. (Обзор) // Отечеств. история. 1996. № 4.
16. *Нежинский Л. Н.* Была ли военная угроза СССР в конце 20-х – начале 30-х годов? // История СССР. 1990. № 6.
17. Письмо Ворошилова Орджоникидзе. Сочи, 09.11.28 // Советское руководство. Переписка, 1928–1941 гг. М., 1999.
18. XV съезд ВКП(б). Декабрь 1927 г. : стенограф. отчет : в 2 т. М., 1962. Т. 2.
19. *Свечин А.* Стратегические и оперативные этюды // Сб. Военной академии РККА. М., 1926. Кн. 1.
20. *Симонов Н. С.* Военно-промышленный комплекс СССР в 1920–1950-е гг.: темпы экономического роста, структура, организация производства и управление. М., 1996.
21. *Сталин И. В.* Об индустриализации и хлебной проблеме. Речь 9 июля 1928 г. // Стalin И. В. Соч. Т. 11.
22. *Сталин И. В.* Об индустриализации и правом уклоне в ВКП(б): Речь на пленуме ЦК ВКП(б) 19 ноября 1928 г. // Там же.
23. *Суворов В.* Ледокол: Кто начал Вторую мировую войну? : нефантаст. повесть-док. М., 1992.
24. *Троцкий Л. Д.* Как вооружалась революция : в 3 т. М., 1925. Т. 3, кн. 1.
25. XVI Всесоюзная конференция ВКП(б). Апрель 1929 г. : стенограф. отчет. М. ; Л., 1962.
26. *Шубарина Л. В.* Оборонно-промышленный комплекс на Урале: региональный опыт развития, 1945–1965 гг. Челябинск, 2011.
27. *Glantz D. M.* The military strategy of the Soviet Union: A history. Ft. Leavenworth (KS), 1992.
28. *Gorodetsky G.* The precarious truce: Anglo-Soviet relations 1924–1927. Cambridge, 1977.
29. *Samuelson L.* Soviet defence industry planning: Tukhachevski and military-industrial mobilization, 1926–1937. Stockholm, 1996.

Рукопись поступила в редакцию 30 ноября 2012 г.

УДК 327.37 + 341.67 + 355.019.1

Е. Б. Михайленко

БОРЬБА ЗА РАЗОРУЖЕНИЕ В СОВЕТСКОМ ДИСКУРСЕ ПЕРИОДА ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

В статье анализируется политика СССР в области разоружения в период холодной войны. На основании исследования официальных документов Коммунистической партии Советского Союза и выступлений двух основных лидеров Н. С. Хрущева и Л. Брежнева предпринят анализ стратегии СССР в области разоружения и борьбы за мир. В статье рассматриваются такие термины, как «разоружение», «борьба за мир», «движения за мир», которые были использованы в качестве метафор в советской риторике. Формирование метафор происходило на основе интерпретации марксистско-ленинской теории политическими лидерами СССР. В работе утверждается, что Н. Хрущев и Л. Брежнев по-разному интерпретировали марксистско-ленинскую теорию и, таким образом, реализовывали различные подходы к политике разоружения.

Ключевые слова: советская политика в области разоружения, борьба за разоружение и мир, советская риторика, идеология, пролетарский интернационализм, социалистический интернационализм.

В 90-х гг. XX в. отечественные исследователи совместно с зарубежными коллегами проделали огромную работу по изучению международных кризисов периода холодной войны, что позволило сблизить оценочные моменты сторон, некогда стоявших по разные стороны идеологических баррикад. Как образно выразился американский исследователь Дж. Гэддис, российские, впрочем как и западные, историки перестали «хлопать одной ладошкой», изучая холодную войну на основе открытых архивов¹.

Однако отечественная историография мало продвинулась вперед в осмыслении внешнеполитической стратегии и тактики советского руководства, и прежде всего в оценке побудительных мотивов в выдвижении инициатив, нацеленных на разрядку международной напряженности, разоружение, поддержку международного движения за мир.

Можно согласиться с Д. Г. Наджафовым, который пишет, что «советская внешняя политика была самой партийной внешней политикой, какую только можно себе представить. Ее изначальная идеологизированность сохранялась до самого конца существования Советского Союза. И формировалась эта политика не в МИД СССР, а в ЦК КПСС, в самых высших партийных эшелонах» [28, 162].

Под влиянием «нового мышления» М. С. Горбачева некоторые исследователи попытались рассмотреть советскую внешнюю политику под углом общечеловеческих, гуманистических и пацифистских моральных принципов. «Что такое сегодня мораль в области внешней политики? Это — совместные действия во имя

¹ Обобщенная оценка состояния современной историографии холодной войны дана в [27, 9–43].

отстаивания прав человека, свободы, независимости человека и народов, это — проблема защиты мира и окружающей среды, это — проблема глобальной безопасности, не безопасности для кого или для чего, от кого или от чего, это — совершенно иной аспект» [31, 4]. По мнению А. О. Чубарьяна, «крайняя идеологизация и политизация, комплекс непогрешимости, комплекс превосходства, рассмотрение всего под углом классовых интересов» — все это «в совокупности деформировало моральные принципы политики» [Там же, 5].

С возникновением Советского государства понятие «мораль» приобрело классовый характер. Обратимся к рубрике «Мораль» в Большой советской энциклопедии: «...Возникла революционно-пролетарская *Мораль*, основными требованиями которой являются уничтожение эксплуатации и социального неравенства, всеобщая обязательность труда, солидарность трудящихся в борьбе с капиталом. Эта *Мораль*, по словам В. И. Ленина [25, 309], «...подчинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата...». Коммунистическая мораль противопоставлялась буржуазной и являлась нравственным основанием для борьбы против чуждой системы. Расхожие фетишистские клише об «исконно миролюбивой советской внешней политике» недооценивают ее организаторов, которые стремились к мировой гегемонии и достигли ее в период bipolarной системы, встав в один ряд с могущественнейшим государством современности — Соединенными Штатами Америки.

Вместе с тем было бы ошибкой не замечать в советской внешней политике pragmatических подходов, того, что принято называть «*realpolitik*», их различных проявлений, в том числе в области разоружения и борьбы за мир. Как они соотносились с идеологическими догмами и риторикой?

В данной статье предпринята попытка выявить роль и этапы борьбы за разоружение в советской внешней политике через ее сопоставление с советской идеологической риторикой.

В исследовании акцент сделан на внешнеполитической стратегии СССР в области разоружения в разгар холодной войны, когда руководителями Коммунистической партии СССР были Н. С. Хрущев и Л. И. Брежnev. Автор не претендует на всеобъемлющее исследование, однако следует заметить, что рабочая попытка затронуть данный сюжет под углом анализа выработанных советской идеологической машиной терминов и метафор вызвала интерес в таком общепризнанном международном центре изучения проблем холодной войны, как Центр Вудро Вильсона, который выставил на своих веб-страницах мой доклад, прочитанный на конференции в Стокгольме [37, 114–123].

Политика СССР в области разоружения была напрямую связана с внутриполитическими проблемами СССР, а также являлась следствием дискуссий в партийной верхушке относительно путей реализации марксистско-ленинской теории в мировой практике [29]. Однако обсуждение внешнеполитических вопросов, как правило, не выходило за стены Кремля. Мотивы и механизм принятия внешнеполитических решений были закрытыми как для экспертов, так и для общественности, которые пытались буквально под микроскопом расшифровывать сигналы, идущие из Кремля [16]. К этому следует добавить замечание К. Богданова относительно того, что речевую культуру советского общества

характеризовало «специфическое “двуязычие” или даже многоязычие» [9]. Кроме того, следует принять в расчет то, что «вопреки своим декларациям советская идеология в большей степени зависела не от слов, а от коллективных практик» [Там же].

Современный уровень науки позволяет использовать различные методы научного анализа советских партийных и государственных текстов. Советской элитой была создана специфическая языковая семантика, сформулирован свой собственный словарь терминов и метафор, который существенно отличался от словарей прежде всего западных демократий.

При написании данной статьи автор использует методы лингвистического анализа русского тоталитарного языка советской эпохи, разработанные Н. А. Купиной [20]. В своем исследовании Н. А. Купина соединяет отдельные лексические единицы и микротексты в гипотетические модели тоталитарного языка, в том числе в идеологемы. Н. А. Купина конструирует систему трансформации идеологем в сверхтекст мифологем [Там же, 4]. Как обоснованно отмечал философ М. Мамардашвили, «мир мифа и ритуала есть такой мир, в котором нет непонятного, нет проблем» [26, 14]. Советская внешнеполитическая стратегия в 50–70-х гг. была заключена в идеологически выверенные и практически неизменные на протяжении десятилетий мифологемы. Один из бывших работников ЦК КПСС Ф. М. Бурлацкий вспоминал, как секретарь ЦК КПСС М. А. Суслов искал в своей картотеке нужную цитату вождя для подкрепления важного партийного документа [17, 189]. Как справедливо было отмечено, «именно благодаря языку идеология внедряется в общественное сознание и функционирует» [20, 7].

Лингвистическая семантика отражала специфическую форму отношений между языковыми выражениями и реальным или воображаемым миром тоталитарной эпохи, сложившуюся под жестким идеологическим контролем.

В целях анализа отдельных лексических единиц автор обращается к методикам, разработанным американским ученым Дж. Лакоффом, который рассматривает метафору как изначально понятийную конструкцию, занимающую центральное место в процессе развития мысли [21].

Обращаясь в данной статье к анализу советской риторики, мы подразумеваем под ней способы теоретической аргументации (в данном случае идеологического предписания) и формы применения метафор в понятийных конструкциях. Все семантическое пространство тоталитарной идеологии и пропаганды было занято «образом врага», как внутреннего, так и внешнего.

Советская риторика оперировала множеством метафор, которые определяли идеологию страны. К таким метафорам можно отнести «пролетарский интернационализм», суть которого разъяснялась как международная солидарность рабочего класса всех стран в борьбе за общие коммунистические цели [22, 123]. После Второй мировой войны к ней добавилась новая метафора — «общие цели определяются как борьба народов за национальное освобождение и социальный прогресс» [33, 502]. Затем к движущим силам человеческого прогресса добавляются «народы освободившихся стран, массовые демократические движения — антивоенное, женское, экологическое» [Там же, 822]. Расширение

списка используемых метафор не меняет основного идеологического внешнеполитического концепта, провозглашенного Октябрьской революцией. В рамках непрерывного «мирового революционного и всемирно-исторического процесса» происходит «смена капитализма коммунистической общественно-экономической формацией» [23, 41].

В качестве лидеров Н. С. Хрущев и Л. И. Брежнев вносили свой вклад в формирование советского словаря. Речь не идет о новых или принципиально противоположных интерпретациях одних и тех же терминов, но о смысловых оттенках, которые и определяли дальнейшую политику в области разоружения.

Несмотря на некоторые нюансы, смысл слов и их семантических связок, метафоры, функционировавшие в советском обществе в период и Хрущева, и Брежнева, отличались от тех, что существовали в западном демократическом мире. В части особенностей советской риторики объяснение этому дает К. Богданов. Он обращает внимание на различие европейской и русской традиций риторики. Последняя формировалась не столько под влиянием светского совещательного и судебного красноречия, сколько «под преимущественным влиянием церковной гомилетики и эпидейктического красноречия» [9]. На приобретенные в советский период особенности политического тоталитарного языка обращает внимание Н. А. Купина, согласно выводам которой «семантическая сфера политического представляет собой открытую систему идеологем, связанных сетью оппозиций» [20, 23].

К примеру, в советском словаре понятие «пацифизм» рассматривалось в свя-
ке «социал-пацифизма» как «разновидность оппортунизма, социал-демократи-
ческая тактика поддержки, под флагом пацифизма, империалистической поли-
тики буржуазии своей страны» [33, 943].

Политический стиль всех советских руководителей не выходил за пределы идеологических предписаний коммунистической доктрины и был предопределен ею.

Теории политических режимов в их классическом прочтении, к примеру в исследовании Р. Аrona «Демократия и тоталитаризм» [2], позволяют понять механизмы формирования властью общественного мнения в поддержку своих внешнеполитических инициатив [Там же, 22]. Для распространения официальной идеологии (истины) государство наделяет себя исключительным правом на силовое воздействие и убеждение [Там же, 109–110]. Таким образом, государство формулирует своего рода истину, которая транслируется через все возможные каналы распространения информации. Р. Арон обращает внимание на процессы «самоосмысления» или «самотолкования» советским режимом международного положения СССР: его руководители претендовали на цивилизационный универсализм советской системы. Октябрьская революция была осуществлена самым прогрессивным классом; Коммунистическая партия являлась выражителем и передовым отрядом пролетариата, вдохновляясь самой передовой в мире марксистской теорией; СССР вел советский народ и все прогрессивное человечество к коммунизму [Там же, 116].

С точки зрения советских руководителей, мирное сосуществование социалистических и капиталистических режимов рассматривалось как «временная

передышка» перед решающим столкновением систем, а «мирное сосуществование — как форма классовой борьбы». 12 августа 1960 г. заведующий отделом ЦК КПСС Б. Н. Пономарев писал в центральном органе КПСС «Правда»: «Теперь не империализм, а социализм стал определяющей силой мировой политики. Дело мира отстаивают также: миролюбивые государства Азии, Африки, Латинской Америки, занимающие антиимпериалистическую позицию и образующие вместе с социалистическими странами все расширяющуюся зону мира; международный рабочий класс; освободительное движение народов колоний и полуколоний; массовое движение народов за мир. ... С неутомимой энергией и великой страстью товарищ Н. С. Хрущев пропагандирует миролюбивую политику Советского Союза, призывает к сплочению сил мира, разоблачает преступные планы поджигателей войны». А затем следует разъяснение, что сам принцип мирного сосуществования есть «не что иное, как высшая форма классовой борьбы между двумя противоположными системами — социализмом и капитализмом».

Таким образом, в данной работе предпринимается попытка проанализировать «самоосмысление» и «самотолкование» советским руководством принципиальных положений теории марксизма-ленинизма с целью формулирования изменившихся идеологических предписаний в области внешней политики.

В статье используются такие понятия, как «разоружение», «ограничение вооружений», «борьба за разоружение» и «борьба за мир».

С нашей точки зрения, внешнеполитические инициативы периода холодной войны и сами советско-американские переговоры не подпадают под определение «разоружение» в их исконном смысле слова. Правильнее было бы использовать понятие «ограничение вооружений», что означает не сокращение и/или ликвидацию арсеналов, а ограничение производства ракет или пусковых установок, оговоренных соглашениями об ограничениях. Таким образом, имеются основания для утверждений, что в период холодной войны как СССР, так и США не проводили политику разоружения, а вели переговоры о частичном ограничении производства определенных видов вооружений.

Отсутствие реального процесса разоружения не исключало проведение СССР собственной политики в этой области. Внешнеполитическая стратегия СССР «в области разоружения» включала в себя такие направления, как «борьба за разоружение» и «борьба за мир».

В вопросах разоружения советская внешнеполитическая инициатива исходила из заявления В. И. Ленина о том, что «разоружение есть идеал социализма» [24, 152].

В середине 50-х гг. СССР выступил с рядом предложений в области разоружения. Среди них наиболее известным стало выступление Н. С. Хрущева на пленарном заседании XIV сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1959 г., когда советский руководитель предложил внести на рассмотрение Декларацию о всеобщем и полном разоружении.

Провозглашенная программа предусматривала сокращение вооружений за сравнительно короткий срок: уже на первом этапе вооруженные силы СССР, США и КНР сокращались до 1700 тыс. человек, а Франции и Англии — до

650 тыс. человек для каждой из стран. На втором этапе предполагалось сократить вооружения и военную технику, на третьем — уничтожить все виды ядерного, ракетного, химического и биологического оружия. Вся эта программа была рассчитана на 4 года [30, 403]. Если обратиться к другим официальным выступлениям советских руководителей и к документам СССР, то смысл призыва к разоружению выглядит не столь безуказненно, как это проистекает при первичном обращении к документу.

На приеме в польском посольстве в Москве 18 ноября 1956 г. Н. С. Хрущев в простонародной форме, обращаясь к западным послам, лаконично сформулировал основной принцип советской внешней политики: «Мы вас закопаем!» [35]. Эта фраза была повторена Н. С. Хрущевым на встрече с американскими журналистами в США в 1959 г. Такие заявления вызывали непонимание и удивление у западных дипломатов. Вероятно, в беседе с западными дипломатами Н. С. Хрущев стремился подчеркнуть противоборство двух мировых систем. Возможно, он имел в виду тезис Маркса о том, что социализм является могильщиком капитализма. Следует отметить, что здесь произошло сочетание двух метафорических подходов. Один из них был связан с советской интерпретацией теории К. Маркса, а другой проистекал из специфики риторических оборотов советских лидеров, часто использовавших простонародную форму дискуссии.

Озвученная Н. С. Хрущевым на XX съезде КПСС в феврале 1956 г. концепция «мирного сосуществования» занимала в иерархии советских внешнеполитических целей третье место после «укрепления мировой социалистической системы», «поддержки национально-освободительного движения» [19].

На международной арене «мировая система социализма» противостояла «мировой капиталистической системе», соревнуясь с ней в сфере экономики, науки и техники, и одновременно вела против нее «непримиримую борьбу в идеологии». «Мирное сосуществование» предполагало «отказ от войны, применения силы или угрозы силой как средства решения спорных вопросов». В международной сфере «мирное сосуществование» являлось мирным средством продолжения «борьбы двух систем».

Таким образом, борьба за разоружение и мир являлись важными инструментами комплексной внешнеполитической стратегии СССР в борьбе за рекрутование новых членов мирового социализма и их ближайших союзников [29]. Происходил переход от сталинской внешнеполитической концепции, рассматривавшей СССР как «осажденную крепость», к открытой конкуренции с мировым капитализмом за влияние на его периферии с использованием всех доступных средств.

Советская политика в области разоружения также имела целью сдерживание противника в ядерной гонке вооружений, пока собственные арсеналы и возможности не достигли достаточного уровня. Гонка вооружений в СССР в период Н. С. Хрущева легла тяжелым бременем на экономику страны. Советское руководство было вынуждено провести сокращения в вооруженных силах, перенести акценты в экономике с тяжелой промышленности на легкую и сельское хозяйство. На совещании работников сельского хозяйства областей и автономных республик Северо-Запада РСФСР 22 мая 1957 г. в качестве официального

партийного курса в области сельского хозяйства был провозглашен лозунг «Догнать и перегнать Америку по производству мяса, молока и масла на душу населения» [30, 372].

Таким образом, «мирное сосуществование», «борьба за разоружение» и «борьба за мир» как важнейшие лозунги советской внешнеполитической теории имели скрытые смыслы. Во-первых, ключевым в данном случае является само понятие «борьба». Его смысловой анализ вызывает вопросы: «борьба с кем?» и «борьба за что?». Если исходить из партийных документов, то необходимо было развернуть борьбу с капиталистическим лагерем «во главе с американским империализмом», «источником войн» [31]. Во-вторых, главным итогом «борьбы за разоружение» и «борьбы за мир» должна была стать победа над мировым империализмом.

Активизация политики в области разоружения и борьбы за мир в разгар холодной войны приходится на периоды, когда высшими должностными лицами в СССР были Н. С. Хрущев и Л. И. Брежнев.

В целях расширения инструментов влияния за рубежом Секретариат ЦК компартии принимает 9 мая 1957 г. документ «О перестройке работы Всесоюзного общества культурной связи с заграницей» [8], в соответствии с которым предусматривалось пересмотреть общую политику работы с зарубежными странами, усилив культурную составляющую, сделав акцент на выстраивание отношений с культурной общественностью зарубежных стран. Планировалось увеличить штат сотрудников по направлениям работы со странами Западной Европы, социалистических, Скандинавских стран, организовав сотрудников в региональные отделы.

Сохранившиеся государственные документы демонстрируют интенсификацию культурных, политических и иных связей, к примеру между СССР и Швецией. В 1954 г. состоялся обмен визитами шведских и советских военных кораблей. В следующем году СССР посетила шведская парламентская делегация. В 1956 г. советская сельскохозяйственная делегация во главе с министром В. В. Мацкевичем посетила Стокгольм с целью ознакомления с сельским хозяйством Швеции [39].

За внешним фасадом развития межгосударственных отношений не столь публично развертывалась советская поддержка политических сил, ориентировавшихся на идеалы социализма, и некоммунистических участников движений за мир, против агрессивной политики США.

Советская риторика в области разоружения встречала поддержку среди части западной общественности и коммунистических партий Запада. В 1961 г., например, ЦК КПСС рассматривал вопрос об удовлетворении просьбы Коммунистической партии Швеции о выделении дополнительных 100 тыс. крон для работы по превращению Союза обществ СССР — Швеция в массовую организацию [3]. Сейчас сложно оценить истинные мотивы руководства Коммунистической партии Швеции при обращении к КПСС. Еще сложнее оценить восприятие Советского Союза представителями шведской общественности. Из письма Хильдинга Хагберга, представителя Компартии Швеции, видно, что работа по формированию положительного имиджа СССР была достаточно серьезной. На

территории Южной Швеции, Западной Швеции и в Норланде распространялся журнал «Новости из Советского Союза» [3].

По мнению Р. Г. Пихои, «политическое доктринерство» приводило к неконтролируемым последствиям и подчас ставило мир на грань всеобщего уничтожения [30, 514]. К таковым можно отнести Карибский кризис, который явился прямым результатом соперничества США и СССР за влияние на периферии bipolarной системы [Там же, 496]. Мы видим, что принцип мирного сосуществования не препятствовал той или другой стороне провоцировать неконтролируемые процессы в рамках стратегической bipolarной стабильности.

В целом период Н. С. Хрущева можно охарактеризовать как период формирования новых внешнеполитических метафор, новых форм «самотолкований» теории марксизма-ленинизма применительно к мировой обстановке. Ряд исследователей, оценивая политику Н. С. Хрущева, указывают на непоследовательность внешнеполитической линии СССР. Это неудивительно, поскольку зависимость внешней политики от задач классовой борьбы не была преодолена.

Следующий рассматриваемый в данной статье внешнеполитический период относится к пребыванию у власти Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева (1964–1982).

Л. И. Брежnev начал свою деятельность в качестве первого, а затем генерального секретаря с критики «хрущевской утопии» и продолжил традицию формирования идеологических ориентиров, не слишком удаляясь от марксистской ортодоксии. Как справедливо отмечается в стенограмме заседания Комитета Государственной думы по геополитике от 19 декабря 1996 г., «Брежнев не имел вкуса к теории, он не ломал себе голову в отношении внешнеполитической модели поведения с точки зрения центра мировой арены... Он употреблял простые понятия и выражения, например, такие, как “каждая революция должна уметь себя защищать” или “поднимать цены на хлеб нельзя, это вопрос политический”» [34].

Начальный этап деятельности Л. И. Брежнева можно охарактеризовать как «поиск идеологических ориентиров» [30, 496–504]. Используемые ключевые метафоры этого периода не слишком отличались от используемых предшественником. Л. И. Брежнев употребляет понятия «социалистического характера внешней политики СССР», ориентированной на «борьбу за мир, демократию, национальную независимость и социализм». Самым главным завоеванием в этой борьбе он отмечает создание «мировой системы социализма». «Пролетарский интернационализм» в речах Брежнева трансформируется в новое понятие «социалистический интернационализм», которое в тот момент рассматривается как «стремление к укреплению братской дружбы, сотрудничества и взаимопомощи на основе полного равноправия, самостоятельности и правильного сочетания интересов каждой страны с интересами всего содружества» [12, 23]. В 1964 г. Л. И. Брежнев подтверждает проведение политики «мирного сосуществования» в хрущевской интерпретации как «основы для взаимопонимания и развития взаимовыгодного сотрудничества стран, несмотря на различия в их общественном строе» [Там же, 26]. Наряду с этим Л. И. Брежнев

демонстрировал приверженность политике невмешательства во внутренние дела других народов и стран.

Внешнеполитическая риторика СССР в области разоружения в данный период основывается на двух концептах: «Советский Союз выступал и выступает за прекращение гонки вооружений, за достижение соглашения о разоружении» [12, 27] и «политика империалистических держав вынудила нашу страну сосредоточить усилия на том, чтобы создать могучее ракетно-ядерное оружие» [Там же]. С одной стороны, СССР выражал готовность к всеобщему разоружению, поддерживал меры по ограничению гонки вооружений, выступал против дальнейшего совершенствования ракетно-ядерного оружия, поддерживал соглашения, подобные Московскому договору о запрещении ядерных испытаний в трех средах (1963), участвовал в переговорных процессах по вопросам разоружения. С другой стороны, СССР наращивал ракетно-ядерный арсенал, необходимый для сдерживания мирового империализма.

Поворотным событием в области внешней политики брежневской эпохи стало провозглашение доктрины «социалистического интернационализма», получившей сначала за рубежом, а после распада СССР и в нашей стране название «доктрины Брежнева».

События 1968 г. в Чехословакии внесли изменения в теоретические и практические подходы к строительству мирового социализма. Попытки реформирования социалистической системы в Чехословакии были квалифицированы советским руководством как наступление контрреволюционных «оппортунистических сил» в этой стране, как «составная и органическая часть классовой битвы на мировой арене». «Враги социализма не оставляют попыток подорвать основы социалистической государственной власти, сорвать дело социалистического преобразования общества и восстановить свое господство» [13].

После подавления войсками стран Варшавского договора Пражской весны советские руководители фактически приходят к выводу о нереформируемости социалистических режимов [30, 573]. 26 сентября 1968 г. в главном печатном органе КПСС «Правда» появилась статья «Суворенитет и интернациональные обязанности социалистических стран», ставшая основой так называемой «доктрины Брежнева». Основные выводы статьи Л. И. Брежнев повторит позже на съезде Польской объединенной рабочей партии. На торжественном заседании в Берлине по случаю 20-летия ГДР Л. И. Брежнев уточнит принципы социалистического интернационализма: «тому, кто вознамерился бы испытать прочность нашей дружбы, неприкосновенность границ наших государств, лучше заранее знать: он встретит сокрушительный отпор всей мои, повторю — всей мои Вооруженных сил Советского Союза, всего социалистического содружества» [14]. Вооруженная защита идей социализма становится основным смыслом метаморфических конструкций Л. И. Брежнева. В своем докладе «Дело Ленина живет и побеждает. Доклад на совместном торжественном заседании Центрального Комитета КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, посвященном столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. 21 апреля 1970 года» Брежnev апеллирует к истокам коммунистических идеалов, провозглашенных Лениным, ставя тем самым под сомнение взгляды

на мир и внешнюю политику своего предшественника [11]. Доктрина «социалистического интернационализма» была юридически закреплена в Конституции СССР 1977 г.

По существу, «доктрина Брежнева» означала возврат к догматическому прочтению марксистско-ленинской концепции строительства социализма через политическую форму диктатуры пролетариата. Она узаконивала «ограниченный суверенитет» социалистических стран, оправдывала вмешательство «братьских социалистических стран» во внутренние дела других государств.

Утверждение «доктрины Брежнева» сопровождалось усилением политического и идеологического контроля со стороны государства и партии над советским обществом, что не могло не отразиться на советской внешней политике.

Политическая «оттепель», допущенная Н. С. Хрущевым в 60-х гг., быстро сворачивалась. Среди иностранцев, приезжавших в рамках культурного и научного обмена, органы КГБ начали выявлять огромное количество «эмиссаров зарубежных сионистских и других антисоветских организаций» [30, 598]. Советские программы адресного идеологического воздействия на зарубежную аудиторию становятся более точечными по своей целевой аудитории, более масштабными и финансово затратными. Особенно это проявляется по линии помощи коммунистическим партиям, через деятельность Комитета молодежных организаций, профсоюзов, поддержки зарубежных общественных организаций типа движения сторонников мира и др.

Изменилась советская внешнеполитическая риторика. Вьетнамская война однозначно рассматривалась в советских политических документах как революционная борьба за расширение системы мирового социализма. В марте 1971 г. Л. И. Брежnev, представляя «Программу мира» на XXIV съезде КПСС, объявил: «Соотношение сил на мировой арене сместилось в сторону сил социализма». Внешняя политика СССР подтверждает ее классовый характер и является «формой классовой борьбы, направленной на укрепление мирового социализма, международного коммунистического, рабочего и национально-освободительного движения, всего антиимпериалистического фронта» [10].

«Освобождение человечества от оков капитализма» должно было произойти в процессе «классовой борьбы», а не в результате ядерного уничтожения. Советская доктрина предполагала не только революции и даже революционные войны, но такие, в результате которых к власти приходит «победивший пролетариат». «Освобождение», таким образом, должно было начинаться местными силами, «друзьями», а победоносная Советская армия могла лишь блестяще завершить его, придя на помощь братьям по классу [15].

Исходя из данного доктринального подхода, политика СССР в области разоружения была направлена на то, чтобы не допустить ядерной войны и «укрепить позиции мирового социализма, создать благоприятные возможности для деятельности международного коммунистического, рабочего, национально-освободительного движения». Одновременно советское руководство запустило два параллельных процесса — переговоры с США по ограничению стратегических вооружений (ОСВ-1) и принятие развернутой программы пропагандистских мероприятий, которые включали не только страны Европы, но и США

(например, мероприятия по поддержке протестного движения афро-американцев в США).

Размах пропагандистских мероприятий приходится на период 1976–1979 гг. и в первую очередь связан с участием СССР в Хельсинкском процессе. Советское руководство планировало использовать новые пропагандистские каналы, открытые Хельсинкским процессом.

В связи с созданием в США нейтронного оружия развернулась международная дискуссия по поводу возможностей его применения. Советское руководство решило использовать на полную мощность пропагандистскую машину для дискредитации своего противника и проведения международной мобилизации миролюбивых сил против США.

В Выписке из протокола № 9 § 4с Секретариата ЦК КПСС «О порядке проведения в СССР кампании за прекращение гонки вооружений, за разоружение» содержался план мероприятий, который включал «проведение мероприятий (митингов, сбора подписей) в студенческих строительных отрядах, подготовку киносюжетов о борьбе за мир, выпуск почтовой марки, пересмотр сметы расходов Советскому фонду мира для обеспечения мероприятий и агитации в этом направлении» [5].

Для работы с зарубежными странами был принят документ «Об информации для братских коммунистических и рабочих партий о проведении в СССР кампании за прекращение гонки вооружений, за разоружение», в котором КПСС призывала компартии других стран (58 по списку) приложить все усилия для формирования мирового общественного мнения в пользу укрепления разрядки [6]. Общества дружбы с зарубежными странами, которые активизировали свою деятельность в хрущевский период, также рассматривались как важные инструменты в этой пропагандистской кампании. В 1976 г. было утверждено предложение президиума Союза советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами об увеличении ежегодной материальной помощи с 84 до 171 тыс. инвалютных рублей обществам дружбы с Советским Союзом в Скандинавских странах («Дания – СССР», «Швеция – СССР», «Норвегия – СССР») [7].

Мероприятия движений за мир и разоружение были организованы масштабно, в том числе с активным участием СССР в деятельности Всемирного совета мира, Всемирного форума молодежи, в рамках Форума европейской общественности за разоружение и безопасность. Задействовано было буквально все: молодежные организации, женские, общества ветеранов войны, профессиональные союзы и др. Все они были брошены на осуществление практических мер по укреплению сотрудничества с демократическими организациями и движениями стран Запада.

К примеру, письмо советских ученых в области медицины американским коллегам, авторам заявления «Опасность: ядерная война», прошло процедуру одобрения в Секретариате ЦК КПСС [4].

Параллельно принимались строжайшие меры, чтобы не допустить влияния Запада на советское население. Борьба с правозащитным движением, инакомыслием в СССР развертывалась в контексте борьбы за мир. Известный рос-

сийский правозащитник Л. М. Алексеева в своей лекции «Эстафета поколений» утверждает, что «в демократических странах Запада общественность и даже власти с симпатией отнеслись к общественным инициативам в СССР, Польше и Чехословакии» в области права человека [1].

Советская внешнеполитическая и военная стратегии содержали в себе определенный дуализм. С одной стороны, ведение борьбы с мировым империализмом невоенными методами и борьба за разоружение рассматривались как один из способов достижения цели, а с другой — предусматривалось использование вооруженных методов в случае угрозы системе мирового социализма.

Война в Афганистане, которая, по мнению исследователей, стала крахом мирных и разоружительных инициатив СССР, на самом деле являлась частью политики «социалистического интернационализма», предусматривающей военную помощь странам, вставшим на путь социалистического развития. Идеологически данная политика СССР не противоречила общей стратегии борьбы с мировым империализмом.

Таким образом, анализ доктринальных документов СССР в период с 1955 по 1982 г. демонстрирует, что реальное разоружение не было основной задачей для руководства страны. Декларируемая советским руководством «политика в области разоружения» являлась элементом общей советской политики и идеологии, нацеленной на борьбу с мировым империализмом. Активность заявлений о разоружении была напрямую связана с экономическими трудностями в СССР, динамикой развития ядерных технологий и количественных показателей ядерно-ракетного арсенала в соперничестве с США.

Пример внешнеполитических действий двух партийных руководителей Н. С. Хрущева и Л. И. Брежнева демонстрирует процесс идеологического творчества в рамках интерпретации марксистской теории. Вместе со сменой общей идеологической парадигмы менялось и содержание терминов и метафор в риторике советского руководства о разоружении.

Если в период руководства Н. С. Хрущева политика разоружения базировалась преимущественно на принципах «мирного сосуществования» и «пролетарского интернационализма», то в период руководства Л. И. Брежнева «политика мирного сосуществования» и «пролетарского интернационализма» уступает место принципам построения «мировой системы социализма» и «социалистического интернационализма».

Термины, которыми оперировали политические лидеры СССР, по своему содержанию формировали метаморфическую систему, понятную только советской политической элите и советскому обществу. Термины и понятия формировали некий набор кодов, понятный только в контексте интерпретации марксистско-ленинской теории. Представители западной дипломатии и общественности, аналитики занимались декодированием советской риторики для определения истинных намерений советского руководства [36, 171–194, 38, 73–77], однако для них оставалось неясным, «насколько советские лидеры были реально готовы осуществлять политику в области разоружения» [38, 232].

Архаичность советских внешнеполитических доктрин и представлений об основных тенденциях современного мира была осознана горбачевским руководством,

которое противопоставило классовому делению мира концепцию «целостности и взаимосвязанности мира» [18].

1. Алексеева Л. Эстафета поколений // Московская Хельсинкская группа [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mhg.ru/publications/F1C025E> (дата обращения: 01.12.2012).
2. Арон Р. Демократия и тоталитаризм / пер. с фр. Г. И. Семенова. М., 1993.
3. Архив В. Буковского СТ9/53 «Вопрос Компартии Швеции. Пост. С-та ЦК. Удовлетворена просьба пред. Компартии Швеции: выделено 100 тыс. крон обществу “Швеция — СССР”». 30 нояб. 1961 [Электронный ресурс]. URL: <http://bukovsky-archives.net/pdfs/peace/ct9-61.pdf> (дата обращения: 01.12.2012).
4. Архив В. Буковского. СТ 206/19с «Об ответном письме советских ученых в области медицины американским ученым — авторам заявления “Опасность: ядерная война”. Пост. С-та ЦК». 5 апр. 1980 [Электронный ресурс]. URL: <http://bukovsky-archives.net/pdfs/peace/ct206-80.pdf> (дата обращения: 01.12.2012).
5. Архив В. Буковского. СТ 9/4 «О порядке проведения в СССР кампании за прекращение гонки вооружений, за разоружение. Пост. С-та ЦК». 21 мая 1976 [Электронный ресурс]. URL: <http://bukovsky-archives.net/pdfs/peace/ct9-76.pdf> (дата обращения: 01.12.2012).
6. Архив В. Буковского. СТ11/5 «Об информации братских коммунистических и рабочих партий о проведении в СССР кампании за прекращение гонки вооружений, за разоружение. Пост. С-та ЦК». 8 мая 1976 [Электронный ресурс]. URL: <http://bukovsky-archives.net/pdfs/peace/ct11-76b.pdf> (дата обращения: 01.12.2012).
7. Архив В. Буковского. СТ11/7 «Об увеличении финансовой помощи обществам дружбы с Сов. Союзом скандинавских стран. Пост. С-та ЦК». 6 июня 1976 [Электронный ресурс]. URL: [countries.http://psi.ece.jhu.edu/~kaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/peace/ct11-76.pdf](http://psi.ece.jhu.edu/~kaplan/IRUSS/BUK/GBARC/pdfs/peace/ct11-76.pdf) (дата обращения: 01.12.2012).
8. Архив В. Буковского. СТ 48/90 «О перестройке работы Всесоюзного общества культурных связей с заграницей. Пост. Секретариата ЦК КПСС». 09.05.1957 [Электронный ресурс]. URL: <http://bukovsky-archives.net/pdfs/peace/ct48-57.pdf> (дата обращения: 01.12.2012).
9. Богданов К. Риторика ритуала. Советский социолект в этнолингвистическом освещении // Антропологический форум [Электронный ресурс]. URL: http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/008/08_06_bogdanov_k.pdf (дата обращения: 02.12.2012).
10. Брежнев Л. И. Отчетный доклад Центрального комитета КПСС XXIV съезду Коммунистической партии Советского Союза. 30 марта 1971 г. Заключит. слово 5 апр. 1971. М., 1971.
11. Брежнев Л. И. Дело Ленина живет и побеждает: докл. тов. Л. И. Брежнева на совмест. торжеств. заседании ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР 21 апреля 1970 г., посвящен. столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина // Ленинским курсом : речи и ст. : в 3 т. М., 1974. Т. 2. С. 551–605.
12. Брежнев Л. И. Знамя Октября — знамя борьбы за мир и социализм // Там же. М., 1973. Т. 1. С. 21–29.
13. Брежnev L. I. Коммунистическое движение вступило в новую эру // Там же. М., 1974. Т. 2. С. 433.
14. Брежнев Л. И. Речь на торжественном заседании в Берлине по случаю 20-летия ГДР. 6 окт. 1969 г. // Там же. С. 458–468.
15. Буковский В. Московский процесс. Париж, 1996.
16. Буланов А. И., Крылова И. А. Соотношение политики и ядерной войны: аналит. обзор лит.: 1955–1987 // Вопр. философии. 1988. № 5.
17. Бурлацкий Ф. После Сталина // Новый мир. 1988. № 10. С. 189–196.
18. Горбачев М. С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. М., 1988.

19. КПСС. Съезд. XX съезд Коммунистической партии Советского Союза, 14–25 февр. 1956 г. : стеногр. отчет. М., 1956. Т. 1.
20. Купина Н. А. Тоталитарный язык: словарь и речевые реакции. Екатеринбург ; Пермь, 1995.
21. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем / пер. с англ.; под ред. и с предисл. А. Н. Баранова. Изд. 2-е. М., 2008.
22. Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 24. Сент. 1913 – март 1914. М., 1976. Т. XVI.
23. Там же. Т. 26. Июль 1914 – авг. 1915. М., 1980. Т. XXVIII.
24. Там же. Т. 30. М., 1973 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.biblioclub.ru/book/55039/> (дата обращения: 02.12.2012).
25. Там же. Т. 41 Тбилиси, 1981 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.biblioclub.ru/book/55050/> (дата обращения: 05.12.2012).
26. Мамардашвили М. Необходимость себя. Введение в философию. М., 1996.
27. Михайленко В. И. Европейская политика СССР в 1945–1953 гг. У истоков холодной войны. Екатеринбург, 2006.
28. Михайленко В. И., Нестерова Т. П. Тоталитаризм в 21 веке: теоретический дискурс. Екатеринбург, 2000.
29. Нежинский Л. Н., Чельышев И. А. О доктринальных основах советской внешней политики в годы «холодной войны» // Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945–1985 гг.). Новое прочтение / отв. ред. Л. Н. Нежинский. М., 1995. С. 9–46.
30. Пихоя Р. Г. Москва. Кремль. Власть. Сорок лет после войны, 1945–1985. М., 2007.
31. Правда. 1960. 7 июня.
32. Советская внешняя политика в ретроспективе: 1917–1991 / под ред. А. О. Чубарьяна. М., 1993.
33. Советский энциклопедический словарь. Изд. 4-е, испр. и доп. / гл. ред. А. М. Прохоров. М., 1990.
34. Стенограммы расширенных заседаний Комитета Государственной Думы по вопросам геополитики, 1996–1998 годы. «Геополитическая доктрина Брежнева и внешняя политика СССР в 70–80-е годы: (К 90-летию со дня рождения Л. И. Брежнева)». 19 дек. 1996 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gromyko.ru/Russian/DA/an2.htm> (дата обращения: 05.12.2012).
35. «We Will Bury You!» // Time Magazine. 1956. 26 Nov.
36. Markwick R. D. Peaceful coexistence, detente and third world struggles: the Soviet view, from Lenin to Brezhnev // Australian J. of intern. affairs. 1990 (44). Aug. P. 171–194.
37. Mikhaylenko E. Soviet disarmament policy during the Cold War: the role of the ideological rhetoric // Swedish Disarmament Policy during the Cold War [Электронный ресурс]. URL: http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Conference_Report_Swedish_Disarmament_Policy.pdf (дата обращения: 06.12.2012).
38. Soviet interests in arms control and disarmament: the decade under Khrushchev 1954–1964. Separate summary / by Bloomfield, Lincoln P; Clemens, Walter C; Griffiths, Franklyn // Center for International Studies. Massachusetts Institute of Technology. MIT. Cambridge, MA, 1965.
39. Svenskar i Moscva / Foredrag fran den Rysk-Svenska konferensen, Moskva 1–2 Juni 2000. М., 2000. Р. 235–262.

Рукопись поступила в редакцию 7 декабря 2012 г.

УДК 327.8(470) + 327.8(5-015)

В. Д. Камынин**ПОЛИТИКА РОССИИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В 1990-е гг.**

В работе рассматриваются этапы деятельности России в государствах Центрально-Азиатского региона по обеспечению безопасности с момента распада СССР и образования СНГ и до конца 1990-х гг. Выделяются основные формы обеспечения безопасности и их эволюция в связи с изменением международной обстановки.

Ключевые слова: Россия, Центрально-Азиатский регион, политика в области безопасности.

Большинство современных политиков и экспертов в области политического развития и международных отношений относятся к безопасности и как к предмету концептуализации, и как к сфере деятельности. Обретя в мировом политическом сознании статус общепризнанной ценности, безопасность осталась полем разногласий, проявляющихся в теоретических подходах к ней и в практической политике. Разногласия вызываются несовпадением интересов политических факторов, но сами несовпадения во многом производны от воздействия уникального исторического опыта, особенного мировидения; ими во многом определяются различия в представлениях о том, какая безопасность нужна той или иной стране, тем или иным людям.

На уровне обыденного сознания представления о безопасности распространены повсеместно. А вот как продукт политического сознания и термин «безопасность», и его концептуальные осмысления впервые появились на Западе. Восток и Россия научились говорить на политическом языке безопасности, пользоваться его идиомами; но вряд ли можно утверждать, что в их исполнении эти идиомы строго аутентичны первоисточнику. Даже в рамках западного мира различия в подходах к безопасности не могут трактоваться только как следствие рационального осознания различий в интересах: действуют и такие «идеальные» факторы, как особенности истории и культуры разных стран, влияющие на политическое сознание. Тем с большей уверенностью можно предположить, что в Восточной Европе и на Балканах, на Ближнем и Дальнем Востоке, в Иране и Индии, в России и Средней Азии наличествуют как минимум весьма значимые оттенки в восприятии безопасности. Они улавливаются местным политическим сознанием, отражаются в официальных концепциях безопасности и в политической практике.

Вопрос о содержании представлений о безопасности на Востоке и в России — в их сравнении с такими представлениями на Западе — и об их воздействии на политическую мысль еще не становился в России предметом специального исследования. Данная статья поможет дать на него ответ, пусть даже по преимуществу предварительный.

Более двух десятилетий после распада Советского Союза в Центральной Азии идет процесс формирования новой международно-политической подсистемы. В этой подсистеме складывается сложная мозаичная система региональной безопасности. На становление и эволюцию этой системы решающее влияние оказывают внешние угрозы.

После распада Советского Союза все бывшие союзные республики оказались вне обрамляющей конструкции прежнего Советского Союза, который при всех его недостатках в целом гарантировал жизнь и безопасность своих граждан. Теперь союзные республики должны были принимать на себя ответственность за собственное выживание.

В начале 1990-х гг. остро встал вопрос обеспечения безопасности на постсоветском пространстве. Перед государствами — членами СНГ после его образования остро встали две основные проблемы, которые составляют суть международной безопасности на современном этапе: нераспространение и сокращение вооружений (вооруженных сил) и урегулирование вооруженных конфликтов (миротворческая деятельность).

Союзные республики не были готовы принять на себя ответственность за обеспечение собственной безопасности. По объективным причинам после распада СССР и разрушения единой системы обороны все возникшие новые независимые государства, включая Россию, оказались неспособными эффективно обеспечить собственную безопасность на односторонней основе. В наследство от Советского Союза им досталась более чем трехмиллионная Советская армия. Военная инфраструктура бывшего Союза ССР (системы ПВО и ПРО, стационарные радары, военные порты, системы связи, арсеналы, склады вооружений и другие компоненты системы безопасности) была неравномерно распределена практически между всеми 15 новыми независимыми государствами. Болезненным для всех стран стал разрыв сотрудничества в рамках ранее единого военно-промышленного комплекса. Ядерные вооружения после распада СССР оказались на территории не только России, но и Казахстана, что могло привести к появлению новых ядерных держав и дестабилизации ситуации на международной арене.

Многочисленные этнополитические противоречия, перераставшие в вооруженные конфликты, также требовали своего урегулирования. Важной проблемой стала необходимость взаимодействия с НАТО. Созданная в начале холодной войны, эта военно-политическая организация сумела достаточно безболезненно пережить ее окончание. НАТО трансформировалось и за счет приема новых членов из числа государств — бывших союзников СССР и стран Балтии вплотную приблизилась к границам европейских государств — участников СНГ. Наконец, обострение в 1990-е гг. такой важной глобальной проблемы, как международный терроризм, непосредственно и серьезным образом затронуло постсоветское пространство, что потребовало от членов СНГ координации совместных действий в сфере борьбы с международным терроризмом.

В связи с многочисленными вызовами в сфере международной безопасности в основополагающих документах об образовании СНГ вопросам обеспечения безопасности на постсоветском пространстве было отведено большое место.

Главенствующими в этих документах стали два вопроса: контроль над ядерными вооружениями и создание национальных вооруженных сил.

В статье 6 Соглашения о создании СНГ от 8 декабря 1991 г. было закреплено, что страны — члены Содружества будут сохранять и поддерживать под объединенным командованием общее военно-стратегическое пространство, включая единый контроль над ядерным оружием, создавать необходимые условия для размещения стратегических вооруженных сил, проводить согласованную политику по вопросам социальной защиты и пенсионного обслуживания военнослужащих и их семей [21, 3–4].

Ю. А. Никитина пишет: термин «общее военно-стратегическое пространство» подразумевал сохранение общих вооруженных сил под единым командованием, однако создание суверенных национальных государств без собственных национальных вооруженных сил представлялось нецелесообразным руководству отдельных новых независимых государств [17, 10–11]. В результате данное понятие исчезло из Алма-Атинской декларации, подписанной 21 декабря 1991 г. одиннадцатью государствами СНГ. Действительно, в этом документе речь шла уже только о едином контроле над ядерным оружием и об объединенном командовании военно-стратегическими силами [18, 5–7].

В то же время Ю. В. Косов и А. В. Торопыгин обращают внимание на то, что на встрече в Алма-Ате Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация (РСФСР) и Украина подписали Соглашение о совместных мерах в отношении ядерного оружия. Раскрывая смысл этого документа, авторы пришли к выводу, что «согласно ему ядерные вооружения, входящие в состав объединенных Стратегических вооруженных сил, должны были обеспечивать коллективную безопасность всех участников СНГ. Кроме того, страны подтвердили обязательство о неприменении ядерного оружия первыми; выражалась решимость совместно вырабатывать политику по ядерным вопросам до полной ликвидации ядерного оружия на территориях Белоруссии, Казахстана и Украины, решение о необходимости его применения должен был принимать президент России по согласованию с главами государств — участников Соглашения на основе разработанных процедур. В соглашении закреплены также обязательства не передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывчатые устройства и технологии, а также обязательство осуществлять контроль над такими ядерными устройствами» [12, 96].

Ю. А. Никитина замечает, что «законное право на создание собственных Вооруженных сил» было закреплено в Соглашении Совета глав государств — участников СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках, подписанным в Минске 30 декабря 1991 г. Порядок управления стратегическими силами регулировался особо подписанным 30 декабря 1991 г. Соглашением между государствами — участниками СНГ по стратегическим силам. В нем было отмечено, что совместное командование сохранится только для части вооруженных сил бывшего Союза — стратегических (ядерных), в то время как обычные вооруженные силы будут разделены между государствами. Следующий блок документов был согласован на встрече в Минске 14 февраля 1992 г. В частности, было подписано Соглашение о силах общего назначения на переходный период, где

фиксирувалось, что все нестратегические силы стран — участников СНГ «с их согласия» оказываются в оперативном подчинении главному командованию Объединенных Вооруженных сил. Главнокомандующим ОВС СНГ в тот же день был назначен последний министр обороны СССР маршал Е. И. Шапошников [17, 11].

В принятый 23 января 1993 г. в Минске на заседании глав государств и правительства новых независимых государств Устав Содружества были внесены новые уточнения, касающиеся характера его деятельности. Статья 11 Устава ориентировала государства — члены СНГ на проведение согласованной политики в области международной безопасности, разоружения и контроля над вооружениями, строительства вооруженных сил и на поддержание безопасности в Содружестве, в том числе с помощью групп военных наблюдателей и коллективных сил по поддержанию мира [1, 326–330].

По мнению исследователей, «подобная организация была громоздка, требовала массы согласований, во многом не отвечала стремлениям суверенных государств и могла восприниматься лишь в качестве временной» [12, 98]. Именно поэтому в течение следующих полутора лет продолжилось расхождение по «национальным квартирам», которое привело к реорганизации главного командования ОВС СНГ уже осенью 1993 г. и созданию вместо него Штаба по координации военного сотрудничества государств — участников СНГ [17, 11].

Государства Центральной Азии в этом процессе занимали особую позицию. Эксперты отмечают, что «интересам большинства республик Центральной Азии соответствовала модель не столько полной независимости, сколько независимости, добровольно ограниченной рамками коллективной ответственности за обеспечение обороноспособности, территориальной целостности и макроэкономическое развитие» [15, 228]. Эти государства не хотели раздела вооруженных сил, ибо осознавали, что многим из них содержание собственных армий будет не по карману. Ю. В. Косов и А. В. Торопыгин пишут, что, в отличие от ряда государств — членов СНГ, «сторонниками сохранения единых вооруженных сил были Казахстан, Киргизстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан» [12, 98]. Хотя Казахстан заявил о намерении создать небольшую по численности национальную гвардию — до 20 тыс. человек — для охраны границ и поддержания внутреннего порядка, однако «задачи обороны от внешних врагов предполагалось возложить на объединенные вооруженные силы СНГ» [15, 230].

Тем не менее, поскольку процесс «дележа» был запущен, некоторые из государств Центральной Азии сделали оговорки даже к Соглашению о статусе Стратегических сил СНГ. Так, Казахстан выскзался за заключение соглашения по полигонам [12, 96]. Кроме того, убедившись в неэффективности Объединенных Вооруженных сил СНГ, Казахстан решил создавать собственные вооруженные силы. Исследователи отмечают: «Осторожность казахстанского руководства в вопросах внешней политики создавала уникальные возможности для преобразования отношений между РСФСР и Казахской ССР как двумя союзными республиками в рамках Советского Союза в мощный комплекс “особых” отношений между Россией и Казахстаном как независимыми государствами.

Отношения между ними могли развиваться по формуле японо-американского союза: одна из сторон делегирует другой стороне по взаимному согласию функцию обеспечения ее обороны от внешних угроз. Россия могла сохранить ответственность за обеспечение безопасности Казахстана. В этом случае, правда, на нее легли бы дополнительные военные расходы, поскольку Казахстан в тот момент был экономически существенно слабее России. Но долгосрочные политические приобретения обеих сторон от такой формулы отношений могли намного превзойти финансовые издержки» [15, 230].

Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев, выступая 5 октября 1992 г. на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, выразил основную озабоченность стран Центрально-Азиатского региона. По его словам, «даже один прецедент с пересмотром ныне существующих границ вызовет цепную реакцию геополитического распада с непредсказуемыми последствиями». Взрывоопасность ситуации в Центральной Азии он объяснял тем, что международное право, призванное обеспечивать безопасность в регионе, не справляется с этой задачей. Н. А. Назарбаев сказал: «Говоря о значимости принципа нерушимости государственной территории, хочу также подчеркнуть, что права национальных меньшинств сегодня нередко отождествляются с правом наций на самоопределение, вплоть до создания самостоятельных государств. Если придерживаться такого подхода, то гипотетически в мире может появиться несколько тысяч экономически слабых суверенов» [3, 431].

В начале 1990-х гг. ситуация для России в Центральной Азии сложилась исключительно благоприятная. По мнению К. Н. Кулматова и А. В. Митрофановой, «центральная роль России в Евразии объясняется ее экономическим и военным потенциалом и geopolитической значимостью. Стартовая позиция России (сразу после распада СССР) была очень выгодной, т. к. новые независимые государства находились в состоянии экономического и политического хаоса и не оспаривали российской гегемонии. В то же время внешние акторы еще не начали активной работы на постсоветском пространстве. Не случайно Россия начала явочным порядком выполнять в регионе функции миротворца – никто другой этого делать не мог и не хотел. Стратегические ядерные силы России можно было использовать для защиты всех постсоветских государств» [13, 196–197].

Эксперты полагают, что Россия в начале 1990-х гг. не воспользовалась благоприятной ситуацией и упустила время для того, чтобы занять ведущее место в регионе. Это произошло из-за того, что «российская политика в отношении государств Центральной Азии в тот момент строилась по остаточному принципу: основное внимание российская дипломатия уделяла европейским партнерам. Перспективы превращения Казахстана в нефтяную державу не были должным образом оценены в окружении президента России Б. Н. Ельцина» [15, 230]. К. Н. Кулматов и А. В. Митрофанова замечают: «Сразу после распада СССР Россия потеряла интерес к Центральной Азии, рассматривая ее в духе “меморандума Бурбулиса” (октябрь 1991 г.) как лишний груз, который можно отбросить на пути интеграции с Западом» [13, 204].

Следует отметить, что сразу же после распада Союза ССР были предприняты попытки сохранения единого оборонного и стратегического пространства.

Раздел советского ядерного наследства в конечном итоге и привел к тому, что на постсоветском пространстве осталось только одно ядерное государство. В то же время процесс «дележа» происходил достаточно сложно. Для мирового сообщества наиболее важной частью пакета документов об образовании СНГ было именно ядерное измерение, в частности, заявления стран-учредителей и стран-членов сначала о совместном контроле четырех новых независимых ядерных государств над ядерным оружием и обеспечением его нераспространения, а затем о вывозе оставшихся ядерных вооружений с территории Казахстана, Украины и Белоруссии в Россию, что обеспечило сохранение ядерного статуса только за Российской Федерацией.

Б. А. Шмелев приходит к выводу, что «в этих основополагающих документах были закреплены принципиальные основы формирования СНГ, которое виделось как военно-политический и экономический союз государств, возникших на руинах Советского Союза. Огромное значение имели закрепленные в них положения об отказе от территориальных претензий друг другу и о признании бывших административных границ в качестве межгосударственных. Это уберегло постсоветское пространство от кровавой трагедии, аналогичной той, что разыгралась на месте бывшей Югославии, когда населявшие ее народы приступили к строительству национальных государств в этнических границах» [9, 165]. По мнению В. Егорова и А. В. Загорского, несмотря на то, что на первом этапе строительства военно-политических отношений на постсоветском пространстве попытки сохранения объединенных вооруженных сил под единым командованием провалились, полтора года существования Объединенных Вооруженных сил СНГ стали тем переходным периодом, который позволил странам — членам Организации относительно мирно разделить советское военное наследство, что, несомненно, является положительным результатом [10, 116].

В 1990-е гг. в Центральной Азии началось формирование нового международно-политического пространства. Это было связано с начавшимся процессом трансформации, превращения бывших союзных республик в полноценные независимые государства Центральной Азии. После распада СССР в Центральной Азии начала складываться «многослойная» структура сотрудничества в области обеспечения безопасности.

Шло сотрудничество по линии СНГ, которое оставалось главной обрамляющей политической рамкой и главной платформой многостороннего диалога по проблемам отношений между государствами — членами СНГ. По линии СНГ был продолжен начатый еще в 1991 г. процесс раздела инфраструктуры Вооруженных сил СССР, оказавшихся за пределами России. В 1992 г. в Бишкеке было подписано соглашение, которое закрепляло за странами СНГ право на военное имущество, прежде принадлежавшее Вооруженным силам СССР и расположенному на их территории. Самое большое наследство досталось Казахстану и Узбекистану. Размещенная на территории Казахстана 40-я армия — одна из самых боеспособных в ВС СССР, оснащенная после вывода из Афганистана новейшей бронетехникой, зенитной и реактивной артиллерией, — досталась Казахстану. Вооруженные силы Узбекистана получили более 300 танков, свыше 100 истребителей и 100 вертолетов.

В рамках СНГ существуют многосторонние структуры, позволяющие обеспечивать безопасность в Центрально-Азиатском регионе. В 1995 г. всеми странами региона было подписано соглашение о создании Объединенной системы ПВО стран СНГ, предназначеннной для охраны воздушных границ Содружества и наблюдения за военно-космической обстановкой. Для координации сотрудничества по этой линии действует координационный комитет во главе с командующим войсками ПВО России, К. Н. Кулматов и А. В. Митрофанова называют этот документ одним из «полезных практических соглашений» [13, 184]. С 1996 г. вопросы в сфере военного сотрудничества стран Договора о коллективной безопасности разрабатывались в рамках Штаба по координации военного сотрудничества (ШКВС) СНГ.

Ряд государств — членов СНГ решили придать военно-политическому сотрудничеству более четкие правовые формы.

15 мая 1992 г. в Ташкенте главами шести государств СНГ (Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана, в сентябре 1993 г. к ним присоединился Азербайджан, в декабре того же года — Грузия и Белоруссия) был подписан Договор о коллективной безопасности (ДКБ) [7, 418–420]. По поводу процедуры заключения договора в литературе существуют определенные разногласия. Ю. А. Никитина указывает: «Договор вступил в силу для всех девяти его участников в апреле 1994 г. на пятилетний срок без автоматического продления» [17, 13]. Другие авторы подчеркивают, что договор был заключен «с возможностью его последующего автоматического продления» [15, 230]. 1 ноября 1995 г. ДКБ был зарегистрирован в Организации Объединенных Наций. Договор открыт для присоединения государств, разделяющих его цели и принципы.

Туркменистан не подписал Договор, так как с самого начала стал проводить политику нейтралитета (в 1995 г. Генассамблея ООН признала этот статус [19, 446–447]). По оценке экспертов, после распада СССР С. Ниязов быстро понял, что интересам его державы, играющей значительную роль в мировой энергетике, «отвечает не сохранение особых отношений с Россией, а лавирование между наиболее влиятельными странами в непосредственном региональном окружении и мире в целом». Поэтому Туркмения в 1992 г. уклонилась от подписания Ташкентского договора, давая понять, что не стремится сохранять военно-политические связи с Россией. С туркменской территории были удалены российские войска, включая части пограничной охраны [15, 252].

По мнению А. Г. Дугина, «Договор о коллективной безопасности между странами СНГставил первоначальной целью сохранение суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя стран — участниц договора» [8, 53–54]. Ю. А. Никитина замечает: «ДКБ стал логическим продолжением договоренностей, достигнутых ранее между странами СНГ; в документе учитывалось как существование на тот момент объединенных Вооруженных сил СНГ, так и перспектива создания новыми независимыми государствами собственных вооруженных сил» [17, 13]. Ю. В. Косов и А. В. Торопыгин обращают внимание на то, что «ДКБ с самого начала был выведен за рамки СНГ» [12, 104].

В то же время исследователи указывают, что Ташкентский договор не мог служить основой эффективной военно-политической организации в регионе в силу целого ряда причин.

Поводом для таких суждений могут служить основные положения ДКБ. Юридически договор выглядел как «сильный» из-за присутствия в нем четвертой статьи, аналогичной статье 5 Североатлантического договора, в соответствии с которой агрессия против одного государства-члена рассматривается как агрессия против всех членов организации. В случае конфликтов с участием государств, подписавших ДКБ, или агрессии какого-либо государства или группы государств против участника Договора остальные страны-члены должны немедленно предпринять политические и военные действия для восстановления мира и предотвращения агрессии. В соответствии со ст. 4 все государства представляют жертве агрессии «необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимся в их распоряжении средствами в порядке осуществления прав на коллективную оборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН». При этом о любых мерах, принятых в соответствии со ст. 4, государства ДКБ сразу же поставят в известность Совет безопасности ООН.

Однако не менее важной может оказаться и статья 2 Договора, согласно которой «[в] случае возникновения угрозы безопасности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств-участников либо угрозы международному миру и безопасности государства-участники будут немедленно приводить в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций и принятия мер для устранения возникшей угрозы» [2, 44].

В ст. 4 речь идет о нападении со стороны государства или группы государств, однако с момента подписания Договора изменился характер угроз безопасности странам-членам, и наиболее вероятным сценарием возникновения угрозы, скажем в Центральной Азии, можно считать вторжение группы боевиков с территории Афганистана на территорию одной или нескольких стран Центральной Азии, а такое развитие событий не подпадает под ст. 4, поскольку речь не идет о нападении государства. В таком случае подобное нападение экстремистов вероятнее всего будет рассматриваться в рамках ст. 2, согласно которой государства всего лишь вступят в консультации для обсуждения необходимых ответных мер.

Многие эксперты полагают, что Договор на деле оказывается менее обязывающим, чем принято считать. Во-первых, специалисты по международному праву указывают, что ст. 51 Устава ООН, на которую ссылались участники ДКБ, допускает различные интерпретации «права на самооборону» [20, 65]. Во-вторых, эффективность Ташкентского договора снижали противоречия между подписавшими его сторонами. Таджикистан вступил в него с серьезными намерениями, добиваясь военной помощи от России из страха перед возможным вмешательством со стороны Узбекистана и интервенцией исламских экстремистов с территории Афганистана. Узбекистан присоединился к договору отчасти ввиду неопределенности ситуации в соседнем Таджикистане. В силу захвата власти в этой стране исламистами волна экстремизма из Таджикистана могла

хлынуть в Узбекистан, и ему понадобилась бы военная помощь, источником которой в начале 1990-х гг. могла быть только Россия [15, 240–241]. Кроме того, следует учитывать, что государства Центральной Азии ориентировались на союз с различными странами. Таджикистан ориентировался на Россию, Казахстан и Киргизия склонялись к сотрудничеству с Россией и Китаем, Узбекистан — с Россией, Турцией и США, Туркмения — с Россией, Турцией и Ираном.

Эксперты считают, что Ташкентский договор был подписан «в спешке, в обстановке, когда было невозможно составить представления о реальных интересах новых независимых государств в сфере безопасности. В этом смысле он был уязвим, т. к. не учитывал многообразия политических, экономических и иных альтернатив, с которыми вскоре столкнулись молодые государства» [Там же, 308].

В первой половине 1990-х гг. произошло развитие правовой и институциональной основы интеграционных процессов в рамках ДКБ, было завершено создание вооруженных сил государств-участников: разработана программа научно-технического сотрудничества и начата ее реализация; разработаны и приняты правовые акты, регламентирующие функционирование системы коллективной безопасности.

В Концепции коллективной безопасности, принятой в 1995 г., были перечислены основные источники военной опасности государствам ДКБ: это, в частности, территориальные споры, локальные конфликты вблизи границ стран-участниц, использование (в том числе несанкционированное) оружия массового уничтожения (ОМУ), распространение ОМУ (что может быть использовано в своих целях отдельными государствами, организациями и террористическими группами), нарушение договоренностей по ограничению и сокращению вооружений, попытки вмешательства извне с целью дестабилизации внутриполитической обстановки и — на последнем месте — международный терроризм вместе с политикой шантажа. Таким образом, речь в Концепции шла об угрозах, исходящих от государственных акторов. При этом в свете «цветных» революций последних лет удивительно актуально звучит пункт о вмешательстве извне с целью дестабилизации внутриполитической обстановки. Среди реальных угроз странам ДКБ на современном этапе также можно назвать упоминаемые в Концепции локальные конфликты вблизи границ стран-членов, — имелась в виду прежде всего нестабильная обстановка в Афганистане, которая отмечалась с 1992 г.

Исследователи полагают, что конфликты в Центральной Азии показали невысокую эффективность Ташкентского договора с тем кругом участников, которые к нему присоединились, и с точки зрения целей, которые были в нем официально заявлены. Это проявилось, в частности, во время гражданского конфликта в Таджикистане, к которому оказались причастны Россия, Узбекистан, Афганистан и Иран. Урегулирование данного конфликта происходило по линии СНГ, соответствующие решения принимались Советом глав государств СНГ (а не Советом коллективной безопасности), за ДКБ же оставалась зарезервированной функция обороны от внешних угроз. Таким образом, не совсем корректными с правовой точки зрения представляются утверждения руководства

ОДКБ, что урегулирование межтаджикского конфликта является заслугой ДКБ. Хотя фактически в урегулировании участвовали только члены ДКБ, которые выделили контингенты для коллективных миротворческих сил СНГ, сам механизм Договора не был задействован. Правда, следует отметить, что оперативное руководство миротворческой операцией в Таджикистане осуществлял ШКВС, который до создания Объединенного штаба ОДКБ работал и на реализацию ДКБ, что и могло привести к заявлениям о причастности ДКБ к урегулированию.

ДКБ создавал юридическую базу для формирования многонациональных миротворческих сил СНГ, ядро которых составляли контингенты России. Многонациональные миротворческие силы в некоторых случаях оказывали сдерживающее влияние на региональные конфликты [11, 316]. Миротворчество облегчало России сотрудничество со странами СНГ в охране внешних границ Содружества.

Таким образом, уже на первом этапе существования ДКБ (1992–1996) можно отметить размежевание между военно-политическим сотрудничеством в формате СНГ и формате ДКБ. Содружество занималось урегулированием внутренних конфликтов, миротворчеством. За ДКБ было закреплено отражение внешних угроз.

Вместе с тем следует учитывать, что стратегический курс России в отношениях с государствами — участниками СНГ в области обеспечения национальной безопасности заключался в создании системы коллективной безопасности на основе как Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г., так и двусторонних соглашений между государствами СНГ.

Вследствие этого двусторонние соглашения можно считать третьим уровнем обеспечения безопасности в Центральной Азии. В первой половине 1990-х гг. Россия была единственной страной мира, которая располагала возможностями и политической волей оказать военную помощь правительствам новых государств в защите их суверенитета от покушений со стороны группировок местных и зарубежных радикалов. В 1992–1993 гг. Россия подписала ряд важных двусторонних соглашений, в которых обговаривались меры по обеспечению безопасности в Центральной Азии. Основной формой двустороннего сотрудничества стало подписание Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, которые РФ заключила с Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном.

25 мая 1992 г. Казахстан и РФ заключили Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи [6, 422–430]. В этом документе было сформулировано положение о создании общего военно-стратегического пространства России и Казахстана, что предусматривало совместное использование военных баз, полигонов и иных военных объектов. Позиция Казахстана в этом вопросе была озвучена Н. А. Назарбаевым. Он полагал, что стороны, подписавшие Договор, придерживаются «неукоснительного соблюдения межгосударственных отношений, территориальной целостности и нерушимости границ, отказа от любых форм экономического давления и т. д.» [16, 27].

10 июня 1992 г. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи был подписан между Республикой Кыргызстан и РФ. Он заложил основы

военно-политического сотрудничества между двумя странами. Киргизия не могла своими силами защитить себя от исламских экстремистских организаций из Афганистана.

25 мая 1993 г. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи был подписан между Таджикистаном и Россией. Военно-политическое сотрудничество двух стран получило юридическое основание. В договоре были определены условия пребывания на таджикской территории частей российской армии (201-й дивизии численностью около 7 тыс. человек) и пограничной службы (16 тыс. человек).

Узбекистан и РФ заключили между собой двусторонний договор иного типа: 30 мая 1992 г. был подписан российско-узбекский договор об основах межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве. В отличие от договора между РФ и Казахстаном он не предусматривал ничего похожего на идею «общего пространства безопасности». Скорее это был договор о нейтралитете и отсутствии у сторон взаимных претензий. Текст договора не содержал статей об оказании сторонами военной помощи.

В первой половине 1990-х гг. происходило дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества между РФ с государствами Центральной Азии в области военно-политического сотрудничества.

В марте 1994 г. между РФ и Узбекистаном была подписана декларация о всестороннем сотрудничестве, в которой были обговорены соответствующие обязательства России по поставкам Узбекистану вооружений и оказанию военно-технической помощи.

28 марта 1994 г. между Россией и Казахстаном был подписан большой пакет документов о сотрудничестве в военной сфере. Главным из них является Договор о военном сотрудничестве [4, 435–437], в соответствии с которым были подписаны документы о военно-техническом сотрудничестве, стратегических ядерных силах, временно расположенных на территории Казахстана, оказании услуг военного назначения и расчетах за военно-техническое сотрудничество. Также было подписано соглашение о демонтаже ядерного устройства, заложенного на Семипалатинском ядерном полигоне до его закрытия [15, 232].

В октябре 1994 г. между РФ и Таджикистаном было подписано соглашение о командировании в Таджикистан российских военных советников и специалистов.

В первой половине 1990-х гг. российские пограничники продолжали обеспечивать охрану внешних границ государств СНГ, в том числе Таджикистана, Казахстана и Киргизии, о чем с рядом из них были заключены соглашения. Основополагающим документом в этом смысле стал договор о сотрудничестве в охране границ государств СНГ со странами, не входящими в Содружество, от 26 мая 1995 г. Его подписали 8 государств, в том числе Таджикистан, Казахстан, Киргизия и Узбекистан [Там же, 241–242].

Вместе с тем удаление российских пограничников из Туркменистана создало угрозу для вторжения на территорию Центральной Азии исламских экстремистов из Афганистана. К середине 1990-х гг. на положении в Центральной Азии стал серьезно сказываться конфликт в Афганистане, ибо он стал посте-

пенно переливаться сначала на сопредельную территорию Таджикистана, а далее — через земли Ферганы в Узбекистан и Киргизию. В октябре 1996 г. в Алма-Ате руководители России, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Киргизии высказали отрицательное отношение к приходу талибов к власти в Кабуле.

Таким образом, в первой половине 1990-х гг. Россия выступила в Центральной Азии в качестве стабилизирующего фактора. Была решена судьба военной инфраструктуры Вооруженных сил СССР, оказавшейся вне территории России. Российские войска помогали защищать внешние границы государств и оказывали сдерживающее влияние на деятельность вооруженных группировок, которые стали возникать в ряде регионов. Военная помощь России сыграла решающую роль в нормализации ситуации в Таджикистане. Россия сыграла огромную роль в формировании национальных вооруженных сил, подготовке их кадрового состава, боевого и материально-технического оснащения. Вместе с тем в то время в Центральной Азии сложился клубок противоречий, который угрожал безопасности в регионе. Не были ликвидированы региональные конфликты — гражданские войны в Таджикистане и Афганистане, а также антиправительственные движения в Ферганской долине. Россия стояла перед необходимостью непосредственного участия в урегулировании конфликтов.

Во второй половине 1990-х гг. произошла определенная стабилизация региональной подсистемы в Центральной Азии. Это время характеризовалось постепенным выходом международных отношений в Центральной Азии из кризиса трансформации, связанного с превращением бывших союзных республик в полноценные независимые государства. Самый крупный очаг региональной нестабильности — война в Таджикистане — был ликвидирован.

В те годы в регионе продолжала действовать «многослойная» структура сотрудничества в области обеспечения безопасности. Шло сотрудничество по линии СНГ, которое оставалось главной обрамляющей политической рамкой и главной платформой многостороннего диалога по проблемам отношений между государствами — членами СНГ. Регулярные саммиты СНГ позволяли снимать взаимные сомнения, претензии и раздражения между странами или их руководителями, координировать подходы по различным вопросам.

Главным для России уровнем сотрудничества в области обеспечения безопасности было двустороннее сотрудничество. В подписанные ранее договоры в 1997–2000 гг. были внесены существенные корректировки.

После урегулирования межтаджикского конфликта 16 апреля 1999 г. Россия и Таджикистан подписали соглашение о сохранении присутствия российского пограничного отряда на территории республики и преобразовании 201-й российской дивизии, дислоцированной в Таджикистане, в военную базу [5, 462–463].

Но в целом участие России в охране внешних границ государств Центральной Азии свертывалось. Россия в разной степени участвовала в охране границ Казахстана и Киргизии. В 1998–1999 гг. пограничное присутствие России по настоянию принимающей стороны было свернуто в Туркменистане. Узбекистан пытался защищать свои границы самостоятельно. В условиях отсутствия у государств Центральной Азии средств и собственных пограничных формирований

с территории Афганистана и Ирана в Центральную Азию стали активнее проникать как отдельные лица, так и вооруженные группы. Многие проникали в Ферганскую долину, поделенную между несколькими государствами (Узбекистан, Таджикистан, Киргизия).

Главным для молодых государств Центральной Азии, которые не могли собственными силами гарантировать свою безопасность, было военно-политическое сотрудничество с Россией на многосторонней основе в рамках ДКБ.

В 1996 г. началось обучение военнослужащих стран СНГ в России, однако подготовка кадров осуществлялась либо на платной основе, либо на льготной, что приводило к взаимозачетам (долг за содержание обучающихся списывался в счет долга России за аренду военных объектов на территории направляющих стран), в результате чего военные вузы получали не весь объем средств [14]. В 1998 г. было подписано Соглашение о развитии сотрудничества в области подготовки военных кадров в рамках СНГ, которое, однако, носит общий характер и льгот не предусматривает.

В мае 1999 г. истекал пятилетний срок Ташкентского договора, вступившего в силу в 1994 г. Грузия, Узбекистан и Азербайджан отказались продлевать свое участие в нем. Оставшиеся в рамках Ташкентского договора о коллективной безопасности Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Россия решили пролонгировать действие ДКБ. 2 апреля 1999 г. ими был подписан Протокол о продлении ДКБ и переводе Договора на новый уровень. Причиной этого решения эксперты считают то, что первое пятилетие Договор находился в виртуальном состоянии и его нужно было наполнить конкретным содержанием.

Таким образом, к началу XXI столетия назрела необходимость как для России, так и для государств Центральной Азии поменять формы сотрудничества в области обеспечения безопасности в регионе. Многие формы сотрудничества, применявшиеся в этой области в 1990-е гг., показали свою неэффективность. Кроме того, возникли новые вызовы, которые обострили и без того напряженную обстановку в Центрально-Азиатском регионе.

-
1. Внешняя политика и безопасность современной России : хрестоматия : в 2 т. М., 1999. Т. 2.
 2. Военное сотрудничество: сб. основных док. в области военного сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств. Минск, 1996.
 3. Выступление президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Нью-Йорк, 5 октября 1992 г. // Международные отношения в Центральной Азии. События и документы. М., 2011.
 4. Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о военном сотрудничестве // Там же.
 5. Договор между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о статусе и условиях пребывания российской военной базы на территории Республики Таджикистан // Там же.
 6. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Казахстан // Там же.

7. Договор о коллективной безопасности // Там же.
8. Дугин А. Г. ШОС, ОДКБ, ЕврАзЭС как инструменты создания нового мироустройства // Изв. Урал. гос. ун-та. Сер. 3. Общественные науки. 2010. № 3 (80).
9. Евразия в поисках идентичности. М. ; СПб., 2011.
10. Егоров В., Загорский А. В. Сотрудничество государств СНГ в военно-политической области // Исследование ЦМИ МТИМО. М., 1993.
11. Конфликты на Востоке: этнические и конфессиональные / под ред. А. Д. Вознесенского. М., 2008.
12. Косов Ю. В., Торопыгин А. В. Содружество Независимых Государств: Институты, интеграционные процессы, конфликты. М., 2009.
13. Кулматов К. Н., Митрофанова А. В. Региональные аспекты международных отношений. М., 2010.
14. Кускова С. Ратификация проблем не убавила // Военно-промышленный курьер. 2006. № 47. 6 дек.
15. Международные отношения в Центральной Азии. События и документы. М., 2011.
16. Назарбаев Н. А. Евразийский союз: идеи, практика, перспективы, 1994–1997. М., 1997.
17. Никитина Ю. А. ОДКБ и ШОС: модели регионализма в сфере безопасности. М., 2009.
18. Протокол к Соглашению о создании Содружества Независимых государств, подписанныму в г. Минске Республикой Беларусь, Российской Федерацией (РСФСР), Украиной (Алма-Ата, 21 декабря 1991 г.) // Содружество. 1992. № 1.
19. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/50/80 «Постоянный нейтралитет Туркменистана» // Международные отношения в Центральной Азии. События и документы.
20. Скотников Л. А. Право на самооборону и новые императивы безопасности // Международная жизнь. 2004. № 9
21. Соглашение о создании Содружества Независимых государств (Минск, 8 декабря 1991 г.) // Содружество : информ. вестн. Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 1992. № 1.

Рукопись поступила в редакцию 30 ноября 2012 г.

УДК 327.8(470) + 327.8(5-015)

Р. С. Мухаметов**МЕСТО И РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ**

В статье излагаются основные положения российской военной помощи государствам Центральной Азии, анализируются миротворческие функции Организации Договора о коллективной безопасности, рассказывается о функционирование КСБР и КСОР.

Ключевые слова: Организация Договора о коллективной безопасности, Центральная Азия, Коллективные силы быстрого реагирования, Коллективные силы оперативного реагирования, национальные интересы.

После распада Советского Союза перед внешней политикой России встала задача наладить отношения с новыми независимыми государствами — бывшими республиками СССР. Это связано с тем, что для большинства государств их основные внешнеполитические задачи сосредоточены в том географическом регионе, где они расположены. Поэтому развитие отношений сотрудничества с соседними странами является для Москвы приоритетным направлением внешней политики, составляет первый круг забот дипломатов. Для России таковыми являются отношения с государствами ближнего зарубежья, которые были, остаются и будут на обозримую историческую перспективу зоной ее жизненно важных интересов. По нашему мнению, это продиктовано отнюдь не пресловутыми «имперскими амбициями», которые определенные силы за рубежом упорно пытаются приписать Москве. Для РФ постсоветское пространство не шахматная доска для разыгрывания geopolитических партий. Национальные интересы страны в ближнем зарубежье имеют также отнюдь не эмоциональную и не конъюнктурную окраску. Они основываются не на сиюминутных, прикладных или ведомственных задачах, а на постоянных приоритетах. Они объективны и обусловливаются географическими, экономическими, историческими, культурными и другими факторами.

С точки зрения национальных интересов России важным регионом на территории бывшего Союза ССР является Центральная Азия. Сегодня в этот регион включают Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Значимость данного geopolитического пространства для России определяется, на наш взгляд, следующими обстоятельствами.

«Желая себе спокойствия, молись за покой окружающих», — писал средневековый буддийский монах Нитирэн. Эта максима особенно актуальна для России, которая заинтересована в урегулировании имеющихся и предотвращении возникновения новых очагов напряженности и конфликтов в прилегающих к Российской Федерации регионах. Москва не может позволить себе полностью свернуть свое присутствие в ближнем зарубежье либо просто уйти оттуда, отстраниться от конфликтов и тем более от участия в их урегулировании.

нии. Как нам представляется, это обусловлено прямым воздействием «очагов напряженности» в непосредственной близости от границ России на обстановку внутри страны. Кроме того, сопряженные с конфликтами разрушения, нарушения прав человека и насилие рождают потоки беженцев и вынужденных переселенцев, значительная часть которых направляется в Россию.

Таким образом, главные внешнеполитические усилия Москвы должны быть сосредоточены на достижении следующих целей: на содействии устранению имеющихся и предотвращению возникновения новых очагов напряженности и конфликтов в Центрально-Азиатском регионе; на всесторонней защите прав и законных интересов российских граждан и соотечественников, проживающих за рубежом. Иными словами, первостепенной задачей России является недопущение дестабилизации обстановки в Центральной Азии [8, 153–163]. На данный момент основными источниками военной опасности в данном регионе принято считать:

- 1) территориальные притязания других стран к государствам региона;
- 2) существующие и потенциальные очаги локальных войн и вооруженных конфликтов в непосредственной близости от внешних границ региона (например, Афганистан, Иран).

На настоящий момент основным гарантом обеспечения внешнеполитических приоритетов России в регионе, одной из структур, способной противодействовать традиционным и нетрадиционным угрозам и вызовам, является Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В рамках ОДКБ предусмотрен механизм консультаций в случае возникновения угрозы безопасности, территориальной целостности и суверенитету одному или нескольким Центрально-Азиатским государствам (статья 2 Договора о коллективной безопасности). Однако самым важным пунктом Договора является статья 4, согласно которой в случае совершения акта агрессии против какого-либо государства или группы государств Центрально-Азиатского региона Россия должна немедленно предпринять политические и военные действия для восстановления мира. В соответствии с Договором Россия должна предоставить жертве агрессии необходимую помощь, включая военную, а также обязана оказать поддержку всеми находящимися в ее распоряжении средствами [4, 6]. Другими словами, именно Москва берет на себя обязательства защищать территориальную целостность и суверенитет этих стран. Это связано с тем, что в основе Договора о коллективной безопасности лежит принцип неделимости безопасности, т. е. Россия рассматривает вооруженное нападение на государство — члена ОДКБ как агрессию против себя.

Таким образом, по линии ОДКБ Россия получает правовую основу для применения военной силы в случае, если одно из государств Центральной Азии подверглось вооруженной агрессии. Кроме того, Россия и государства Центрально-Азиатского региона скреплены прочными оборонительными связями, включающими и ядерный зонтик со стороны Москвы. Понятие «ядерный зонтик» означает, что в случае ядерного удара по какой-либо стране ее страна-союзник, обладающая ядерным оружием, ответит массированным ударом по стране-агрессору. В частности, в одном из программных документов ОДКБ

сказано, что стратегические ядерные силы РФ выполняют функцию сдерживания от возможных попыток осуществления агрессивных намерений против государств – участников ОДКБ [7]. Согласно Военной доктрине «Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения» [2].

Необходимость обеспечения интересов национальной безопасности Российской Федерации, выполнения ею взятых на себя международных обязательств обуславливает военное присутствие России в Центральной Азии. Так, в Киргизии дислоцирована 999-я авиабаза «Кант». Она предназначена для базирования российской авиационной группировки, которая способна решать широкий спектр боевых задач в случае возникновения реальной внешней угрозы одному из государств Центральной Азии. Авиабаза функционирует в качестве авиационного компонента Коллективных сил быстрого реагирования (КСБР) Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности. Ее присутствие является гарантом обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

В Таджикистане дислоцирована 201-я российская военная база. Она предназначена для поддержания мира и стабильности в Центрально-Азиатском регионе, поддержки таджикских пограничников на границе с Афганистаном, а также для оказания помощи вооруженным силам республики. Ее численность – около 7 тыс. военнослужащих. В составе базы три мотострелковых полка, самоходный артиллерийский полк, зенитный ракетный полк, отдельный дивизион установок системы залпового огня «Град», а также авиа группа в составе семи боевых вертолетов. Данная база является самым крупным воинским соединением России за ее пределами [3].

Правовой основой учреждения военных баз являются договоры и соглашения, заключенные в том числе и по линии ОДКБ.

Кроме того, лидеры ОДКБ договорились размещать военные базы третьих держав на своей территории только с согласия всех партнеров по Организации. Сейчас на территории Киргизии расположена база ВВС США. Ее разместили в бишкекском международном аэропорту Манас в 2001 г. в рамках операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане. Позднее она была переименована в Центр транзитных перевозок (ЦТП), который является ключевым пунктом переброски техники и военнослужащих США к местам боевых действий в Афганистане.

Внешнеполитическим приоритетам России отвечает использование на территории государств ближнего зарубежья военных и научно-исследовательских объектов. На территории Казахстана остались самые крупные в ближнем зарубежье военные объекты бывшего Союза ССР, которые продолжают иметь важное значение для обеспечения обороноспособности России. В настоящее время Москва продолжает эксплуатировать в Казахстане семь крупных военных объектов, а именно космодром «Байконур»; летно-испытательный центр; полигоны «Сары-Шаган» и «Эмба»; 20-ю отдельную станцию, предназначенную для обеспечения проведения испытаний ракетной техники и боеприпасов; отдельный радиотехнический узел 3-й отдельной армии ракетно-космической обороны

Космических войск ВС России; отдельный полк транспортной авиации ВВС России. На территории Киргизии дислоцируются четыре российских военных объекта: узел дальней связи ВМФ РФ в Чуйской области, испытательная база противолодочного вооружения на озере Иссык-Куль, сейсмическая станция и радиосейсмическая лаборатория для контроля за испытаниями ядерного оружия в других странах. В Таджикистане также находится оптико-электронный комплекс контроля космического пространства «Нурек» (другое его название — «Окно»).

Проблема международного терроризма заслуживает отдельного рассмотрения: в Центральной Азии оперируют международные террористические организации или их подразделения, радикально настроенные исламские фундаменталисты, экстремистские группировки, что вызывает обеспокоенность как государств региона, так и всего мирового сообщества. В Центрально-Азиатском регионе можно выделить несколько наиболее активных международных террористических организаций, которые представляют реальную угрозу региональной безопасности и стабильности, а именно «Исламское движение Узбекистана» (ИДУ), «Хизб-у-Тахрир», «Братья-мусульмане». Самыми известными примерами террористической активности являются проникновения в 1999 и 2000 гг. отрядов боевиков ИДУ из Афганистана через Таджикистан на территорию Узбекистана и Киргизии для создания в Ферганской долине исламского халифата и его распространения на весь Центрально-Азиатский регион. Однако в результате оперативно осуществленных мер государствами — участниками ДКБ была нейтрализована угроза, созданная широкомасштабными действиями вооруженных бандформирований.

Активизация боевиков Исламского движения Узбекистана на территории Узбекистана и Киргизии в 1999 и 2000 гг. подтолкнула Россию и страны Центральной Азии к заключению многосторонних соглашений, в частности к созданию в 2001 г. Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности, которые были сформированы к 1 августа 2001 г. В их состав вошли части и подразделения вооруженных сил Казахстана, Киргизии, Российской Федерации и Таджикистана. Сегодня в составе КСБР ЦАР 10 батальонов: по три от России и Таджикистана и по два от Казахстана и Киргизии. Численность личного состава — около 4 тыс. человек. По решению Совета коллективной безопасности в апреле 2003 г. в состав КСБР вошла авиационная компонента — российская авиабаза, дислоцированная в г. Кант (Киргизия). В мирное время национальные формирования (контингенты), выделенные в состав КСБР, находятся на своей территории в подчинении национальных органов военного управления [5].

В начале 2011 г. в странах Северной Африки прошли массовые антиправительственные митинги, которые переросли в беспорядки. В Тунисе и Египте были свергнуты правящие режимы. Власти бывших советских среднеазиатских республик опасаются, что события, произошедшие в названных выше странах, могут произойти и на их территории. Антиправительственные выступления в Северной Африке и на Ближнем Востоке («жасминовая революция» в Тунисе, «финиковая» — в Египте), а также угроза распространения на регион «арабской

весны» заставили перейти в оборону глав центральноазиатских государств. Другими словами, перспектива наступления «арабской весны» крайне беспокоит власти Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

В целях исключения возможности повторения подобных волнений и беспорядков в Центральной Азии республики приняли ряд превентивных мер. В частности, государствами — членами ОДКБ было принято решение о наделении ОДКБ новыми полномочиями по защите суверенитета и территориальной целостности стран — участниц договора не только от внешних, но и от внутренних врагов. Мощным инструментом для защиты конституционного порядка в государствах — членах ОДКБ, в том числе и правящих режимов, станут Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР). Речь идет о применении КСОР для защиты конституционного строя, когда национальные силы просто не в состоянии справиться с обстановкой. Иными словами, Центрально-Азиатские государства заручились поддержкой армии и правоохранительных органов России в случае повторения цветных революций в их странах. Изначально КСОР создавались для отражения военной атаки стороннего государства, а также для борьбы с международным терроризмом, организованной преступностью и контрабандой наркотиков. Теперь же КСОР могут быть привлечены и для защиты конституционного строя государства — участника ОДКБ, если об этом просит правительство страны.

Решение о формировании КСОР было принято 4 февраля 2009 г. В числе основных целей создания КСОР — укрепление безопасности стран ОДКБ на фоне существующих и потенциальных угроз, включая терроризм, экстремизм и наркотрафик, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение эффективного участия ОДКБ в поддержании международного мира и безопасности. КСОР будут состоять из воинского контингента (высокомобильных частей и соединений государств — членов ОДКБ, оснащенных современным вооружением и техникой) и формирований специального назначения, куда войдут спецподразделения правоохранительных органов, служб безопасности и органов по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций [6].

Традиционно принято считать, что почти все вызовы безопасности в Центрально-Азиатском регионе (терроризм, экстремизм, наркотрафик) исходят из соседнего Афганистана, и не без оснований. Однако, по нашему глубокому убеждению, серьезная угроза безопасности связана и с внутрирегиональными факторами. Среди конкретных проблем, осложняющих взаимоотношения между Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Туркменией и Киргизией, можно назвать территориальные разногласия и незавершенность решения пограничных вопросов между центральноазиатскими государствами. Территориальные разногласия между государствами региона (между Узбекистаном и Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном, Киргизией и Таджикистаном) серьезны и болезненны. Границы между ними, если вообще можно говорить об официальном наличии таковых, располагаются в Ферганской долине, которую можно назвать очагом напряженности всей Центральной Азии. Например, по всему периметру узбекско-киргизской границы существует, по разным данным, от 70 до

100 спорных участков. На границе Киргизии и Таджикистана в настоящее время насчитывается около 70 таких участков. В основном они располагаются в Лейлекском районе Ошской области, Баткенской области (Киргизия), Исфаринском районе Худжандской области и Джиргатальском районе (Таджикистан) [10, 103].

Отсутствие четкой демаркации границ между центральноазиатскими государствами в настоящее время усиливает напряженность во взаимоотношениях государств региона. Подобная приграничная ситуация является детонатором в межгосударственных отношениях и чревата дестабилизацией обстановки в регионе.

К внутренним вызовам безопасности можно отнести и наличие противоречий между государствами по использованию водно-энергетических ресурсов региона. Неравномерное распределение водных ресурсов в Центральной Азии обусловливает конфликт интересов ключевых поставщиков воды и ее основных потребителей. Корень проблем состоит в том, что водные ресурсы в государствах Центральной Азии поделены неравномерно. Ситуация такова, что Центрально-Азиатский регион четко делится на богатые водными ресурсами страны (Таджикистан и Киргизия) и зависимые от них в поступлении воды Узбекистан, Туркменистан и Казахстан. Если Бишкек контролирует бассейн реки Сырдарьи, то Душанбе – Амударьи. Суть претензий Киргизии и Таджикистана к их соседям состоит в требованиях увеличить финансовую компенсацию за работу их гидроэлектростанций в ирригационном режиме в интересах Узбекистана, Казахстана и Туркменистана. Цель официального Бишкека и Душанбе – получить справедливую рыночную компенсацию за предоставляемые услуги по поставкам воды [1, 142].

Таким образом, сегодняшняя Центральная Азия – это клубок противоречий, и у политической элиты ряда стран может возникнуть желание разрешить данные противоречия самым простым способом – вооруженным конфликтом.

Вероятность возникновения конфликтов на основе политических, экономических, религиозно-этнических, территориальных и других противоречий остается высокой, а их предотвращение и урегулирование без проведения миротворческих операций представляются практически невозможными. Поэтому 6 октября 2007 г. президенты государств – членов ОДКБ подписали Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ, формируя собственные соединения голубых касок. Решение о проведении миротворческой операции на территории государств-членов принимается Советом коллективной безопасности (СКБ) с учетом национального законодательства государств-членов на основании официального обращения государства о проведении на его территории миротворческой операции или решения СБ ООН о проведении миротворческой операции на территории государства, не входящего в состав ОДКБ.

Государства – члены Организации для участия в миротворческих операциях создают на постоянной основе миротворческие силы. Для комплектования миротворческих сил государства-члены в соответствии со своим национальным законодательством выделяют на постоянной основе миротворческие контингенты. Для участия в конкретной миротворческой операции из состава миротворческих сил создаются коллективные миротворческие силы

(КМС). В состав КМС может быть включен военный, милицейский (полицейский) и гражданский персонал. Органом военного управления КМС является объединенное командование, организационно-штатная структура которого утверждается Советом министров обороны. Основными способами выполнения задач КМС являются наблюдение, патрулирование, контроль, демонстрация присутствия в кризисном районе, размещение КМС между конфликтующими сторонами для снижения напряженности, блокирование районов, населенных пунктов и объектов, ведение переговоров, самооборона, гуманитарная деятельность [9].

ОДКБ служит юридической и политической основой для взаимопомощи в случае вооруженной агрессии против любого из ее членов. Выгоды Москвы от сотрудничества по линии ОДКБ заключаются в том, что Россия получает право:

- на оказание военной помощи государствам Центрально-Азиатского региона и/или отражение вооруженной агрессии против них;
- организацию военных баз на территории стран — участниц ОДКБ;
- использование построенных в бытность Союза ССР военных объектов.

Таким образом, на сегодня одним из основных гарантов обеспечения интересов России в Центрально-Азиатском регионе является Организация Договора о коллективной безопасности. В настоящее время ОДКБ рассматривается в качестве главного межгосударственного инструмента, призванного противостоять региональным вызовам и угрозам военно-политического и военно-стратегического характера. ОДКБ — это ключевой инструмент поддержания стабильности и обеспечения безопасности на постсоветском пространстве, способный в среднесрочной перспективе локализовать целый ряд угроз и вызовов.

-
1. Валентини К. Л., Оролбаев Э. Э., Абылгазиева А. К. Водные проблемы Центральной Азии. Бишкек, 2004.
 2. Военная доктрина Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: <http://www.scrf.gov.ru> (дата обращения: 1.10.2012).
 3. Военные базы РФ за границей. Справка от 15.02.2010 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rian.ru> (дата обращения: 1.10.2012).
 4. Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г. // Бюл. Международ. договоров. 2000. № 12.
 5. Коллективные силы быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона [Электронный ресурс]. URL: <http://www.dkb.gov.ru> (дата обращения: 1.11.2012).
 6. Коллективные силы оперативного реагирования. Справка от 14.06.2009 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rian.ru> (дата обращения: 1.10.2012).
 7. Концепция коллективной безопасности государств — участников Договора о коллективной безопасности [Электронный ресурс]. URL: <http://www.dkb.gov.ru> (дата обращения: 1.11.2012).
 8. Мухаметов Р. С. Национальные интересы России на постсоветском пространстве // Изв. Урал. гос. ун-та. Сер. 3. Общественные науки. 2008. № 61.
 9. Соглашение Организации Договора о коллективной безопасности «О миротворческой деятельности» [Электронный ресурс]. URL: <http://pravo.levonevsky.org> (дата обращения: 1.11.2012).
 10. Целикин А. Взаимоотношения государств Центральной Азии. Конфликтный потенциал региона // Центральная Азия. Геополитика и экономика региона. М., 2010.

Рукопись поступила в редакцию 21 ноября 2012 г.

ГЕОПОЛИТИКА

УДК 327.2 + 323.1 + 341 + 325.24

С. В. Васильев

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТОРЫ: СУЩНОСТЬ И ТИПОЛОГИЯ

Статья посвящена одному из направлений развития современной геополитической мысли — классификации геополитических акторов на современном этапе геополитического процесса. Необходимость определения данной классификации вызвана изменениями паттерна участников международного взаимодействия. Автор также рассматривает такие геополитические категории, как геополитический статус государства, составляющие компоненты геополитической мощи государства и его способность к геополитической экспансии или контракции.

Ключевые слова: актор геополитического процесса, геополитический статус государства, мощь государства, геополитическая экспансия, геополитическая контракция.

Высокий динамизм международных отношений и реструктуризация всей системы мироустройства на рубеже ХХ–XXI вв., разнообразие геополитических акторов обусловили необходимость переосмыслиния традиционных и разработки новых подходов к классификации акторов геополитического процесса.

Классификация акторов геополитического процесса всегда представляла определенную сложность для науки. Это обусловлено в первую очередь большим количеством и разнообразием геополитических акторов. Наибольшую актуальность данная проблема приобретает в настоящее время — в начале XXI в., поскольку за последнее десятилетие значительно увеличилось количество участников международного взаимодействия. Кроме того, изменились их качественные характеристики.

Наряду с *традиционными (классическими) акторами* геополитического процесса, которыми считались государства, появляются новые *геополитические акторы* — активные участники международного взаимодействия, а именно:

— *международные организации* (МО) — объединения межгосударственного или негосударственного характера, созданные на основе соглашений для достижения определенных целей, которые, в свою очередь, делятся на *международные межправительственные (межгосударственные) организации* и *международные неправительственные (негосударственные, общественные) организации*;

— *транснациональные* (мультинациональные или межнациональные) *корпорации* (ТНК), глобальные корпорации (ГК);

— *международные экстремистские группировки* (особый вид международных неправительственных организаций);

— *средства массовой информации* (СМИ) — самостоятельный актор геополитического процесса.

В то же время, несмотря на повышение значимости и роли деятельности *новых геополитических акторов* на международной арене, по нашему мнению, они все же являются *вторичными акторами* геополитического процесса, тогда как государство продолжает оставаться *главным актором* геополитического процесса.

Это может быть подтверждено тем, что только государство обладает суверенитетом и географическим пространством, наделено правоспособностью на заключение международных договоров по любым вопросам и без каких-либо ограничений, обладает правом правопреемства, а также не ограничено в выборе средств принуждения и средств разрешения споров в случае возникновения какой-либо угрозы его безопасности и национальным интересам. «Государства обладают ясно выраженной субъектностью. Они творят то, что мы склонны именовать мировой политикой» [4, 8–38].

Основываясь именно на вышесказанном, с нашей точки зрения, следует обратиться к определению типологии государств, которые являются *главными (ведущими) акторами* геополитического процесса, и выстраиванию их иерархии, исходя из их роли, значимости и места в современном геополитическом процессе.

В связи с этим определение содержания понятия *геополитический статус государства*, разработка алгоритма определения геополитических статусов государств и выстраивание иерархии государств на определенном историческом этапе мироустройства представляют собой важную научную исследовательскую задачу, которая может быть обоснована посредством следующих аргументов.

Во-первых, в результате эволюции геополитической науки во второй половине XX в. и первом десятилетии XXI в. выделились новые отрасли геополитических знаний, а именно: геоэкономика, геоинформатика, критическая геополитика, цивилизационная геополитика, регионалистика, глобалистика и др. В формате этих научных направлений появились новые понятия, парадигмы и категории. Так, например, появилось понятие «новый геополитический актор» геополитического процесса, которое подразумевает в основном акторов негосударственной природы. Однако отсутствие в современной научной литературе четкого определения сути *геополитического статуса государства* в значительной степени усложняет определение понятия «новый геополитический актор», что, в свою очередь, затрудняет проведение анализа современного геополитического

процесса без однозначного толкования и квалифицированного применения данной категории.

Во-вторых, на пороге XXI в. в рамках новых концептуальных подходов при изучении глобализационных трансформационных процессов современного мироустройства отмечается уменьшение значимости и даже отрицание ведущей роли государства как политического института, определяющего внутреннюю и внешнюю политику государства. Появление разнообразных гражданских и социальных институтов, активное использование негосударственных политических сетей, так же как и ведение активной, а порой и «агрессивной» сетевой политики в формате горизонтальных управленческих связей, приводит к тому, что такие гражданские и социальные институты позиционируют себя в качестве «партнеров» государства по современному геополитическому процессу. В этой связи становится наиболее востребованным четкое и аргументированное определение *геополитического статуса государства* как геополитического актора.

В-третьих, изменение баланса сил в мире на рубеже XX и XXI вв. — распад мировой системы социализма, дезинтеграция СФРЮ, СССР, завершение холодной войны — объясняет появление множества концепций, в рамках которых предпринимаются попытки объяснения происходящих геополитических трансформаций планетарной значимости и предлагаются различные сценарии дальнейшего развития мирового геополитического процесса. При разработке новых подходов, их анализе и прогнозах возникает насущная потребность в определении сущности и типологии феномена *геополитический статус государства*. В частности, данная дефиниция будет способствовать выработке системного подхода при оценке современного геополитического процесса.

В-четвертых, в русскоязычных материалах по геополитике, доступных автору данного исследования, отсутствует четкое и ясное определение сущности феномена *геополитический статус государства*. Такие понятия, как «сверхдержава», «великая держава», «региональная держава», широко используются при проведении геополитических исследований, но их исходные определения отсутствуют.

Следует отметить, что рядом авторов предпринимались попытки определения понятия *«геополитический статус государства»*.

В частности, И. Ф. Кефели в работе «Философия геополитики» [6] предлагает вариант типологии государств в рамках геополитического процесса, исходя из классификации Всемирного банка. Данная типология основана на таком критерии, как доля ВВП на душу населения в год. В соответствии с этим подходом государства делятся на три основные группы: государства с низким уровнем доходов населения, со средним уровнем и с высоким уровнем. С нашей точки зрения, данная классификация составлена исходя из социально-политического, а не геополитического подхода к определению сущности феномена геополитического статуса государства.

Далее, В. Г. Андреев в работе «Геополитика и мировая война» [1] считает, что «геополитический статус государства должен определяться величиной такого интегрального показателя, который наиболее полно и всесторонне характеризует мощь государства, его возможности в решении проблем, возникающих

в той или иной сфере межгосударственных отношений. <...> В качестве такого показателя удобно использовать *геополитический потенциал государства*, который можно представить как совокупность его геополитических атрибутов (вернее, соответствующих им потенциалов), позволяющую этому государству реально или потенциально воздействовать на геополитическую конфигурацию в каком-либо географическом масштабе», а именно, говоря языком геополитики, осуществлять *государственное освоение пространства*. «Под геополитическими атрибутами государства, — считает В. Г. Андреев, — подразумеваются его неотъемлемые и наиболее существенные (ключевые) признаки (такие, как географические, политические, социально-экономические и военные), которые составляют основу существования любого государства» [1].

Необходимо отметить, что во второй половине XX в. изменяются подходы в толковании понятия пространства, и, как отмечает Н. А. Комлева, «из категории физической географии оно переходит в категорию экономики, культуры, информатики и идеологии» [9, 24].

Современные исследователи выделяют пространство географическое, экономическое, информационно-кибернетическое и информационно-идеологическое.

В силу специфики данных пространств государство не может оставаться главным актором во всех этих пространствах одновременно, а его корреляция с каждым из указанных пространств имеет определенные специфические особенности.

В то же время, независимо от формата геополитического пространства и природы происхождения самого актора, основной целью актора является освоение ресурсов, находящихся в данном пространстве и являющихся жизненно важными и необходимыми для дальнейшего развития данного актора. Под ресурсами следует понимать средства выживания и развития человеческих сообществ. Эти ресурсы включают в себя природные ресурсы (сырец), природно-социальные ресурсы (народонаселение), социальные ресурсы (элементы политической и экономической системы), ментальные ресурсы (жизненные устои и доминирующая идеология). Необходимость освоения ресурсов обусловлена изменениями сферы контроля конкретного типа геополитического пространства, осуществляемого актором определенной природы. Следует подчеркнуть, что в зависимости от объема совокупной мощи государства такие изменения могут осуществляться в форме расширения зоны контроля (экспансии) или уменьшения/сужения (контракции). Исходя из того, что существуют различные типы пространства, соответственно выделяются различные:

— виды экспансии или контракции: географическая, экономическая, информационно-кибернетическая и информационно-идеологическая;

— уровни экспансии или контракции: в зависимости от объема и масштаба экспансии или контракции — глобальный уровень, региональный уровень и локальный уровень.

Именно расширение, увеличение объема контролируемого пространства, освоение как можно большего количества ресурсов, необходимых для развития, являются основными целями геополитической деятельности акторов, независимо от природы их происхождения.

Следует отметить, что в настоящее время произошли изменения в самом восприятии геополитического пространства, трансформировались критерии оценки цели расширения пространства: «пространством не обязательно владеть, его достаточно контролировать. Чем больше масштаб контроля пространств, тем выше степень геополитической выживаемости данного государства. Максимальная степень контроля пространств дает реальную возможность мирового господства» [9, 25]. Более того, совсем не обязательно осуществлять всеобщий, тотальный контроль пространства, достаточно контролировать его ключевые точки, на которые данное пространство опирается, т. е. осуществлять «точечный контроль пространства» [Там же, 41]. Использование той или иной формы и того или иного способа контроля будет находиться в прямой зависимости от складывающейся геополитической обстановки и реальных возможностей конкретного геополитического актора. Наиболее оптимальной формой контроля является «сочетание панельного (на локальном или региональном уровне) и точечного (глобальный масштаб) контроля пространств» [7, 25].

Таким образом, «экспансия — основная форма поведения акторов в геополитическом пространстве» [9, 41], а способность самого государства к осуществлению экспансии определяется его совокупной мощью.

По нашему мнению, мощь — совокупность ресурсов, т. е. наличных и потенциальных (лат. *potentia* — сила, мощь) средств и способов действия, прямое использование или вероятность применения которых создает относительно благоприятные условия для достижения носителем мощи желаемых целей.

В рамках классической геополитической науки понятие «мощь» базировалось на понятии «военная сила». Считалось, что именно военная сила использовалась в качестве средства геополитического расширения, т. е. захвата территории — географического пространства. Атрибутивный аспект понятия «мощь» является характерным для теории классического реализма, в рамках которой «мощь» рассматривается как исчисляемая величина. В частности, Г. Моргентай определял в качестве основных критериев «мощи» государства его промышленный потенциал, природные ресурсы, геостратегическое положение и численность населения. По его мнению, в «международной политике военная сила... важный материальный фактор, обеспечивающий политическую мощь государства» [10]. Атрибутивный аспект «мощи» прежде всего предполагает военную силу государства, являющую собой основу престижа самого государства, в то время как поведенческий аспект «мощи», на что указывают представители школы взаимозависимости Э. Х. Карр [5] и Г. Моргентай [10], кроме материальных составляющих феномена мощи, включает в себя человеческие и моральные ресурсы государства, а именно: духовные силы общества, черты национального характера, устои и традиции данного социума. Как отмечает В. А. Дергачев, «мощь государства — совокупность имеющихся в наличии материальных и духовных возможностей, используемых для достижения геополитических целей государства; включает военно-политическую, военную, военно-экономическую, экономическую, энергетическую, демографическую, технологическую и информационную мощь» [2]. Поэтому в качестве составляющих геополитической мощи государства представляется целесообразным назвать военную мощь,

экономическую мощь, энергетическую мощь, демографическую мощь, информационно-кибернетическую мощь и информационно-идеологическую мощь.

Военная мощь является основой освоения географического пространства. Она имеет следующие параметры: 1) боеспособность вооруженных сил (уровень боевой и морально-психологической подготовки личного состава, оснащенность современной боевой техникой и вооружением); 2) уровень развития оборонно-промышленного комплекса; 3) соответствие военной доктрины, принятой данным государством, реальным и потенциальным угрозам и вызовам соответствующего исторического периода; 4) национальный характер, традиции, боевой дух народа нации.

Следует отметить, что в постклассической geopolитической науке наряду с понятием «военная мощь» все более активно используются такие категории, как «экономическая мощь», «информационная мощь». В ходе геополитического процесса военная мощь, экономическая мощь, информационная мощь трансформируются в базовые составляющие, а затем и в самостоятельные факторы, которые определяют geopolитическую мощь конкретного государства, его способность к существованию в современных условиях.

Экономическая мощь отражается в показателях валового внутреннего продукта, индекса человеческого развития, численности и состава населения, его покупательной способности и емкости внутреннего рынка потребления. Экономическая мощь государства является основой военной мощи государства. Она позволяет государству производить боевую технику и вооружения, создавать условия для подготовки и обучения личного состава, обеспечения его повседневной жизнедеятельности. Экономическая мощь государства определяет масштабы способности государства к расширению в экономическом пространстве, а на основе военной мощи государства — к расширению в географическом пространстве.

Энергетическая мощь государства предполагает наличие энергетических ресурсов, уровень их разработки и степень освоенности, а также развитость системы коммуникаций, которая предоставляет доступ к сырью, обеспечивает его транспортировку к месту переработки и доставки конечного продукта для дальнейшего эффективного использования, создает условия для формирования и развития стратегически важных международных транзитных транспортных коридоров.

Демографическая мощь является важным фактором мощи государства в силу того, что сам человеческий фактор представляет собой «наполнитель» военной и экономической мощи государства. Высокий уровень смертности и низкий уровень рождаемости приводят к повышению уровня сверхсмертности и депопуляции населения данного государства и, как следствие, к уменьшению объема демографической мощи государства.

Информационно-кибернетическая мощь подразумевает способность разрабатывать, создавать, производить и эффективно использовать программные продукты и компьютерную технику. Уровень качества и объем использования результатов достижений научно-технической промышленности в повседневной жизни общества характеризуют информационно-кибернетическую мощь

данного государства, степень развития его научного потенциала. Это в конечном итоге подтверждает способность государства к расширению и проникновению в информационное пространство других государств. Несспособность к разработке, производству и распространению программного продукта и компьютерной техники в разы снижает мощь государства. Информационно-кибернетическая мощь, позволяющая создавать потенциальные возможности для проникновения в информационное пространство других государств, не может не являться неотъемлемым компонентом военной мощи государства.

Информационно-идеологическая мощь может быть определена как способность геополитического актора к расширению и проникновению в ментальное пространство других геополитических акторов. Н. А. Комлева определяет идеологическую мощь как «способность геополитического актора к экспансии в идеологическом пространстве, которая определяется совокупностью его ментальных ресурсов, технических возможностей (технических ресурсов) распространения ментальных ценностей, а также технологий воздействия на массовое сознание» [8, 71–84]. В качестве составляющих идеологической мощи государства предложены следующие компоненты: «идеология; ценности традиционной культуры общества; достижения науки, искусства и литературы; спортивные достижения, доминантное общественное мнение; общая эмоциональная атмосфера данного социума» [Там же]. Каждая из названных составляющих стимулирует развитие других составляющих на основе их активного взаимодействия. Так, например, необходимость разработки и производства современных видов вооружений привела к созданию новых отраслей промышленности, разработке передовых технологий в области кибернетики и информатики, вследствие чего появились информационные технологии и нанотехнологии. В свою очередь, информационно-идеологическая мощь, являясь неотъемлемым компонентом психологической подготовки современных вооруженных сил, играет важную роль в современных военных конфликтах, так как позволяет воздействовать определенным образом на восприятие мировым сообществом конкретного военного конфликта и оказывает значительное влияние на формирование мирового общественного мнения в выгодном для конкретного государства свете. Информационно-идеологическое воздействие является также мощным средством влияния на национальный менталитет, культуру и мораль общества. Таким образом, ключевыми критериями, с помощью которых возможно определение *геополитического статуса государства*, являются объем и качество его совокупной мощи, а также зависящая от этого способность данного государства к осуществлению экспансии.

Как полагает Н. А. Комлева, «геополитический статус государства — это место государства в иерархии государств данной эпохи, определяемое его совокупной мощью и масштабом осуществляющей им геополитической экспансии» [7, 27].

Исходя из того что геополитическая экспансия может быть осуществлена на глобальном, региональном и локальном уровне, государства могут быть разделены на следующие типы: *сверхдержава, великкая держава, региональная сверхдержава, региональная держава и малое государство*.

Рассмотрим данную иерархию государств современного мироустройства, руководствуясь принципом историзма, а также на основе изучения основных явлений геополитического процесса в историческом развитии.

Сверхдержава (глобальная держава¹, мировая держава²) — государство, которое является мировым лидером на определенном историческом этапе геополитического процесса. Отличительным признаком сверхдержавы является ее способность оказывать влияние на внутреннюю и внешнюю политику сопредельных государств — соседей по региону, а также государств, расположенных на значительном удалении от своей территории, в различных регионах земного шара. Сверхдержава обладает различными способами, средствами и рычагами управления и влияния на развитие ситуации в разных частях мира, представляющих для нее жизненно важный интерес. Совокупная мощь сверхдержавы позволяет ей нанести поражение в военном конфликте любому государству или коалиции государств при условии, что в такую коалицию не входит другая сверхдержава. Только сверхдержава на основе своей наибольшей совокупной мощи, абсолютно превосходящей по всем показателям совокупную мощь каждого из других государств конкретной исторической эпохи, способна к геополитическому расширению во всех типах пространства. Претензии сверхдержавы носят *глобальный* характер и направлены на достижение *полного доминирования* в мире во всех сферах геополитического процесса.

«Великая держава». Впервые в геополитическом контексте этот термин был использован шведским геополитиком Рудольфом Челленом. В ряде своих работ, написанных в начале XX в. [4, 39–40], он разработал концепцию науки государствооведения³. В частности, в работе «Государство как форма жизни» (1916) он говорит о «ведущих торговых державах» (Венеция, Голландия, Англия, США, Япония, Германия, Россия, Австро-Венгрия), характеризует их и указывает на то, что «жизнеспособные государства, обладающие ограниченным пространством, подчиняются категорическому политическому императиву, требующему от них *расширения* (курсив наш. — С. В.) своего пространства посредством колонизации, ассимиляции и различного рода завоеваний. <...> В этом мы можем видеть тенденцию, согласно которой большое пространство склонно к саморасширению, точно как большой капитал» [Там же, 135–136]. «Очевидно, что увеличение масштаба таит в себе угрозу неограниченному суверенитету малых государств. Как огромная физическая масса большие государства обладают силой притяжения по отношению к малым» [Там же, 142–144]. Называя

¹ При использовании термина «сверхдержава» автор исходит из такого критерия геополитического статуса государства, как совокупная мощь государства, в то время как использование термина «глобальная держава» обусловлено таким критерием оценки государства, как его способность к осуществлению экспансии на глобальном уровне.

² Термин «мировая держава» (Weltmacht) впервые появляется в работах Ф. Ратцеля. Свою научную законченность он приобрел в работах Х. Макиндера, К. Хаусховера и в особенности К. Шмитта. Впоследствии данный термин стал активно использоваться в качестве одной из центральных геополитических парадигм [3, 36–37].

³ Термин «государствооведение» (Statsvetenskap) — общепринятое в скандинавских странах обозначение политологии.

«великие державы» сильными государствами и огромными державами, Р. Челлен указывает на зависимость непосредственно близлежащих к великим державам пространств малых стран. Он отмечает, что малые страны в силу своего географического положения притягиваются великими державами и вовлекаются в общую политическую и экономическую деятельность, образуя «подобие государственного комплекса или блока государств, отвечающих на вызов пространства» [4, 142–144]. В то же время Р. Челлен указывает и на оборотную сторону *расширения*, а именно «усиление циркумпространственной (*circumfagala*) тенденции» [Там же], которая приводит к возрастанию внешней уязвимости великих держав, росту трений с соседями и снижению внутренней сплоченности самой великой державы.

Далее Р. Челлен описывает особый тип стран, который определяется исключительно их положением, — буферные государства, а «буферная политика представляет собой гарантию существования малых государств в эпоху господства великих держав» [Там же]. «Этот тип играет большую роль в мировой политике, причем совершенно особую роль вплоть до наших дней» [Там же], и «поскольку разные времена требуют разного масштаба, то и этот закон действует в различной степени» [Там же]. Следует также обратить внимание и на следующее утверждение Р. Челлена: «и великие державы могут представлять собой буфер» [Там же].

Подтверждением обоснованности данного суждения является местоположение Австрии, которая «сыграла роль щита» при отражении экспансии аваров, мадьяр, турок, а также *историческая значимость* России, которая «встала на пути» монголо-татарского продвижения в Европу; причем «не так уж далека перспектива, когда Россия снова будет служить делу Европы, превратившись во всемирный буфер между белой и желтой расами» [Там же]. Следует отметить, что по сравнению с другими государствами своей эпохи великая держава обладает наибольшей способностью к геополитическому расширению во всех типах пространства, но, в отличие от совокупной мощи сверхдержавы, объем совокупной мощи великой державы не является абсолютным и развит неравномерно. Безусловно, претензии «великих держав» могут носить глобальный характер, но эти претензии находятся в прямой зависимости от реальных возможностей этих государств и ограничиваются лишь доминированием в определенном регионе земного шара или в каком-то отдельном типе пространства.

В качестве примера можно привести геополитический статус Японии. В соответствии с конституцией страны ей не разрешается иметь вооруженные силы; запрещается владеть, производить и размещать на своей территории ядерное оружие; в Японии отсутствуют космические войска; она не входит в состав Совета Безопасности ООН, весьма ограниченно принимает участие в операциях ООН по поддержанию мира. Другим примером может послужить Франция, которая не обладает космическими войсками; ее информационная мощь основана на экспорте программного продукта и компьютерной техники. Еще один пример — Канада. Эта страна не обладает ядерным оружием; ее информационная мощь основана на импортном продукте, а уровень вовлеченности в мировое информационное пространство невысокий.

Учитывая неравномерность развития государств, можно утверждать, что и базовые составляющие (аспекты) совокупной мощи государств не являются одинаковыми. Государства могут обладать определенным превосходством в одной или нескольких базовых составляющих своей совокупной мощи при их сравнении с аналогичными показателями совокупной мощи другого государства. В связи с этим такие государства в определенные периоды геополитического процесса могут быть выделены из ряда государств соответствующей эпохи и характеризоваться как «великая ядерная держава», «великая экономическая держава», «великая морская держава» и т. п. Следует подчеркнуть, что и число, и географическое расположение великих держав меняются в ходе исторического развития. Известно, что в XX в. великие державы существовали не только на территории Европы. В эпоху Нового времени они появились в Евразии и Америке. Однако отсутствие необходимых транспортных средств и мощных средств связи не позволяло распространять влияние одного государства на другие регионы земного шара. Этот факт дает основания утверждать, что до эпохи Модерна сверхдержавы глобального уровня в мире не существовали.

Региональная сверхдержава — государство, способное осуществить полно- масштабную экспансию во всех типах пространств на региональном уровне. Это аналог сверхдержавы глобального уровня на более низком уровне — региональном. Такой региональный лидер является *центром* притяжения для других стран (*периферии*) в своем регионе и обладает статусом и признаками экономического, политического, военного или цивилизационного центра данного региона. Реализация статуса региональной сверхдержавы требует от данного государства последовательного решения следующих задач: создания условий, необходимых для обретения статуса регионального лидера; поддержания статуса региональной сверхдержавы; обеспечения условий сохранения позиций лидера в данном регионе. Свое региональное лидерство такое государство, как правило, создает посредством расширения рынка сбыта своей продукции; проведения дружественной и союзнической внешней политики по отношению к соседям; обеспечения гарантий безопасности соседних государств; предоставления экономической помощи и торговых преференций и проч.

Как отмечает И. Ф. Кефели, «для поддержания статуса регионального лидера данному государству необходимо использование всего спектра средств в международной политике — от экономических (субсидии и инвестиции, установление демпинговых цен на энергоносители или стратегические продукты), военных (присутствие военных контингентов, продажа вооружений в кредит или по льготным ценам) вплоть до культурной экспансии и методов осуществления *soft power*» [6, 109–110]. Гарантией сохранения лидерских позиций в регионе является «поступательный и непрерывный рост внутрирегиональной зависимости в соответствии с приоритетом и сценарием, предложенным государством, стремящимся оставаться региональным лидером» [11, 42]. В этих целях региональное единство должно развиваться в сторону полноценного интеграционного сообщества (как это было в свое время в ЕС и происходит сегодня в рамках МЕРКОСУР). Как правило, развитие этого процесса приводит к оформлению политического, военного и экономического стратегического союза, способ-

ствует значительному повышению статуса такого регионального сообщества и в конечном итоге позволяет данному региональному сообществу позиционировать себя в качестве центра силы глобального мира.

В связи с этим, как указывает И. Ф. Кефели, логика действий региональной сверхдержавы по обретению, поддержанию и сохранению (гарантированию/обеспечению) своего статуса, в случае своей эффективности, неизбежно приводит к образованию еще одного *центра силы* глобального мира, а для оформления полноценного интеграционного союза необходимым является соблюдение таких условий, как «наличие независимых институтов и социальных групп, которые выступают за реальную интеграцию данного региона и заинтересованы в ней; отмена или значительное упрощение торговых, таможенных, миграционных и других барьеров внутри данного региона; создание надгосударственных органов с реальными полномочиями руководства политico-экономическими и военно-стратегическими процессами интеграции; наличие политической воли для преодоления сопротивления бюрократического лобби, чьи полномочия частично делегируются институтам и учреждениям на надгосударственном (наднациональном) уровнях и защитой интересов иных социальных групп, которые могут быть ущемлены в процессе снятия внутренних региональных экономических барьеров; отсутствие исторически сложившихся или тлеющих конфликтов, в основе которых могут лежать расовые, национальные или конфессиональные противоречия. При соблюдении этих условий, а также при успешном разрешении существующих противоречий интеграционные процессы вокруг региональной сверхдержавы, как правило, приводят к эволюции данного региона и его трансформации в *центр силы* глобального мира. Однако преодолеть все эти сложности удается немногим региональным сверхдержавам» [6, 109–110].

Региональная держава — аналог великой державы на более низком уровне. Региональная держава реализует свои возможности к экспансии в рамках региона относительно ограниченно. По своей совокупной мощи она способна обеспечить и защитить свой суверенитет, территориальную целостность и независимость. Однако ее геополитическое влияние на соседние страны является крайне слабым, а претензии и национальные интересы носят исключительно внутренний характер.

Малые государства — это государства, которые не имеют внешнеполитических претензий и оформленных национальных интересов. По уровню своей совокупной мощи они не обладают достаточными средствами для защиты своего национального суверенитета и обеспечения стабильного развития страны. Локальный уровень совокупной мощи и определяемый ею масштаб геополитической экспансии детерминируют статус малого государства, который предполагает крайне малые возможности и масштабы геополитической экспансии.

Указанные типы государств образуют определенную иерархию акторов геополитического процесса, складывающуюся на конкретном историческом этапе. На верхнем уровне располагаются сверхдержавы, которые создают так называемые «центры силы» или «полюса», вокруг которых группируются другие акторы геополитического процесса. Сверхдержавы оказывают значительное влияние на формирование всей структуры мироустройства. Сила их влияния

настолько велика, что она втягивает в орбиту претензий сверхдержавы другие государства и подчиняет их политику интересам сверхдержавы. При существовании в мире одной сверхдержавы мироустройство становится однополярным, при существовании двух сверхдержав мир становится биполярным, а при наличии трех сверхдержав — многополярным. Однако многополярность может быть сформирована не только вследствие существования нескольких сверхдержав, но и в результате их исчезновения. В такой ситуации место сверхдержавы намереваются занять великие державы, создавая таким образом многополярный мир. Поэтому, с нашей точки зрения, второй уровень в иерархии занимают великие державы и региональные сверхдержавы, которые борются за доминирующее влияние в определенном регионе, что приводит к созданию многополярной системы региональных отношений. И наконец, на третьем уровне глобального мироустройства находятся региональные державы и малые государства.

Обозначенная иерархическая структура мироустройства является достаточно динамичной, в связи с этим положение государства в иерархии мироустройства может изменяться. Одним государствам удается увеличить объем своей совокупной мощи. Этот факт позволяет им заявлять о своих более амбициозных претензиях. Другие государства, наоборот, утрачивают имеющийся у них объем совокупной мощи, что приводит к их ослаблению или полной дезинтеграции крупного геополитического образования. Так, на протяжении прошедших столетий мир изменялся, приобретая структуру однополярного или, наоборот, многополярного мироустройства. В эпоху колониализма Испания являлась сверхдержавой. Затем на несколько столетий верхнюю позицию в иерархии мироустройства стала занимать Великобритания. В результате Первой мировой войны Великобритания утратила свое глобальное влияние, и на период между Первой мировой и Второй мировой войнами мир по сути трансформировался в многополярный. После Второй мировой войны в мире существовали две сверхдержавы, в результате чего была сформирована биполярная система мироустройства. После распада СССР в мире доминировала одна сверхдержава — США, и структура мироустройства начала трансформироваться в однополярную мировую систему.

К концу XX в. мир изменился коренным образом, поскольку наряду с государствами — geopolитическими акторами стали выступать также негосударственные и межгосударственные организации, транснациональные корпорации, геоцивилизации. В рамках их взаимодействия продуцируется множество geopolитических вызовов, ответы на которые могут быть найдены только на основе многоплановых совместных подходов, поиска и нахождения адекватных и эффективных способов выхода из возникающих кризисных ситуаций.

Глобализация мировой политики в ее экономическом, военно-политическом и социокультурном воплощении вызывает ответную реакцию, проявляющуюся в усилении антипода глобализации — регионализации, формирования новых центров силы многополярного мира, основу которых прежде всего составляют геоцивилизации. С нашей точки зрения, одним из следствий глобализационных процессов является перемещение центров силы от отдельных

сверхдержав к геоцивилизациям, в которых сверхдержавы играют роль лидеров. Совершенно очевидно, что значимость и роль каждой из геоцивилизаций в мировом развитии различны. Но в то же время необходимо признать, что на основе интеграции своих экономических, природных и интеллектуальных ресурсов геоцивилизации позиционируют себя как центры силы и, таким образом, создают новую конструкцию глобального человеческого сообщества.

Оценка и осмысление данных процессов требуют проведения комплексного анализа теоретического и эмпирического материала из области геополитики, геоистории, международных отношений, социологии, культурологии.

В контексте геополитического анализа принципиальное значение имеет задача определения *цивилизационного кода* и *цивилизационного типа*, а также осмысления основных характеристик формирования и развития геоцивилизаций как целостных геополитических структур.

В заключение некоторые основные выводы:

1. В настоящее время мы наблюдаем значительные изменения в системе мироустройства, которые характеризуются появлением и широким разнообразием *новых* акторов геополитического процесса.

2. В то же время государство продолжает оставаться *главным (ведущим)* актором геополитического процесса. Все остальные акторы геополитического процесса являются *вторичным* акторами.

3. Любое мироустройство — это иерархия акторов, прежде всего государств, в которой государство занимает соответствующее ему место или уровень, определяемые *геополитическим статусом государства*.

4. *Геополитический статус государства* определяется его совокупной мощью и способностью государства к осуществлению экспансии (расширению) или контракции (сжатию) в военном, экономическом, демографическом, информационно-кибернетическом и информационно-идеологическом пространстве в определенный исторический период геополитического процесса.

5. В зависимости от объема и масштаба экспансии или контракции различаются *глобальный, региональный и локальный уровни* экспансии или контракции.

6. Только сверхдержава обладает абсолютной геополитической мощью, что позволяет ей осуществлять экспансию на глобальном уровне и оказывать значительное влияние на формирование структуры мироустройства в определенный исторический период геополитического процесса.

1. Андреев В. Г. Геополитика и мировая война. Русский гуманитарный интернет-университет [Электронный ресурс]. URL: http://sbiblio.com/biblio/archive/andreyev_geopolitimirwoina/#_ftnref1 (дата обращения: 10.10.2010).

2. Дергачев В. А. Геополитический словарь-справочник. Киев, 2009.

3. Дугин А. Г. Геополитика. М., 2011. С. 36–37.

4. Ильин М. В. Политические профессии Рудольфа Челлена // Челлен Р. Государство как форма жизни / пер. со швед. М. В. Ильина М., 2008. (История политической мысли).

5. *Kapp Эдвард X.* Двадцать лет кризиса: 1919–1939. Введение в изучение международных отношений // Теория международных отношений : хрестоматия / сост., науч. ред. и comment. П. А. Цыганкова. М., 2002.
6. *Кефели И. Ф.* Философия geopolитики. СПб., 2007.
7. *Комлева Н. А.* Геополитический статус государства: сущность и типология // Геополитика и безопасность. 2010. № 1 (9). С. 23–28.
8. *Комлева Н. А.* Идеологическая мощь: сущность, структура, акторы // Изв. Урал. гос. ун-та. 2011. Вып. 1 (88). Сер. 3. Обществ. науки. С. 71–84.
9. *Комлева Н. А.* Основы geopolитики. Екатеринбург, 2008. С. 41.
10. *Моргенштейн Г.* Политические отношения между нациями: борьба за власть и мир // Теория международных отношений.
11. *Троицкий М.* Глобальный регионализм и внешняя политика России// Свободная мысль. 2009. № 11. С. 42.
12. *Saul Bernard Cohen.* Geopolitics: The Geography of the World System. 2003. Rowman & Littlefield Publishers, INC. OXFORD. P. 47.

Рукопись поступила в редакцию 7 декабря 2012 г.

ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ

УДК 159.923.5 + 159.93 + 159.938

Ю. В. Лебедева

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ СУБЪЕКТНОЙ И ОБЪЕКТНОЙ УСТАНОВКИ НА ДРУГОГО

В статье анализируются отдельные компоненты субъектной и объектной установки на Другого. Изложены результаты эмпирического исследования, цель которого — описание содержания эмоционального, когнитивного и конативного компонентов установки на Другого. Проанализированы различия между группами с субъектной и объектной установками на Другого с точки зрения психологических механизмов компонентов установки.

Ключевые слова: Другой, установка на Другого, субъектный и объектный способы отношения к Другому, эмпатический способ отношения к Другому, компонент установки, эмпатия, субъект восприятия.

Представляется важным проанализировать механизмы межличностных отношений, определяемых, с одной стороны, умением формировать и поддерживать отношения с людьми, а с другой — восприятием Другого и построением отношения к себе и Другому на основе этого восприятия. В системе межличностных отношений формируется личность человека, и способ отношения к Другому является показателем ее готовности воспринимать Другого, реагировать на него определенным образом. Целесообразно выделить два способа восприятия Другого. С одной стороны, можно быть внимательным к чувствам Другого, стремиться к пониманию Другого, проявлять альтруистическое поведение по отношению к нему. С другой стороны, можно вытеснить чувства Другого, оценивать его и манипулировать им. Таким образом, различные способы готовности восприятия по отношению к Другому выступают установками человека на Другого как на субъект или как на объект [8].

Отношение к Другому как *к объекту* (объектное отношение) предполагает манипулятивное, утилитарное отношение к нему, Другой выступает средством

достижения собственных целей субъекта восприятия и описывается им в терминах «полезности».

Отношение к Другому как к *субъекту* (субъектное отношение) предполагает восприятие Другого во всей его целостности и уникальности; Другой человек является целью общения, субъект восприятия признает его самоценность, автономность и индивидуальность. Результатом такого восприятия может быть искренняя забота о Другом, бескорыстная помощь в его самоактуализации и альтруизм по отношению к Другому. Такая установка предполагает эмпатический способ отношения к Другому: сочувствие, понимание и поддержку. При этом в основе отношения к Другому как к субъекту лежит эмпатическое отношение, где эмпатия выступает как свойство личности субъекта восприятия. Напротив, при объектном отношении эмпатия выражена слабо, и можно говорить об овеществлении межличностных отношений.

Как известно, установочная реакция субъекта восприятия имеет трехкомпонентную структуру, каждый элемент которой по-разному определяет восприятие Другого и отношение к нему.

Эмоциональный компонент установки включает механизмы, направленные на взаимодействие субъекта восприятия с эмоциональной сферой Другого.

В рамках *субъектного отношения* эмоциональный компонент заключается в возникновении эмоционального резонанса, сопереживания и сочувствия в адрес Другого. Эмоции субъекта возникают в ответ на переживания партнера по общению и носят «безусловный» характер. Позитивные чувства по отношению к Другому не могут развиться без возможности вчувствоваться в переживания этого Другого, что дает возможность назвать субъектную установку по отношению к Другому эмпатической. Эмоциональный компонент эмпатической установки лежит в основе подлинной дружбы, межличностных отношений, позволяющих сотрудничать с Другим и принимать его потребности как ценность.

Эмоциональный компонент эмпатической установки связан с такими механизмами эмпатии, как эмоциональное заражение и идентификация. Заражение — наиболее простой механизм — формируется в онтогенезе одним из первых как тенденция к автоматическому подражанию и синхронизации невербальных проявлений (мимика, голосовые реакции, телесные позы и движения) субъекта восприятия и Другого, что приводит к сближению с ним в эмоциональном отношении и позволяет синхронизировать эмоции общающихся людей. Переживания Другого при этом являются матрицей для чувств субъекта восприятия. Заражение является одним из видов формирования эмпатического процесса, создавая эмоциональный резонанс и давая возможность субъекту воспринять эмоции Другого.

Другим механизмом эмоционального компонента эмпатической установки является неосознанная идентификация, результатом которой выступают жалость и печаль (при неблагополучии Другого), возникающие при непосредственном переживании Другого. Идентификацию можно считать более глубоким механизмом эмоционального компонента установки на Другого, так как происходит соприкосновение с уровнем чувств, а не только эмоций Другого.

Содержание эмоционального компонента эмпатической установки включает в себя также чувства, пробуждающиеся в самом субъекте восприятия в ответ на прочувствованные этим субъектом с помощью заражения и идентификации переживания Другого. При субъектном отношении эмоциональное состояние субъекта восприятия релевантно эмоциональному состоянию Другого. В этой связи интересно представление Л. С. Выготского об эмпатии как вчувствовании: при соприкосновении с чувствами Другого меняются эмоции субъекта восприятия, и то новое эмоциональное состояние, которое возникло после встречи с Другим, воспринимается как состояние этого Другого («мне стало грустно, значит другой грустит») [2]. По сути, Другому приписывается то, что связано с чувствами самого субъекта восприятия. При этом субъект не всегда в процессе рефлексии может разделить воспринятое им состояние Другого и свою собственную эмоциональную реакцию на это состояние. Таким образом, получается, что субъект восприятия вчувствуется в себя самого и начинает различать свои состояния и переживания, полагая, что именно их испытывает Другой.

При *объектном отношении* к Другому отношения строятся на основе реализации потребностей субъекта восприятия и степени их удовлетворенности с помощью этого Другого. Они же определяют содержание и интенсивность эмоций и чувств в адрес Другого. Соответственно если человек способствует удовлетворению личных потребностей субъекта, он будет вызывать положительные эмоции, и наоборот. Можно предположить, что при таком подходе к Другому субъект восприятия не способен входить в эмоциональный резонанс с ним или закрывается от чувств собеседника, вытесняет их, т. е. механизм действия заражения в межличностных отношениях в этом случае затруднен. Также затруднен и механизм идентификации, поскольку чувства партнера по общению не являются для субъекта значимыми. В результате эмоциональный отклик субъекта восприятия может не соответствовать переживаниям партнера по общению. Например, грусть Другого может вызывать раздражение, так как препятствует реализации актуальных потребностей субъекта восприятия. Таким образом, при отношении к Другому как к объекту эмоциональный компонент установки реализуется в механизмах рационализации и вытеснения.

Итак, в центре рассмотрения эмоционального компонента установки на Другого находится эмоциональное состояние субъекта восприятия, которое имеет две составляющие. Во-первых, это эмоции и чувства, которые являются реконструкцией состояния переживающего (результат вчувствования в переживания Другого или вытеснения его переживаний); во-вторых — собственный эмоциональный отклик субъекта на состояние Другого.

Далее происходит переход на стадию понимания Другого и рефлексии субъектом восприятия собственных чувств, возникших в ответ на переживания Другого. Обратимся к анализу когнитивного компонента установки.

Когнитивный компонент установки развертывается в процессах познания и понимания мыслей, мотивов, желаний и смыслов Другого.

Основными когнитивными механизмами при *субъектном отношении* к Другому являются познание и понимание как два способа постижения Другого.

С. Ю. Головин определяет эти категории следующим образом: «познание» подразумевает конструирование образа внутреннего мира Другого, его логическое постижение; «понимание» же является социальным инсайтом, схватыванием сути внутреннего мира Другого на основе сопереживания, идентификации [9]. Таким образом, рассматривая субъектное отношение к Другому, мы можем говорить о двух когнитивных механизмах: эмпатическом познании и эмпатическом понимании.

В этом случае познание личности Другого выступает высшей ценностью, что позволяет субъекту восприятия структурировать мир по образу мира Другого. При этом субъект восприятия не просто ставит себя на место Другого, а старается вжиться в Другого, посмотреть на мир из его системы координат и личностных конструктов. «Эмпатия позволяет нам рассматривать другого как аналогичного нам без аналогизирующего суждения» [5, 53]. Познание как механизм когнитивного компонента установки дает возможность предсказывать реакции Другого в определенных ситуациях, что Р. Даймонд называет «предиктивной эмпатией» [3, 150]. Познание личности Другого может осуществляться как методом логического анализа, так и с помощью интуитивного схватывания. Говоря об интуиции, можно предположить, что субъект восприятия автоматически «считывает» эмоции Другого (ведь по теории П. Экмана эмоции всегда проявляются) и бессознательно уже «знает», что он испытывает. Когда посредством интуиции чувства Другого осознаются (переводятся с бессознательного «языка» на язык слов), у субъекта вдруг возникает ощущение, что он знает, что испытывает Другой, хотя на самом деле это «вдруг» — результат определенной работы бессознательных процессов. Интуиция свойственна каждому человеку, но проявляется она по-разному, в том числе и в межличностных отношениях, что позволяет говорить об «эмпатийной» интуиции. Скорее всего, с помощью расширения опыта эмпатического взаимодействия (например, в тренинге) и развитием установки на Другого как субъекта можно развить «эмпатийную» интуицию.

В отличие от познания как конструирования эмпатическое понимание является механизмом, связанным с приращением знания, а не только восстановлением знания изначального. Цель понимания в эмпатическом отношении, по К. Роджерсу, состоит в возможности пережить опыт Другого в его аутентичной целостности так, как он его сам переживает, пожить Другим. Когнитивный компонент эмпатической установки заключается в понимании тех оценок и смыслов, которые вкладывает в свой опыт именно переживающий Другой.

В процессе познания и понимания Другого конструкты и смыслы создаются самим субъектом восприятия, отсюда возникает важность соответствия смыслов субъекта и самого переживающего. «Результат понимания — смысл — субъективно уникalen для субъекта, но непроизведен, ибо понимание определяется в конечном счете социокультурными условиями, независимыми от индивида» [9, 419]. Иными словами, субъект восприятия постигает переживания Другого в той системе смыслов, которая сформировалась в онтогенезе под влиянием социокультурных и индивидуальных факторов. Многообразие смыслов представляется необходимым условием развертывания процесса понимания и принятия Другого,

что впоследствии позволяет субъекту восприятия постигать новые смыслы и расширять спектр собственных конструктов за счет конструктов переживающего Другого. Этот механизм выступает важным методом самопознания и саморазвития личности субъекта, способствует развитию толерантности, пластичности в области межличностных отношений, снижает категоричность суждений и позволяет понять разнообразие картины мира, ее неоднозначность.

Результатом действия механизмов когнитивного компонента субъектной установки является принятие Другого. Категория принятия предполагает теплое расположение к Другому «как к человеку, имеющему безусловную ценность, независимую от его состояния, поведения или чувств...». Это значит, что вы принимаете и уважаете весь спектр его отношений в данный момент независимо от того, положительные они или отрицательные, противоречат его прежним отношениям или нет» [7, 62]. Речь идет о полном принятии Другого, переживании его чувств и эмоций, в независимости от того, соответствуют они и поведение человека социальным нормативам и стандартам или нет. Как отмечает К. Роджерс, «принятие не стоит многое до тех пор, пока в него не входит понимание. Только тогда, когда я понимаю чувства и мысли, которые кажутся вам такими ужасными, такими глупыми, такими сентиментальными или эксцентричными, только тогда я понимаю их так, как вы, и принимаю их так же, как вы, — только тогда вы действительно чувствуете в себе свободу исследовать все глубоко скрытые расщелины и укромные уголки вашего внутреннего опыта» [Там же, 76].

При отношении к Другому *как к объекту* содержание познания и понимания проявляется в виде механизма оценивания, в результате которого личные характеристики партнера по общению воспринимаются субъектом восприятия как полезные или вредные для себя и достижения им своих целей и в соответствии с этим учитываются или игнорируются в процессе общения. Этот процесс исключает принятие личности партнера по общению. В результате Другой понимается не в терминах своих собственных уникальных личностных конструктов, а как «важный», «значимый», «полезный», «нужный», «приемлемый», с точки зрения субъекта восприятия.

Таким образом, при отношении к Другому как к субъекту возникает принятие Другого на основе эмпатического познания и понимания его внутреннего мира. При объектной установке принятия Другого не происходит, познание и понимание крайне ограничены и протекают посредством механизма оценки.

Итак, если при анализе эмоционального компонента установки рассматривается состояние субъекта восприятия при взаимодействии с переживающим Другим, то в рамках когнитивного компонента анализируется прежде всего процесс появления у субъекта тех или иных мыслей, связанных с процессами познания и понимания Другого, которые идут параллельно с механизмами вчувствования и эмоционального заражения (при субъектном отношении) или вытеснения (при объектном отношении).

Конативный компонент установки является следствием работы эмоциональных и когнитивных механизмов и проявляется в виде реального поведения субъекта восприятия в отношении Другого.

При *субъектном* отношении к Другому переживания партнера по общению являются мотивом, побуждающим субъект восприятия проявлять готовность к определенным действиям в отношении переживающего Другого — проявлению сочувствия и оказанию ему поддержки и реальной помощи. Механизм проявления конативного компонента субъектной установки на Другого является альтруистическое поведение, что особенно ярко проявляется в ситуации неблагополучия Другого. Однако эмпатическое отношение к Другому не всегда бывает выражено непосредственно в активном поведении субъекта восприятия. А. Б. Орлов и М. А. Хазанова рассматривают наиболее эффективную в психотерапии эмпатию как крайне незначительно выраженную вовне. Однако, вне зависимости от степени проявления эмпатической установки в поведении, субъект восприятия испытывает положительные или отрицательные эмоции в зависимости от того, удовлетворена ли потребность во благе Другого. Эмпатическая установка проявляется не только в виде альтруистического поведения: она помогает человеку регулировать отношения с другими людьми, что особенно важно для совместной деятельности и общения. Принимая в расчет чувства Другого, субъект восприятия меняет свое поведение по отношению к нему, что облегчает процесс межличностного взаимодействия.

При *объектном* отношении конативный компонент установки на Другого осуществляется в виде механизма эгоистического поведения, который проявляется в манипуляции поведением Другого, тенденции воздействовать на него, монологическом общении с ним, навязывании ему своих мыслей, чувств и поведения (вплоть до агрессии) с целью контроля за его поступками и «владения» Другим по типу предмета. При объектной установке на Другого субъект восприятия способен демонстрировать поведение, внешне похожее на помогающее, реализуемое при субъектном отношении к Другому, однако оно является лишь подобием альтруистического поведения, имеет в основе благополучие самого субъекта восприятия и вызвано, например, желанием получить награду, повысить самооценку и т. д.

Итак, субъектное отношение к Другому вызывает у субъекта восприятия альтруистическое поведение, вызванное потребностью заботиться о благополучии партнера по общению, тогда как при объектном отношении Другой является объектом манипуляции, использования, давления, подчинения собственным интересам субъекта восприятия, что реализуется в виде механизма эгоистического поведения.

Подводя итоги, отношение к Другому *как к субъекту* можно назвать эмпатическим отношением, при котором на основе эмоционального резонанса с переживаниями Другого, в результате познания и понимания происходит принятие партнера по общению, которое выражается в виде альтруистического поведения субъекта восприятия по отношению к переживающему Другому, тогда как при *объектном* отношении к Другому эмпатический процесс находится в редуцированном, зачаточном состоянии или не развертывается вовсе. Субъект восприятия не чувствует эмоций Другого или игнорирует их, внутренний мир Другого не интересен своей бытийностью, а привлекает субъекта восприятия исключительно с точки зрения влияния на партнера по общению; понимания

личности Другого и принятия его при этом не происходит, в поведении субъекта выражается стремление манипулировать Другим.

В эмпирическом исследовании мы хотим показать проявление содержания различных компонентов субъектной и объектной установки на Другого на примере студенческой выборки.

Организация и методы исследования

Целью исследования является описание содержания эмоционального, когнитивного и конативного компонентов установки на Другого.

Общая характеристика выборки. В исследовании приняли участие 311 человек, студенты УрФУ и УрГПУ 2–4 курса различных специальностей, которых мы разбили на три группы.

Группу «Помогающие» составили 116 человек: будущие психологи, социальные работники и дефектологи. В группу «Человек – человек» вошли 104 студента: будущие журналисты, менеджеры по туризму и менеджеры по персоналу. Группа «Технические» состоит из 91 студента: будущие химики и теплоэнергетики.

Выборочная совокупность сформирована на основе предположения о том, что у студентов разных специальностей доминируют различные установки на Другого (предположение 1).

Используемый инструментарий. Для исследования отношения к Другому была разработана авторская методика «Исследование отношеческих установок личности». Мы исходили из предположения о том, что каждый человек имеет как субъектную, так и объектную установки, которые, вероятно, проявляются в различных обстоятельствах и ситуациях по отношению к различным людям. Однако в некоторых случаях можно выделить доминирующую установку по отношению к Другому — как к субъекту или как к объекту, которая проявляется как свойство личности субъекта восприятия. Большинство же личностей демонстрируют тип, который можно назвать «промежуточным», при котором доминирующая установка отсутствует (предположение 2). Мы использовали эту методику для выделения групп с доминирующими субъектной и объектной установками по отношению к Другому.

Также нами были использованы следующие методики: «Диагностика уровня эмпатических способностей» В. В. Бойко [1, 120–123], «Опросник по изучению эмпатии» Меграбяна [6, 618–624] и «Методика определения уровня рефлексивности» А. В. Карпова и В. В. Пономаревой [4].

Для диагностики отдельных компонентов установки на Другого были использованы отдельные шкалы вышеперечисленных методик:

- для диагностики эмоционального компонента применялись шкалы «эмоциональный канал» и «идентификация в эмпатии» (В. В. Бойко), а также шкалы «эмпатическая тенденция» и «сензитивность к отвержению» (Меграбян);
- когнитивный компонент установки исследовался с помощью шкал «рефлексия общения» (А. В. Карпов и В. В. Пономарева), «рациональный канал», «интуитивный канал», «установки, способствующие эмпатии» (В. В. Бойко);

— для исследования *конативного компонента* были использованы шкалы «проникающая способность в эмпатии» (В. В. Бойко) и «тенденция к присоединению» (Меграбян).

Математическая обработка полученных данных проводилась с помощью программы STATISTIKA. Для выявления различий между выборками был использован *t*-критерий Стьюдента. Нормальность распределения проверялась с помощью критерия Шапиро — Уилка.

Анализ и обсуждение результатов

В результате применения авторской методики выборка была разделена на три группы: группа с доминирующим субъектным отношением к Другому (далее Др-С), группа с доминирующим объектным отношением к Другому (далее Др-О) и промежуточная группа, границы которой определялись как среднее значение ± 1 стандартное отклонение (табл. 1).

Таблица 1
Распределение типов установки на Другого в группах выборки

Группа	Тип			
	Др-С, %	Промежуточный, %	Др-О, %	Всего, %
Помогающие	25	58,6	16,4	100
Человек–человек	15,4	68,3	16,3	100
Технические	17,6	70,3	12,1	100
<i>Всего</i>	19,6	65,3	15,1	100

Распределение результатов, полученных в нашей выборке, соответствует критерию нормальности. Результаты исследования показывают, что большинство испытуемых (65,3 % всей выборки) имеют промежуточный тип установки на Другого, что подтвердило предположение 2. Таким образом, группу Др-С составили 61 человек (19,6 % от общей выборки), группу Др-О — 47 человек (15,1 % выборки). Субъектный способ отношения к Другому встречается чаще у студентов, обучающихся по профессиям помогающего типа, что объясняется тем, что для представителей этих профессий, например для психологов, эмпатический способ отношения к Другому является фактором, определяющим успешность профессиональной деятельности, что подтвердило наше предположение 1.

Для анализа содержания компонентов установки на Другого мы сравнили представителей групп Др-С и Др-О по каждому параметру.

Эмоциональный компонент установки. По шкалам, использованным нами для оценки данного компонента установки на Другого, были получены следующие значения и различия между группами (табл. 2).

Таблица 2
Средние значения показателей эмоционального компонента установки на Другого у представителей групп Др-С и Др-О

Шкалы, составляющие эмоциональный компонент установки на Другого	Группа Др-С	Группа Др-О	Значение коэффициента Стьюдента ($t_{kp} = 1,98$ при уровне значимости 0,95, $t_{kp} = 1,66$ при уровне значимости 0,90)
Эмоциональный канал	3,8	3,1	2,28
Идентификация в эмпатии	3,8	3,4	1,09
Эмпатическая тенденция	20	10,1	2,19
Сензитивность к отвержению	4,9	-2,7	1,91

Эмоциональный канал эмпатии у представителей группы Др-С развит достоверно выше, чем в группе Др-О. Способность «входить в эмоциональный резонанс с окружающими» [1, 122] по типу эмоционального заражения позволяет субъекту восприятия сопереживать и сочувствовать переживаниям Другого; субъект открыт для эмоций и чувств Другого, склонен к синхронизации своих состояний с состояниями партнера по общению, чувствителен к его переживаниям. Эмоциональное заражение является процессом автоматическим и первым из эмпатических механизмов появляется в онтогенезе. Поэтому можно предположить, что эмоциональное заражение наименее поддается коррекции и наиболее ярко демонстрирует различия в субъектном и объектном способах отношения к Другому.

Средние показатели шкалы «идентификация в эмпатии» также выше у представителей группы Др-С, однако статистически значимых различий между группами по этому параметру не обнаружено. Вероятно, неосознанная идентификация как механизм эмоционального компонента установочной реакции развита у обеих групп примерно одинаково. Однако можно предположить, что у представителей группы Др-С возникшее в результате идентификации эмоциональное состояние будет осознано как состояние Другого, понято и принято субъектом, а в дальнейшем вызовет альтруистическое поведение в отношении партнера по общению. А в группе Др-О это эмоциональное состояние так и останется бессознательным или отрефлексируется как собственное состояние субъекта восприятия, что лишит его возможности корректировать свое поведение в общении с Другим с учетом его эмоционального состояния. Таким образом, произошедшая идентификация с Другим не дает гарантии развертывания полноценного эмпатического процесса, который в дальнейшем зависит от когнитивных и поведенческих компонентов установки на Другого.

Эмпатическая тенденция (тенденция к сопереживанию и впечатлительность) также достоверно выше развита у представителей группы Др-С, что можно объяснить их большей открытостью внешнему опыту, большей значимостью этого опыта для субъекта восприятия и более сильным эмоциональным ответом на стимул в виде эмоций Другого. Это также согласуется с нашими представлениями о более высоком уровне развития механизма эмоционального

заражения у представителей группы Др-С. Также относящиеся к Другому как к субъекту более восприимчивы к критике в свой адрес и более способны к возникновению адекватного чувства вины. Мнение Другого обладает большей личностной значимостью для представителей группы Др-С, они лучше усматривают причинно-следственные связи между своим поведением и эмоциональным состоянием партнера по общению.

Итак, в основе развертывания полноценной эмпатической реакции на Другого и отношения к нему как к субъекту лежит прежде всего развитый механизм эмоционального заражения. Если эмпатический процесс основывается на механизме идентификации, то его развертывание зависит от когнитивных механизмов установки на Другого.

Когнитивный компонент установки. Достоверные различия между группами в данном компоненте установки обнаружены только по шкале «рефлексия общения» (табл. 3).

Таблица 3

Средний уровень развития показателей когнитивного компонента установки на Другого у представителей групп Др-С и Др-О

Шкалы, составляющие когнитивный компонент установки на Другого	Группа Др-С	Группа Др-О	Значение коэффициента Стьюдента ($t_{kp} = 1,66$ при уровне значимости 0,90)
Рефлексия общения	37	35	1,81
Рациональный канал	3,5	3,4	0,57
Интуитивный канал	3,2	3,1	0,28
Установки	3,9	3,6	1,4

Результаты исследования показали, что представители группы Др-С достоверно чаще ставят себя на место Другого, обдумывают причины его поступков и пытаются предсказать его дальнейшее поведение, ведут с Другим мысленный диалог, подбирая точные слова, которые не обидят партнера по общению. Они стремятся познать личностные конструкты Другого, сконструировать свой внутренний мир по образу внутреннего мира Другого, понять не только причинно-следственные связи, но и смыслы, которые Другой вкладывает в свои поступки. Это возможно благодаря развертыванию механизмов эмпатического познания и понимания. При субъектном отношении к Другому субъект восприятия связывает свое поведение с реакциями Другого и, анализируя, например, конфликт с Другим, ищет причину прежде всего в своем поведении. Это подтверждают результаты нашего исследования по шкале «сензитивность к отвержению», описанные выше.

Обнаружена тенденция к более развитым установкам, помогающим познанию и пониманию Другого, у представителей группы Др-С, хотя достоверных различий между группами по этому параметру не обнаружено. Данная шкала помогает исследовать конкретные когнитивные конструкты, которые опосреду-

ют восприятие межличностных отношений субъектом. К этим установкам относятся степень значимости контакта с Другим, недопустимость или возможность равнодушия к его проблемам, желание построить теплые, дружеские отношения с ним или отсутствие такого, возможность или неприемлемость интереса к внутреннему миру Другого, его внутриличностным проблемам и переживаниям. Эти когнитивные установки сами по себе не обеспечивают принятия Другого как результата когнитивного компонента эмпатической установки, они лишь способствуют или препятствуют познанию и пониманию партнера по общению, направляют внимание субъекта восприятия на внутренний мир Другого или призывают игнорировать его. Таким образом, даже развитые когнитивные установки у представителей группы Др-О не способны обеспечить развертывание полноценного эмпатического процесса, так как недостаточно развита его основа — эмоциональное заражение, а процессы познания и понимания ограничены сферой интересов субъекта восприятия, что выражается в работе оценочного механизма и не позволяет реконструировать подлинный внутренний мир Другого и принять его.

Рациональный канал эмпатии — спонтанный интерес к Другому, умение направлять внимание на партнера по общению, анализировать его эмоциональное состояние, в том числе и в условиях дефицита исходной информации, опираясь на опыт, хранящийся в подсознании (интуитивный канал) — равно выражен у представителей обеих групп. Можно предположить, что внимательность к Другому и умение анализировать его поведение служат разным целям при субъектном и объектном способе отношения к Другому. Представителей группы Др-С партнер по общению интересует своей бытийностью, уникальностью и представляет для субъекта восприятия самостоятельную ценность, поэтому внимание к проявлениям Другого позволяет получить необходимую информацию для работы механизмов эмпатического познания и понимания партнера по общению. При объектном способе отношения информация, полученная в ходе анализа верbalного и невербального поведения Другого, обрабатывается с помощью механизма оценивания, в результате чего субъект восприятия формирует представление о «хороших» или «плохих», «полезных» или «вредных» для достижения им своих целей характеристиках Другого.

Таким образом, различия между группами обусловлены разницей в содержании работы когнитивных механизмов, что непосредственно выражается в конативном компоненте установки на Другого.

Конативный компонент установки. В результате исследования было получено достоверное различие между группами по шкале проявления дружелюбия, тепла и поддержки (табл. 4).

Представители группы Др-С показали более выраженную тенденцию к проявлению теплых чувств в адрес Другого, которые представляют собой собственный эмоциональный отклик субъекта восприятия на переживания Другого, сформировавшийся в результате работы эмоциональных и когнитивных механизмов эмпатического отношения. Данная тенденция находит наиболее яркое проявление в альтруистическом поведении субъекта восприятия, мотивом которого является благополучие Другого. Также при субъектном способе

Таблица 4

Средний уровень развития показателей конативного компонента установки на Другого у представителей групп Др-С и Др-О

Шкалы, составляющие конативный компонент установки на Другого	Группа Др-С	Группа Др-О	Значение коэффициента Стьюдента ($t_{kp} = 1,66$ при уровне значимости 0,90)
Проникающая способность	3,7	3,4	1,28
Тенденция к присоединению	13,5	7,3	1,79

отношения понимание чувств Другого и возникновение собственного эмоционального отклика оказывают влияние на процесс межличностных отношений, заставляя субъект восприятия выбирать стратегию поведения, учитывающую эмоциональное состояние партнера по общению и имеющую целью благополучие Другого и сохранение отношений с ним. Представители группы Др-О достоверно реже выражают теплое отношение к Другому и поддерживают его. Это прежде всего связано с тем, что благополучие Другого не является целью поведения субъекта восприятия, механизм эмоционального заражения работает недостаточно интенсивно, не происходит принятия Другого на основе эмпатического познания и понимания его внутреннего мира, и в результате теплое отношение к Другому не формируется. Однако даже при возникновении позитивно окрашенных чувств к Другому субъект восприятия может испытывать трудности в их искреннем и адекватном выражении.

Обнаружена тенденция к более развитой проникающей способности (которая выражается в создании атмосферы открытости и доверительности) у представителей группы Др-С, что объясняется выражением теплых чувств в адрес Другого, принятием его личности, что, в свою очередь, создает атмосферу безопасности для наиболее полного самораскрытия Другого и его личностного роста в ситуации межличностного взаимодействия с субъектом восприятия. Необходимо отметить, что достоверные различия между группами по этому показателю выявлены не были, что говорит о возможности вызвать доверие Другого (или, как говорят, «втереться в доверие») и у представителей группы Др-О. Однако целью в данном случае становится удовлетворение личных потребностей субъекта восприятия, реализуемое с помощью механизма эгоистического поведения, а интерес к личности Другого далеко не всегда является искренним. Существует большое количество техник, призванных «расслабить» партнера по общению и сократить межличностную дистанцию, но их результативное использование не всегда означает искреннее сопереживание и близость по отношению к Другому.

Итак, субъектная и объектная установки по отношению к Другому реализуются в итоге в механизмах альтруистического или эгоистического поведения соответственно.

Таким образом, по результатам исследования мы можем сделать вывод о том, что способность вступать в эмоциональный резонанс с Другим является

наиболее выраженным, определяющим различием между группами Др-С и Др-О. Также представители группы Др-С достоверно чаще, чем представители группы Др-О, испытывают сочувствие в адрес Другого, более чувствительны к критике в свой адрес и чаще воспринимают себя причиной изменения эмоционального состояния партнера по общению, они чаще рефлексируют свои отношения с Другим и выражают теплые чувства в его адрес. Однако по параметрам рационального и интуитивного способов познания Другого, идентификации с ним и создания атмосферы открытости и доброжелательности отсутствуют достоверные различия между группами, что говорит о том, что они одинаково выражены у представителей обеих групп вне зависимости от установки в отношении Другого.

Субъектный способ отношения к Другому характеризуется возникновением эмоционального резонанса с Другим за счет механизмов эмоционального заражения и неосознанной идентификации, что приводит к изменению эмоционального состояния субъекта восприятия. Это изменение рефлексируется им как результат взаимодействия с переживающим Другим и вызывает работу когнитивных механизмов эмпатического познания и понимания, итогом которой является принятие личности Другого, что выражается в виде альтруистического поведения в его адрес. При *объектной* установке эмоции Другого вытесняются или рационализируются. В рамках когнитивного компонента объектной установки Другой оценивается субъектом восприятия с точки зрения удовлетворения собственных потребностей, его личности приписываются чуждые ей смыслы, содержание внутреннего мира Другого остается скрытым от субъекта восприятия. В поведении объектная установка реализуется в эгоистическом поведении по отношению к Другому, что выражается в манипулировании, давлении и, возможно, агрессии по отношению к Другому.

-
1. Бойко В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и других. М., 1999.
 2. Выготский Л. С. Вчувствование // Большая советская энциклопедия. М., 1929. Т. 13.
 3. Гаврилова Т. П. Понятие эмпатии в зарубежной психологии // Вопр. психологии. 1975. № 2. С. 147–158.
 4. Карпов А. В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее диагностики // Психол. журн. 2003. Т. 24, № 5. С. 45–57.
 5. Карягина Т. Д. Философские и научные контексты проблемы эмпатии // Москов. психотерапевт. журн. 2009. № 4. С. 50–74.
 6. Прикладная социальная психология / под ред. А. Н. Сухова и А. А. Деркача. М., 1998.
 7. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М., 1994.
 8. Сарджвеладзе Н. И. Личность и ее взаимодействие с социальной средой. Тбилиси, 1989.
 9. Словарь практического психолога / сост. С. Ю. Головин. Минск ; М., 2001.

Рукопись поступила в редакцию 17 декабря 2012 г.

УДК 159.944.4:616.89 + 355.121

Н. А. Позднякова**НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ:
ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКОВЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ
В УСЛОВИЯХ АРМЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ**

В статье представлены проблемы психологической адаптации в условиях армейской службы как следствие наличия у военнослужащих нервно-психической неустойчивости, проведен анализ возможных предпосылок возникновения нервно-психической неустойчивости и последствий ее проявления в условиях военной службы.

Ключевые слова: нервно-психическая устойчивость, нервно-психическая неустойчивость, адаптивность, адаптивный потенциал, дезадаптация, суицидальный риск.

Вопрос боевой готовности вооруженных сил государства является актуальным в любое время и в любой политической обстановке.

Поскольку боевая готовность определяется не только уровнем усвоения солдатом специальных знаний и умений, но и его морально-психологическим состоянием, проблема адаптации к условиям службы представляет особый интерес.

Армия относится к политической сфере жизнедеятельности общества, являясь социальным институтом с жесткой структурой, влияющей на психологическое состояние военнослужащих всех уровней.

При всей ригидности данной системы (нормативно закрепленный устав, распорядок дня и т. п.) для нее характерна изменчивость — частый пересмотр принятых командованием решений. Подобное сочетание создает особую атмосферу: военнослужащий находится в жесткой, непреодолимой зависимости от нестабильных по своей сути условий, что, в свою очередь, влияет на психику людей, во многом определяя их поведение.

Военному психологу доступны для наблюдения самые разнообразные способы реагирования личного состава на ситуации военной действительности.

В армейской среде спектр поведенческих реакций новобранцев широк. Это могут быть диаметрально противоположные проявления волевого и морально-нравственного компонента личности: от различного рода психологических защит до крайних, патологических и антисоциальных актов. Однако абсолютно все поведенческие реакции индивида и лежащие в их основе психологические процессы направлены на решение первостепенно важной задачи — задачи адаптации к новым условиям жизни.

Анализ процесса адаптации и предпосылок возникновения дезадаптивного поведения проводился на группе новобранцев — военнослужащих первых месяцев службы. Процесс адаптации строго индивидуален, а потому определение его временных границ представляет некоторую сложность. В рамках проведенного анализа основным признаком дезадаптивного состояния будем считать

результат психодиагностического исследования, указывающий на наличие подобного состояния.

Знание демографических данных военнослужащих, полученных на основе метода анализа документов, данных индивидуального тестирования личностных особенностей, а также непосредственное наблюдение за поведением солдат и индивидуальная работа с ними способствовали постановке проблемы изучения взаимосвязи нервно-психической неустойчивости как личностного качества и признаков дезадаптивного поведения.

Под *нервно-психической устойчивостью* (далее – НПУ) понимается совокупность врожденных и приобретенных личностных качеств, мобилизационных ресурсов и резервных психофизиологических возможностей организма, обеспечивающих оптимальное функционирование индивида в неблагоприятных условиях среды [1, 60].

НПУ определяет способность индивида адекватно оценивать окружающую действительность, отвечать на ее требования наиболее эргономичным способом, переносить психические и физические нагрузки.

Противоположным по значению понятием является понятие нервно-психической неустойчивости.

Нервно-психическая неустойчивость (далее – НПН) – неспособность или слабая способность человека переносить неблагоприятные условия существования. Это такие состояния психической деятельности, которые характеризуются склонностью к срывам оптимального функционирования и адекватного реагирования в условиях эмоционального напряжения [Там же, 75].

О наличии НПН можно говорить, если при тестировании военнослужащего по методике «Адаптивность МЛО – АМ» тестовые показатели по шкале НПУ являются низкими – от 1 до 3 степеней [Там же, 304]. Полученные в результате опроса данные обрабатываются в соответствии с ключом. Методика «Адаптивность МЛО – АМ» (авторы А. Г. Маклаков, С. В. Чермянин) рекомендована для работы в вооруженных силах Министерством обороны РФ (образец опросника приведен в приложении).

НПН, являясь свойством личности, не может считаться клиническим диагнозом и абсолютно стабильным свойством. С течением времени проявление НПН может усиливаться (вплоть до соматических проявлений) или ослабляться [2, 12].

Предпосылками формирования НПН являются психофизиологические особенности личности и особенности ее социального окружения в период становления личности.

К первой группе факторов могут быть отнесены нейроинфекции, черепно-мозговые травмы, психотравмирующие воздействия на личность. Ко второй группе факторов относятся умственное недоразвитие в легкой степени как следствие педагогической запущенности, низкий уровень образования, грубые педагогические ошибки, алкоголизм, наркомания или токсикомания (в том числе у родителей) [1, 125].

Часто данные факторы влияют на личность одновременно, поэтому оценить степень влияния каждого из них на формирование НПН достаточно сложно.

Тем не менее следует отметить особую роль социальных условий в формировании нервно-психически устойчивой или неустойчивой личности.

Ребенку, который воспитывался в полной, благополучной семье, противостоять неблагоприятным условиям существования гораздо проще, чем ребенку из семьи неполной или неблагополучной. Этому способствует тот факт, что ребенок из благополучной социальной среды имеет более широкий репертуар поведения в сложных жизненных ситуациях. Эмоционально благоприятные взаимоотношения в семье, совместное времяпрепровождение, положительные эмоции, которыми сопровождается контакт родителей и детей с самого раннего возраста, развитие у ребенка социальных и бытовых навыков, а также его общее развитие — все эти факторы составляют основу для формирования НПУ как способности противостоять жизненным трудностям. Органические нарушения могут быть частично элиминированы грамотным воспитанием и обучением.

Обратная ситуация наблюдается в случае неблагоприятного психосоциального развития ребенка. Во взрослом возрасте такие люди испытывают трудности в установлении контактов, общении, совместной деятельности. Особые сложности возникают при столкновении с неприятностями или жизненными затруднениями.

Нервно-психическая неустойчивость проявляется не только в неблагоприятных условиях, но и в нестандартных, новых для индивида ситуациях. К подобным условиям можно отнести условия армейской службы. Объективно они могут и не являться тяжелыми в психическом или физическом плане, но сам фактор новизны может провоцировать проявления НПН.

О наличии НПН могут свидетельствовать следующие особенности индивида или его поведенческие реакции:

- 1) импульсивность и непредсказуемость действий;
- 2) нестабильность во взаимоотношениях с окружающими людьми;
- 3) аффективная нестабильность, колебания настроения;
- 4) хроническое чувство пустоты и скуки;
- 5) приступы необоснованного, неконтролируемого гнева;
- 6) нарушенные представления о себе (неадекватно завышенная или заниженная самооценка);
- 7) непереносимость одиночества;
- 8) склонность к самоповреждающему и суицидальному поведению [1, 177].

Частота проявлений отдельных признаков не поддается прогнозу и во многом определяется ситуацией, в которую попал конкретный индивид, обладающий НПН.

Зависимость НПН от социальных условий воспитания и становления личности может быть выявлена на армейской выборке с достаточно большой долей достоверности. Количество в призывае новобранцев, обладающих НПН, зависит от общих социально-демографических характеристик солдат призыва, таких, как количество новобранцев из полных семей, уровень образования молодого пополнения и т. п.

Проиллюстрируем этот факт с помощью данных, полученных в ходе демографического и психологического исследования молодого пополнения двух призывов одной из войсковых частей Екатеринбурга.

В табл. 1 и 2 приведена информация о социально-демографических характеристиках весеннего и зимнего призыва.

Таблица 1

**Социально-демографические характеристики
и психологические особенности военнослужащих весеннего призыва
одной из войсковых частей Екатеринбурга**

Социально-демографические характеристики и психологические особенности военнослужащих	Всего по в/ч	
	чел.	%
Поступило всего	87	100
Изучено	87	100
По образованию:		
высшее — профессиональное (вуз)	25	23
По составу семьи:		
воспитывались в полных семьях	57	70

Таблица 2

**Социально-демографические характеристики
и психологические особенности военнослужащих зимнего призыва
одной из войсковых частей Екатеринбурга**

Социально-демографические характеристики и психологические особенности военнослужащих	Всего по в/ч	
	чел.	%
Поступило всего	129	100
Изучено	129	100
По образованию:		
высшее — профессиональное (вуз)	41	32
По составу семьи:		
воспитывались в полных семьях	78	65

Весенний и зимний призыва обладают сходной социально-демографической характеристикой по двум параметрам: количество военнослужащих с высшим образованием (23 и 32 % соответственно) и количество военнослужащих из полных семей (70 и 65 % соответственно).

По данным психологического исследования личности военнослужащих этих призывов выявлены:

- 1) 18 военнослужащих весенного призыва, обладающих НПН, что составляет 21 % (от общего числа 87 человек);
- 2) 26 военнослужащих зимнего призыва, обладающих НПН, что составляет 20 % (от общего числа 129 человек).

Таким образом, в двух призывах, обладающих сходными показателями по социально-демографическим характеристикам, наблюдается практически одинаковый процент военнослужащих с НПН.

Данные показатели являются невысокими по сравнению с предыдущими призывами, в которых процент военнослужащих с НПН был равен 40–50 %.

Таким образом, благополучные по социально-демографическим показателям призыва (табл. 1, 2) характеризуются невысоким процентом (20 %) военнослужащих, обладающих нервно-психической неустойчивостью.

Проведенное на двух призывах исследование не может претендовать на роль экспериментального доказательства зависимости НПН от социальных факторов развития личности, но является пилотажным исследованием в рамках работы над кандидатской диссертацией автора статьи.

Каким образом армейская среда провоцирует проявление НПН?

Проявление НПН в большинстве случаев приходится на возраст от 16 до 30 лет. Именно этот период попадает под категорию «призывного возраста», когда человек оказывается в новой для себя социальной ситуации. Армейские условия обладают рядом ключевых особенностей, оказывающих интенсивное влияние на неустойчивую психику:

- изоляция от родных и близких;
- новый коллектив, обладающий жесткими границами, — его сложно поменять, сложно из него выйти;
- несоблюдение баланса потребности во включенности в группу и потребности в уединении;
- новые (веселья жесткие) правила и нормы поведения;
- новый режим работы и отдыха, отступать от которого невозможно;
- новая информация, которая должна быть усвоена прочно и за короткий срок;
- интенсивная физическая нагрузка [1, 45].

Как было указано ранее, проявлению НПН способствуют большие физические и психологические нагрузки на личность. Перечисленные особенности армейской среды по праву можно отнести к этим категориям.

Поскольку НПН является свойством личности, ее проявление строго индивидуально. Однако существуют и некоторые типичные поведенческие проявления НПН.

Рассмотрим их на единичном, но типичном примере военнослужащего Ивана М.

Военнослужащий срочной службы Иван М., 22 года (на службе — 6 месяцев, из них дезертировал 3 месяца).

По методике «Адаптивность МЛО — АМ» у военнослужащего были выявлены крайне низкий уровень нервно-психической устойчивости, низкая способность к адаптации, суициdalный риск, низкие коммуникативные способности и плохо развитые морально-нравственные качества.

Анамнез. До старшего дошкольного возраста Иван воспитывался в неблагополучной среде — родители страдали алкогольной зависимостью, до пятилетнего возраста Иван и его младший брат буквально жили на улице.

Затем мальчики попали в детский дом, оттуда — в благополучную приемную семью. Приемная семья — бездетная супружеская пара зрелого возраста.

Начиная с подросткового возраста и по сегодняшний день Иван совершает кражи. Иван признается, что воровство доставляет ему удовольствие. Кроме того, будучи ребенком, Иван неоднократно убегал из дома.

Во время армейской службы Иван совершил самовольное оставление воинской части (дезертировал) на 3 месяца. В результате проведенного расследования Иван был возвращен в воинскую часть и предстал перед военным трибуналом.

На данный момент Иван по-прежнему выказывает нежелание служить в вооруженных силах, которое объясняет следующим образом: «Просто не хочу. Сбегу при первой возможности».

Иван — пример военнослужащего, обладающего крайне низким уровнем НПУ. Формированию НПН в конкретном случае способствовали в основном социальные факторы — алкоголизация родителей, социальная и педагогическая запущенность, неверная стратегия воспитания (приемные родители воспитывали мальчика в попустительском стиле), низкий уровень образования и умственного развития. Педагогические ошибки родителей оказали значительное влияние на формирование НПН: военнослужащий имеет слабо выраженный волевой компонент поведения. Кроме того, у Ивана в связи с его неблагополучным ранним детством частично отсутствуют некоторые социальные навыки и моральные представления, формирующиеся именно в младшем дошкольном возрасте, такие, как чувство стыда, категории «хорошо — плохо», чувство ответственности за свои поступки и многое другое.

Основной задачей военного психолога является выявление и психологическое сопровождение военнослужащих срочной службы, подобных Ивану. Такие солдаты входят в так называемую «группу риска» и находятся под постоянным психологическим контролем. Причиной подобного пристального внимания военного психолога является прежде всего стремление сохранить жизнь и здоровье самого военнослужащего, а также окружающих его людей. Ведь проявления НПН в условиях армейской службы могут быть самыми разнообразными.

В большинстве случаев индивид, имеющий НПН, имеет и низкий показатель личностного адаптивного потенциала (далее — ЛАП).

Личностный адаптационный потенциал — системное свойство личности, которое заключается в способности личности адаптироваться к условиям социальной среды. Чем выше уровень развития данного свойства, тем к более жестким и суровым условиям социальной среды может приспособиться человек [3, 305].

Следует различать адаптацию как процесс приспособления и адаптированность как состояние личности, прошедшей процесс адаптации.

Именно наличие у некоторых военнослужащих НПН и низкого уровня ЛАП делают процесс адаптации у них более долгим и сложным по сравнению с солдатами, обладающими НПУ. Встречаются случаи, когда НПН становится причиной, по которой адаптация принимает форму дезадаптации.

Дезадаптация — это нарушение приспособления организмов к условиям существования. В психиатрии под дезадаптацией понимается в первую очередь утрата приспособляемости к условиям социальной среды, являющаяся следствием психического заболевания [Там же, 305].

Экспериментального доказательства влияния НПН на формирование дезадаптации нами установлено не было, но анализ данных психодиагностического исследования с помощью методики «Адаптивность МЛО — АМ» показывает стабильное сочетание НПН и низкого ЛАП.

У всех 18 военнослужащих весеннего призыва (табл. 3), обладающих НПН, зафиксирован низкий уровень ЛАП.

Таблица 3

Результаты исследования военнослужащих весеннего призыва по методике «Адаптивность МЛО – АМ», обладающих НПН

№ п/п	ФИО	Адаптивность (МЛО – АМ)			№ п/п	ФИО	Адаптивность (МЛО – АМ)		
		НПУ	СР	ЛАП			НПУ	СР	ЛАП
1	Ак	2	4	2	10	Сол	1	3	1
2	Аст	2	4	2	11	Т	1	4	1
3	Гай	2	3	2	12	Н	2	4	2
4	Гол	1	2	1	13	Р	1	1	1
5	Зуб	1	1	1	14	Я	2	4	2
6	Пл	2	3	2	15	Ш	2	5	3
7	Сал	1	2	1	16	Саф	2	4	2
8	Саль	2	3	3	17	Ишм	2	4	3
9	Сек	1	2	1	18	Г	1	1	1

Условные обозначения: НПУ – нервно-психическая устойчивость; СР – суициdalный риск; ЛАП – личностный адаптивный потенциал. Значения приведены в стенах.

В соответствии с ключом к методике «Адаптивность МЛО–АМ», показатели по шкале НПУ считаются ниже среднего, если принадлежат диапазону от 1 до 3 стенов.

ЛАП считается низким при значениях от 1 до 2 стенов.

Наличие СР диагностируют при значениях тестовых показателей от 1 до 2 стенов.

Последствия дезадаптации или затяжного процесса адаптации различны. Остановимся на наиболее распространенных.

Во-первых, самовольное оставление воинской части. Поскольку у человека с НПН нарушено адекватное восприятие действительности, любая новая социальная ситуация может вызвать у него гипертрофированную паническую реакцию, которая побуждает индивида к уходу от психотравмирующей ситуации. Конечно, нередко причиной побега становятся объективно тяжелые социальные отношения в коллективе. Но достаточно часто пусковым механизмом может служить простая шутка сослуживцев или мелкая неприятность.

Последствием самовольного оставления части для военнослужащего является возбуждение уголовного дела, сложности в коллективе. Дезертир доставляет массу хлопот как начальству, так и сослуживцам (например, командование применяет педагогический прием «коллективной ответственности»: отменяет увольнения для всех военнослужащих, и никто из них не может убыть на побывку). Стоит ли объяснять, что по возвращении дезертир встречается с негативно настроенными по отношению к себе товарищами.

Во-вторых, солдаты, имеющие НПН и низкий ЛАП, могут выступать в роли так называемой «психологической заразы» в коллективе. Они могут провоцировать агрессию в отношении себя, разобщать коллектив, заражать его негативным эмоциональным настроением, быть причиной серьезных конфликтов.

В-третьих, самое крайнее проявление НПН и дезадаптивности в условиях военной службы — суицидальное поведение. Следует отметить, что у индивида, имеющего НПН, в большинстве случаев присутствует не только низкий адаптивный потенциал, но и повышенный суицидальный риск как готовность к суицидальному поведению. У 6 из 18 (30 %) военнослужащих весеннего призыва (табл. 3) наряду с НПН присутствует СР.

Человек избирает необъективный способ реагирования на сложившуюся ситуацию и пытается свести счеты с жизнью. Суицидальное поведение военнослужащего может быть вызвано рядом причин, объединяющим признаком для которых является ощущение неразрешимости ситуации: человек по собственным ощущениям загнан в тупик, сознание сужено, представляется возможным только единственный выход.

Каким бы ни было проявление НПН или дезадаптации, последствия этого проявления угрожают психическому и физическому здоровью военнослужащего и его сослуживцев. Анередко ставят под вопрос и жизнь человека.

Именно по этой причине ключевыми задачами военного психолога являются выявление военнослужащих с низким уровнем НПУ и их психологическое сопровождение, служащее для предотвращения проявлений НПН.

Перечисленные меры направлены на работу с уже зафиксированным фактом проявления НПН у военнослужащих.

Для профилактики развития НПН представляют особую значимость социальные условия, в которых происходит становление личности.

Разностороннее развитие ребенка, теплые эмоциональные взаимоотношения в семье, благополучные социально-бытовые условия обеспечивают формирование нервно-психической устойчивости как способности оптимального функционирования индивида в неблагоприятных условиях среды.

В рамках данной статьи вниманию была представлена проблема психологической дезадаптации в условиях армейской службы как следствие наличия у военнослужащих-новобранцев нервно-психической неустойчивости.

1. Ажнакин А. В., Новиков В. П. Психологическая работа в железнодорожных войсках Российской Федерации. М., 1998.

2. Берг Т. Н. Нервно-психическая неустойчивость и способы ее выявления. Владивосток, 2005.

3. Большой психологический словарь / сост. Б. Мещеряков, В. Зинченко. СПб., 2004.

Рукопись поступила в редакцию 13 декабря 2012 г.

*Приложение***ОПРОСНИК «АДАПТИВНОСТЬ МЛО-АМ»****Инструкция**

Сейчас вам будет предложено ответить на ряд вопросов, касающихся некоторых особенностей вашего самочувствия, поведения, характера. Будьте откровенны, долго не раздумывайте над содержанием вопросов, давайте естественный ответ, который первым придет вам в голову. Помните, что нет «хороших» или «плохих» ответов. Если вы отвечаете на вопрос «да», поставьте в соответствующей клетке регистрационного бланка знак «+» (плюс), если вы выбрали ответ «нет», поставьте знак «-» (минус). Внимательно следите за тем, чтобы номер вопроса анкеты и номер клетки регистрационного бланка совпадали. Отвечать нужно на все вопросы подряд, ничего не пропуская. Если у вас возникнут вопросы — поднимите руку.

Текст опросника

1. Бывает, что я сержусь.
2. Обычно по утрам я просыпаюсь свежим и отдохнувшим.
3. Сейчас я примерно так же работоспособен, как и всегда.
4. Судьба определенно не справедлива ко мне.
5. Запоры у меня бывают редко.
6. Временами мне очень хотелось покинуть свой дом.
7. Временами у меня бывают приступы смеха или плача.
8. Мне кажется, что меня никто не понимает.
9. Считаю, что если кто-то причинил мне зло, я должен ему ответить тем же.
10. Иногда мне в голову приходят такие нехорошие мысли, что лучше о них никому не рассказывать.
11. Мне бывает трудно сосредоточиться на какой-либо задаче или работе.
12. У меня бывают очень странные и необычные переживания.
13. У меня отсутствовали неприятности из-за моего поведения.
14. В детстве я одно время совершил мелкие кражи.
15. Иногда у меня появляется желание ломать или крошить все вокруг.
16. Бывало, что я целыми днями или даже неделями ничего не мог делать, потому что никак не мог заставить себя взяться за работу.
17. Сон у меня прерывистый и беспокойный.
18. Моя семья относится с неодобрением к той работе, которую я выбрал.
19. Бывали случаи, что я не сдерживал своих обещаний.
20. Голова у меня болит часто.
21. Раз в неделю или чаще я без всякой видимой причины внезапно ощущаю жар во всем теле.
22. Было бы хорошо, если бы почти все законы отменили.
23. Состояние моего здоровья почти такое же, как у большинства моих знакомых (не хуже).
24. Встречая на улице своих знакомых или школьных друзей, с которыми я давно не виделся, я предпочитаю проходить мимо, если они со мной не заговаривают первыми.
25. Большинству людей, которые меня знают, я нравлюсь.
26. Я человек общительный.
27. Иногда я так настаиваю на своем, что люди теряют терпение.

28. Большую часть времени настроение у меня подавленное.
29. Теперь мне трудно надеяться на то, что я чего-нибудь добьюсь в жизни.
30. У меня мало уверенности в себе.
31. Иногда я говорю неправду.
32. Обычно я считаю, что жизнь — стоящая штука.
33. Я считаю, что большинство людей способны солгать, чтобы продвинуться по службе.
34. Я охотно принимаю участие в собраниях и других общественных мероприятиях.
35. Я ссорюсь с членами моей семьи очень редко.
36. Иногда я испытываю сильное желание нарушить правила приличия или кому-нибудь навредить.
37. Самая трудная борьба для меня — это борьба с самим собой.
38. Мышечные судороги или подергивания у меня бывают крайне редко (или почти не бывают).
39. Я довольно безразличен к тому, что со мной будет.
40. Иногда, когда я себя неважно чувствую, я бываю раздражительным.
41. Большую часть времени у меня такое чувство, что я сделал что-то не то или даже плохое.
42. Некоторые люди до того любят командовать, что меня так и тянет делать все наперекор, даже если я знаю, что они правы.
43. Я часто считаю себя обязанным отстаивать то, что нахожу справедливым.
44. Моя речь сейчас такая же, как всегда (не быстрее и не медленнее), нет ни хрипоты, ни невнятности.
45. Я считаю, что моя семейная жизнь такая же хорошая, как и у большинства моих знакомых.
46. Меня ужасно задевает, когда меня критикуют или ругают.
47. Иногда у меня бывает такое чувство, что я просто должен нанести повреждение себе или кому-нибудь другому.
48. Мое поведение в значительной мере определяется обычаями тех, кто меня окружает.
49. В детстве у меня была такая компания, где все старались стоять друг за друга.
50. Иногда меня так и подмывает с кем-нибудь затеять драку.
51. Бывало, что я говорил о вещах, в которых не разбираюсь.
52. Обычно я засыпаю спокойно и меня не тревожат никакие мысли.
53. Последние несколько лет я чувствую себя хорошо.
54. У меня никогда не было ни припадков, ни судорог.
55. Сейчас масса моего тела постоянная (я не худею и не полнею).
56. Я считаю, что меня часто наказывали незаслуженно.
57. Я легко могу заплакать.
58. Я мало устаю.
59. Я был бы довольно спокоен, если бы у кого-нибудь из моей семьи были неприятности из-за нарушения закона.
60. С моим рассудком творится что-то неладное.
61. Чтобы скрыть свою застенчивость, мне приходится затрачивать большие усилия.
62. Приступы головокружения у меня бывают очень редко (или почти не бывают).
63. Меня беспокоят сексуальные (половые) вопросы.

64. Мне трудно поддерживать разговор с людьми, с которыми я только что познакомился.
65. Когда я пытаюсь что-то сделать, то часто замечаю, что у меня дрожат руки.
66. Руки у меня такие же ловкие и проворные, как и прежде.
67. Большую часть времени я испытываю общую слабость.
68. Иногда, когда я смущен, я сильно потею, и меня это раздражает.
69. Бывает, что я откладывают на завтра то, что должен сделать сегодня.
70. Думаю, что я человек обреченный.
71. Бывали случаи, что мне было трудно удержаться от того, чтобы что-нибудь не стащить у кого-либо или где-нибудь, например в магазине.
72. Я злоупотреблял спиртными напитками.
73. Я часто о чем-нибудь тревожусь.
74. Мне бы хотелось быть членом нескольких кружков или обществ.
75. Я редко задыхаюсь, и у меня не бывает сильных сердцебиений.
76. Всю свою жизнь я строго следую принципам, основанным на чувстве долга.
77. Случалось, что я препятствовал или поступал наперекор людям просто из принципа, а не потому, что дело было действительно важным.
78. Если мне не грозит штраф и машин поблизости нет, я могу перейти улицу там, где хочется, а не там, где положено.
79. Я всегда был независимым и свободным от контроля со стороны семьи.
80. У меня бывали периоды такого сильного беспокойства, что я даже не мог усидеть на месте.
81. Зачастую мои поступки неправильно истолковывали.
82. Мои родители и (или) другие члены моей семьи придираются ко мне больше, чем надо.
83. Кто-то управляет моими мыслями.
84. Люди равнодушны и безразличны к тому, что с тобой случится.
85. Мне нравится быть в компании, где все подшучивают друг над другом.
86. В школе я усваивал материал медленнее, чем другие.
87. Я вполне уверен в себе.
88. Никому не доверять — самое безопасное.
89. Раз в неделю или чаще я бываю очень возбужденным и взволнованным.
90. Когда я нахожусь в компании, мне трудно найти подходящую тему для разговора.
91. Мне легко заставить других людей бояться меня, и иногда я это делаю ради забавы.
92. В игре я предпочитаю выигрывать.
93. Глупо осуждать человека, обманувшего того, кто сам позволяет себя обманывать.
94. Кто-то пытается воздействовать на мои мысли.
95. Я ежедневно выпиваю необычно много воды.
96. Счастливее всего я бываю, когда остаюсь один.
97. Я возмущаюсь каждый раз, когда узнаю, что преступник по какой-либо причине остался безнаказанным.
98. В моей жизни был один или несколько случаев, когда я чувствовал, что кто-то посредством гипноза заставляет меня совершать те или иные поступки.
99. Я очень редко заговариваю с людьми первым.
100. У меня никогда не было столкновений с законом.
101. Мне приятно иметь среди своих знакомых значительных людей, это как бы придает мне вес в собственных глазах.

102. Иногда без всякой причины у меня вдруг наступают периоды необычного веселья.
103. Жизнь для меня почти всегда связана с напряжением.
104. В школе мне было очень трудно говорить перед классом.
105. Люди проявляют по отношению ко мне столько сочувствия и симпатии, сколько я заслуживаю.
106. Я отказываюсь играть в некоторые игры, потому что это у меня плохо получается.
107. Мне кажется, что я завожу друзей с такой же легкостью, как и другие.
108. Мне неприятно, когда вокруг меня люди.
109. Как правило, мне не везет.
110. Меня легко привести в замешательство.
111. Некоторые из членов моей семьи совершили поступки, которые меня пугали.
112. Иногда у меня бывают приступы смеха или плача, с которыми никак не могу справиться.
113. Мне бывает трудно приступить к выполнению нового задания или начать новое дело.
114. Если бы люди не были настроены против меня, я достиг бы в жизни гораздо большего.
115. Мне кажется, что меня никто не понимает.
116. Среди моих знакомых есть люди, которые мне не нравятся.
117. Я легко теряю терпение, общаясь с людьми.
118. Часто в новой обстановке я испытываю чувство тревоги.
119. Часто мне хочется умереть.
120. Иногда я бываю так возбужден, что мне бывает трудно заснуть.
121. Часто я перехожу на другую сторону улицы, чтобы избежать встречи с тем, кого я увидел.
122. Бывало, что я бросал начатое дело, так как боялся, что не справлюсь с ним.
123. Почти каждый день случается что-нибудь, что пугает меня.
124. Даже среди людей я обычно чувствую себя одиноким.
125. Я убежден, что существует лишь одно-единственное правильное понимание смысла жизни.
126. В гостях я чаще сижу где-нибудь в стороне или разговариваю с кем-нибудь одним, чем принимаю участие в общих развлечениях.
127. Мне часто говорят, что я вспыльчив.
128. Бывает, что я с кем-нибудь сплетничаю.
129. Часто мне бывает неприятно, когда я пытаюсь предостеречь кого-либо от ошибок, а меня понимают неправильно.
130. Я часто обращаюсь к людям за советом.
131. Часто, даже тогда, когда для меня складывается все хорошо, я чувствую, что мне все безразлично.
132. Меня довольно трудно вывести из себя.
133. Когда я пытаюсь указать людям на их ошибки или помочь, они часто понимают меня неправильно.
134. Обычно я спокоен, и меня нелегко вывести из состояния душевного равновесия.
135. Я заслуживаю сурового наказания за свои поступки.
136. Мне свойственно так сильно переживать свои разочарования, что я не могу заставить себя не думать о них.

137. Временами мне кажется, что я ни на что не пригоден.
138. Бывало, что при обсуждении некоторых вопросов я, особо не задумываясь, соглашался с мнением других.
139. Меня весьма беспокоят всевозможные несчастья.
140. Мои убеждения и взгляды непоколебимы.
141. Я думаю, что можно, не нарушая закона, попытаться найти в нем лазейку.
142. Есть люди, которые мне настолько неприятны, что я в глубине души радуюсь, когда они получают нагоняй за что-нибудь.
143. У меня бывали периоды, когда из-за волнения я терял сон.
144. Я посещаю всевозможные общественные мероприятия, потому что это позволяет мне бывать среди людей.
145. Можно простить людям нарушение тех правил, которые они считают неразумными.
146. У меня есть дурные привычки, которые настолько сильны, что бороться с ними просто бесполезно.
147. Я охотно знакомлюсь с новыми людьми.
148. Бывает, что неприличная или даже непристойная шутка у меня вызывает смех.
149. Если дело идет у меня плохо, то мне сразу хочется все бросить.
150. Я предпочитаю действовать согласно собственным планам, а не следовать указаниям других.
151. Люблю, чтобы окружающие знали мою точку зрения.
152. Если я плохого мнения о человеке или даже презираю его, я не слишком стараюсь скрыть это от него.
153. Я человек нервный и легковозбудимый.
154. Все у меня получается плохо, не так как надо.
155. Будущее мне кажется безнадежным.
156. Люди довольно легко могут изменить мое мнение, даже если до этого оно казалось мне непоколебимым.
157. Несколько раз в неделю у меня бывает такое чувство, что должно случиться что-то страшное.
158. Большую часть времени я чувствую себя усталым.
159. Я люблю бывать на вечерах и просто в компаниях.
160. Я стараюсь уклоняться от конфликтов и затруднительных положений.
161. Меня очень раздражает то, что я забываю, куда кладу вещи.
162. Приключенческие рассказы мне нравятся больше, чем рассказы о любви.
163. Если я захочу сделать что-то, но окружающие считают, что этого делать не стоит, я могу легко отказаться от своих намерений.
164. Глупо осуждать людей, которые стремятся взять от жизни все, что могут.
165. Мне безразлично, что обо мне думают другие.

**Регистрационный бланк
к личностному опроснику «Адаптивность» (МЛО-АМ)**

Ф.И.О. _____ Дата обследования _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135
136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165

Обработку результатов проводят по четырем «ключам», соответствующих шкалам «достоверность», «нервно-психическая устойчивость», «коммуникативные способности», «моральная нормативность», «личностный адаптивный потенциал». На каждый вопрос теста обследуемый может отвечать «да» или «нет». Поэтому при обработке результатов учитывается количество ответов, совпадших с «ключом». Каждое совпадение с «ключом» оценивается в один сырой балл.

Шкала достоверности оценивает степень объективности ответов. В случае если общее количество «сырых» баллов превышает **10**, полученные данные следует считать недостоверными вследствие стремления военнослужащего соответствовать социально желаемому типу личности.

При массовом обследовании, а также при дефиците времени процесс определения социально-психологической адаптации военнослужащих может быть ускорен. Для этого достаточно иметь два «ключа» — для шкалы достоверности и для шкалы личностного адаптивного потенциала. Шкала ЛАП является более высокого уровня. Она включает в себя шкалы «нервно-психическая устойчивость», «коммуникативные способности», «моральная нормативность» и дает представление в целом об адаптивных возможностях личности, но не позволяет получить дополнительную информацию о психологических особенностях обследуемых (табл. П1, П2).

Итоговую оценку по шкале «Личностный адаптивный потенциал» можно получить путем простого суммирования сырых баллов по трем шкалам «нервно-психическая устойчивость», «коммуникативные способности», «моральная нормативность» с последующим переводом полученной суммы по табл. П3.

Таблица II1

**Ключи к многоуровневому личностному опроснику
Адаптивность (МЛО-АМ)**

Наименование шкалы	Номера вопросов с ответом «да»	Номера вопросов с ответом «нет»
Достоверность (Д)		1, 10, 19, 31, 51, 69, 78, 92, 101, 116, 128, 138, 148
Личностный адаптивный потенциал (ЛАП)	4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 50, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 131, 133, 135, 136, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 164, 165	2, 3, 5, 13, 23, 25, 26, 32, 34, 35, 38, 44, 45, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 58, 62, 66, 74, 76, 85, 87, 97, 100, 105, 107, 127, 130, 132, 134, 140, 144, 147, 159, 160, 163
Нервно-психическая устойчивость (НПУ)	4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 37, 39, 40, 41, 47, 57, 60, 63, 65, 67, 68, 70, 71, 73, 75, 80, 82, 83, 84, 86, 89, 94, 95, 96, 98, 102, 103, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 129, 131, 135, 136, 137, 139, 143, 146, 149, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162	2, 3, 5, 23, 25, 32, 38, 44, 45, 49, 52, 53, 54, 55, 58, 62, 66, 87, 105, 127, 132, 134, 140
Коммуникативные способности	9, 24, 27, 33, 43, 46, 61, 64, 81, 88, 90, 99, 104, 106, 114, 121, 126, 133, 142, 151, 152	26, 34, 35, 48, 74, 85, 107, 130, 144, 147, 159
Моральная нормативность (МН)	14, 22, 36, 42, 50, 56, 59, 72, 77, 79, 91, 93, 125, 141, 145, 150, 164, 165	13, 76, 97, 100, 160, 163

Таблица II2

**Перевод в стены результатов, полученных по шкалам методики
«Адаптивность»**

Наименование шкал и количество ответов, совпадавших с ключом				Стены
ЛАП	НПУ	КС	МН	
62->	46->	27-31	18->	1
51-16	38-45	22-26	15-17	2
40-50	30-37	17-21	12-14	3
33-39	22-29	13-16	10-11	4
28-32	16-21	10-12	7-9	5
22-27	13-15	7-9	5-6	6
16-21	9-12	5-6	3-4	7
11-15	6-8	3-4	2	8
6-10	4-5	1-2	1	9
1-5	0-3	0	0	10

Таблица П3
Интерпретация адаптивных способностей по шкале «ЛАП»
методики «Адаптивность»

Уровень адаптивных способностей, степенов	Интерпретация
5–10	Группы высокой и нормальной адаптации. Лица этих групп достаточно легко адаптируются к новым условиям деятельности, быстро входят в новый коллектив, достаточно легко и адекватно ориентируются в ситуации, быстро вырабатывают стратегию своего поведения. Как правило, неконфликтны, обладают высокой эмоциональной устойчивостью
3–4	Группа удовлетворительной адаптации. Большинство лиц этой группы обладают признаками различных акцентуаций, которые в привычных условиях частично компенсированы и могут проявляться при смене деятельности. Поэтому успех адаптации зависит от внешних условий среды. Эти лица, как правило, обладают невысокой эмоциональной устойчивостью. Возможны асоциальные срывы, проявление агрессии и конфликтности. Лица данной группы требуют индивидуального подхода, постоянного наблюдения, коррекционных мероприятий
1–2	Группа низкой адаптации. Лица этой группы обладают признаками явных акцентуаций характера и некоторыми признаками психопатий, а психическое состояние можно охарактеризовать как пограничное. Возможны нервно-психические срывы. Лица данной группы обладают низкой нервно-психической устойчивостью, конфликтны, могут допускать асоциальные поступки. Требуют наблюдения психолога и врача (невропатолога, психиатра)

Таблица П4
Интерпретация основных шкал методики «Адаптивность»

Наименование шкалы	Уровень развития качеств	
	Ниже среднего (1–3 стена)	Выше среднего (7–10 степеней)
НПУ	Низкий уровень поведенческой регуляции, определенная склонность к нервно-психическим срывам, отсутствие адекватности самооценки и реального восприятия действительности	Высокий уровень нервно-психической устойчивости и поведенческой регуляции, высокая адекватная самооценка и реальное восприятие действительности
КС	Низкий уровень развития коммуникативных способностей, затруднение в построении контактов с окружающими, проявление агрессивности, повышенная конфликтность	Высокий уровень развития коммуникативных способностей, легко устанавливает контакты с сослуживцами, окружающими, неконфликтен
МН	Не может адекватно оценить свое место и роль в коллективе, не стремится соблюдать общепринятые нормы поведения	Реально оценивает свою роль в коллективе, ориентируется на соблюдение общепринятых норм поведения

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

УДК 7.038.6 + 29 + 2-8

К. М. Товбин

ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ РЕЛИГИОЗНОСТЬ: ТРАДИЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ

В статье рассмотрено понятие пострелигии, сконструированное исходя из методологических посылов Традиционалистической школы. Пострелигия показана в различных разрезах, позволяющих судить о ее десакрализаторской функции.

Ключевые слова: пострелигия, постмодерн, традиция, священное, традиционализм, симулякр, деконструкция, ризома, расщепление, мимикрия, десакрализация.

Пострелигиозность — одно из интереснейших проявлений Постмодерна. В первую очередь потому, что религиозная сфера относится к числу тех, которые старательно репрессировались или трансформировались в эру Модерна, и сегодняшняя религиозная гальванизация предстает перед нами чем-то существенно новым, не имеющим прецедентов в новой истории.

При подступе к исследованию современной религиозности возникают проблемы методологии: с какой точки зрения нам рассмотреть тему пострелигиозности — с позиции классического религиоведения, с позиции Традиции или с позиции Постмодерна, если в нем имеется собственное религиоведение?

1. Религиоведение Модерна рассматривало религию — сферу восстановления утраченной связи со Святым (в терминологии Августина) — либо как архаичный оппонент интеллектуального прогресса, либо как его несамостоятельный спутник. *Радикальным* следствием такого отношения является утверждение об отмирании религии в обществе будущего. *Умеренное* следствие представления об устарелости религии в рамках Нового времени — это стремление внести в религию гуманистические принципы (стремление к осуществлению свободы совести и утверждение конфессиональности как частного выбора) и «освобождение» религии изнутри: либерализация и модернизация богословия. Итак,

религиоведение Модерна считает, что *религия есть продукт общественного развития*. Следовательно, на высотах развития общества мы должны увидеть религиозные системы иссякнувшими либо превратившимися во что-то иное, нерелигиозное. Бытования домодерновой духовности, тем паче натиска ее на образ жизни современного человека, попросту не может быть. Однако сохранение не только религиозных систем, но и самой традиционной духовности в модернизирующихся обществах опровергает все основания модернистского религиоведения. Именно Запад и наиболее «развитые» страны остального мира дают нам примеры как возрождения даже самых архаичных культов, так и рождения и массового распространения культов совершенно новых.

2. С позиции Традиции мы не можем судить не только о феномене пострелигии, но и о самом явлении под именем «религия». Прежде всего потому, что религия в западном смысле слова изначально позиционировала себя как преодоление Традиции. Разросшаяся дистанция между Традицией и религией заставила внутри религиозных систем выработать как собственную понятийную основу, так и совокупность собственных феноменологических измерений духовности [15, 102]. И то и другое не может быть зафиксировано мышлением, находящимся в рамках традиционного общества: оно работает совершенно по другим законам, существует в иной атмосфере, выражает себя в иных понятиях. Мысление Традиции настолько закрыто от Модерна, что видится либо нежизнеспособным осколком древности (например, шаманские культуры северных народов или дремучее беспоповское старообрядчество), либо экзотичным довеском к современному мышлению (к примеру, синтоизм или буддизм махаяна). Для человека Традиции религиозная система уже сама по себе является признаком дефицита Священного, а потому не имеет никакой сакральной ценности. Пострелигия же вообще не может быть замечена традиционным мышлением, если только способом самоопределения постверующего не является имитация традиционной духовности.

3. Возможно ли обнаружение пострелигии еще с одной точки зрения — постмодернистской? Только в той мере, в какой Постмодерн является преодолением Модерна. Сами «классики» постмодернизма всегда подчеркивали, что Постмодерн является не столько критическим преодолением Модерна, сколько осуществлением его изначальной программы. В связи с этим обращает на себя внимание учение Дугина о Постмодерне как об Ультрамодерне [14, 469]. И именно отталкиваясь от философии и фигуры Дугина, можно обратиться к другой, неклассической версии постмодернизма — традиционализму. Традиционалистическая школа не только в негативном ключе изыскивала корни Модерна, но и стремилась к внефилософскому выходу за пределы Современности посредством сохранившихся инструментов Традиции: ритуала, символа, образа жизни [13, 585]. Традиционализм¹, возникший на изломе Модерна

¹ Здесь под традиционализмом мы понимаем учение Традиционалистической школы (Р. Генон, Ю. Эвола, М. Элиаде, Т. Буркхардт, А. К. Кумарасвами, Р. Кумарасвами, С. Х. Наср, М. А. Лахани, Дж. Катсингер, А. Г. Дугин и др.). Основным пунктом этого учения является представление о Традиции как о едином надцивилизационном, внеисторическом сакральном комплексе, повседневное приобщение к которому составляло сущность так называемого «традиционного общества», а постепенный отход от Традиции, составляющий западную историю, видится как непрерывная цепь духовной деградации.

именно благодаря ментальным брешам в Модерне, может проследить все трансформации религиозности. «Классическая» постмодернистская философия обнаруживает пострелигиозность ровно настолько, насколько современная религиозность верна приставке «пост-», т. е. служит рычагом осуществления маргинально-модернистической программы постмодернистов. Для постмодерниста в пострелигии важен коэффициент перевертывания: религиозная система видится как приглашение к действию, как набор приемов отгорожения от Традиции, воплощая которые можно прийти к полному отрицанию Сакрального. Чем сильнее и явнее в религии отличие от изначальных посылок Традиции, тем эффективнее пострелигия. Причем эта эффективность воспринимается положительно как постмодернистами, находящимися вне религиозных систем (и действующих вопреки им), так и постмодернистами от религии (чему яркий пример — позитивное сближение позиций в знаменитом диспуте Деррида и Капуто [33]).

Традиционализм считывает те же признаки пострелигиозности, но дает им совершенно иную оценку. Схоже с постмодернистом традиционалист видит пострелигию не преодолением религии, но преодолением Традиции. Религия же представляется накоплением тех предпосылок, которые по мере своего развития могут создать полный противовес Традиции — *абсолютно (в)несакральное мышление*.

Традиционалистическое религиоведение, подобно постмодернистскому, привлекает символы и понятия несовременного звучания и наполнения, однако такое религиоведение продолжает основываться на рационалистической гносеологии Модерна. На феноменологическом и — в идеале — онтологическом уровнях традиционализм должен совершенно порвать с Модерном, ибо в этом его прямое назначение. Однако остающаяся понятийная связка традиционалистов с современной западной философией служит мостом, позволяющим транслировать принципы перениализма вовне, в пространство Современности. Это позволяет традиционализму не замыкаться в символическое гетто (тиражировать которые — назначение Постмодерна [34, 20]), но противостоять и Модерну, и Постмодерну, видя их лишь разными отрезками длинной цепи десакрализации.

Используя постмодернистскую терминологию вкупе с традиционалистической методологией, можно выделить некоторые характерные черты пострелигии. Описанные ниже характеристики применимы и к нововозникающим культам, и к попыткам сохранения устоявшихся больших религиозных систем, и к попыткам возрождения духовности традиционной.

Отличительными чертами религиозности Постмодерна являются копирование и подражание, что делает ее *псевдорелигией (якобы-религией)*. На этом понятии надлежит остановиться подробнее. Длительная и планомерная борьба Модерна с религией привела не к «отмиранию» религии, но к ее сущностной трансформации. Эпоха Модерна, сделавшая посюсторонность и «расколдовывание» своими ценностными основаниями, в итоге пришла к созданию и тотальному тиражированию *антирелигии*, представлявшей собой банальный перевертывание Традиции — набор изначально одухотворенных, но секулярно

выходящих из положений (гуманизм, сциентизм, глобализм, прагматизм и пр.). Эти положения преподносились как всеобщая религия, лишенная Бога, как здравый смысл и естественное положение вещей. Подчеркнем: антирелигия не «противо-религия», но «вместо-религия», так как не отрицает таких аспектов религии, как вера, поклонение, благочестие, проповедь, служение. Но на центральное место в обосновании этих принципов ставится нечто новое — абстрактный человек.

Постмодерн, воспринимая себя критическим преодолением Модерна, отвернулся также и от антирелигии Модерна. Понятия Бога и Священного вновь эксплуатируются вкупе с понятием Традиции. Более того, заявляемая традиционность стала модой: огромное количество самых разнообразных новых религиозных движений, претендующих на духовное оздоровление «бездухового Запада», используют внешние детали Традиции как значимые элементы своего облика. Но возвращения к традиционной религиозности не произошло, так как Традиция не создается человеческими стараниями и является непрерывной цепью духовного самосовершенствования [26, 188]. Посему Постмодерн создает не религию, не антирелигию, но *псевдорелигию*, в которой «указатель сменяет указуемое как центр ориентации и ценности» [21, 12].

Для псевдорелигии характерны установка на стилизацию (прекрасно осознаваемая адептами самой псевдорелигии [39, 43]), произвольная связанность внутренних религиозных элементов, отсутствие центра, множественность опорно-смысловых точек, тяга к фантасмагоричности и множественности нескомпонованных интерпретаций. Псевдорелигиозность является особенным планетарным сдвигом мышления человечества, живущего в информационном мире, пользующегося смысловыми парадигмами западной цивилизации. Отличительная черта пострелигии — отнесенность не к Горнему (трансцендентному), но трансцендирование верующим *себя самого*. Центр пострелигии не сакрален, и его вообще нельзя представить как центр, это *сфера ощущений* и предпочтений современного верующего. Постмодерн не строится на центрирующих разумных основаниях, он вообще отрицает возможность строить что-либо на каких-либо основаниях, кроме сферы чувств (являющейся не фундаментом, но облаком предпочтений). Пострелигия отличается от иных мозаик Постмодерна лишь тем, что имеет дело с наиболее глубокими и сильными человеческими чувствами — религиозными. Прочее же не отличает пострелигию от движений, возникших на основе привязанности определенному стилю музыки, поведению или ролевым играм — та же комбинаторика, игровая увлеченность деятельностью как самоценностью, то же отсутствие внешних неоспоримых инстанций². С традиционалистической точки зрения пострелигия есть наиболее опасное детище секуляризации. Секуляризация выходила трепет священного настолько, что перестала восприниматься как секуляризация, как протест и превратилась в фундаментальную несерьезность, имеющую несколько форматов, которые, исходя из все еще не затертой склонности человека

² Капuto: «Истина — это то, что мы соединяем сами в поисках наилучшего, в соответствии с нашими обычаями» [29, 302].

к схематизации, можно распределить на группы «деконструкция», «расщепление», «виртуализация», «коллажирование».

Деконструкция

Существует определение деконструкции, данное самими деконструктивистами: освобождение изначальной данности от напластований контекста, условий, ситуации [30, 165]. При таком понимании Истина — это результат человеческого творчества, над которым не властствуют более никакие концепты и консенсусы [28]. По замечанию традиционалиста Катсингера, Истина становится *биржевой* [32].

Особенностью постмодернистской религиозности является некритическое использование деконструкции как способа отделения суждения от историко-культурного контекста. Деконструктивная религиозность, вынесенная Деррида и Капуто из богословия в публицистику [40], теперь привела к тому, что даже обыватель не чужд деконструктивизма в выборе религии и подборе для себя элементов избранной религиозности. Более того, сегодня сама такая избирательность даже подается как признак религиозности [3, 60]. Восприятие мира как текста, а верующего как читателя, писателя и редактора этого текста дает подступ к оперированию языковыми играми, к конструированию собственных «микрорассказов» из обломков Традиции и модернистских наработок противостояния ей. В обожествляющей властность постдуховности главное — добиться роли «верховного интерпретатора», чтобы твоя деятельность по конструированию воспринималась как «откровение», «воссоздание», «продолжение», «примыкание» к Священному (которое в Современности является идеологическим и/или игровым конструктом).

Следовательно, конструирование смысла напрямую ведет к конструированию социальности [7, 121], — так возникают симулякры Церкви, общины, нации, класса, прикрывающие свою виртуальность лоскутами Традиции. Опять же: если автор «умирает», а движение, активированное им, находит продолжателя/изменителя/нарушителя, то при взгляде со стороны может возникнуть иллюзия *самовоспроизведения* Социального, что в традиции всегда намекало на неизменное присутствие Священного.

В деконструкции особое внимание уделяется динамике, заложенной деконструктором (автором/редактором). Поскольку же автор — этот модернистский Богозаменитель — согласно заверениям самих постмодернистов, существовать продолжительно не может, его власть распыляется, становясь уделом социальных институтов (современных форматов), автономизировавшихся сетей и неуправляемого, но подправляемого безличного Действа. Это чрезвычайно похоже на всесакральность Древности, однако является ее симулякром, поскольку отрицающим способом отобразилась не с Традиции, а с отрицающего Традицию Модерна, потому является симуляцией Традиции: всесмешение вместо иерархичности, стохастичное шевеление вместо программного хода, непостижимость вместо рационализма, тотальная социальность вместо индивидуализма и личностности.

Постмодерн больше не отрицает противоположных ценностных систем — он стремится инкорпорировать их в себя [23], а для этого нужно отторгнуть от Сакрального центра религиозные системы, претендующие на традиционность. В этих условиях создается уникальный мировоззренческий стиль: «постмодернистским богословием» его назвать нельзя, он представлен в современной догматической методике совершенно различных религий. Скорее, его можно обозначить как «*постмодернистское богословование*», сводящееся к самоценному безавторизованному диалогу. Диалог привлекает в себя условия: контекст, историческая, личностная ситуация; исходя из контекста выстраивается виртуальное представление, внешне имитирующее традиционную схему отношений человека, Церкви и Бога. В этой изменчивости смыслов, в зависимости от дискурса и в отсутствие Традиции как преемственности человек играющий сражается за *свой образ* — против образов других людей играющих. В диспуте о Сакральном само Сакральное не участвует, веер рассудочных и медийных возможностей человека то призывает, то отстраняет Его [22, 281]. Именно такое отстранение Святого от повседневности в маргинальных теориях современных богословов получило именование «смерти Бога»: Горнее больше не участвует в нашей жизни, человеческая свобода *двигательной активности* достигла столь предельной максимизации, что сама претендует на место Бога [27, 36; 37; 38, 11].

Расщепление

Пострелигия отрицает понятие главного, первостепенного, «конфигурация все время меняется, происходит бесконечное ветвление побегов и рассеивание смысла» [17, 52]. По выражению Р. Барта, смысловая множественность мира, воспринимаемого как текст, является не вероятностной, а обязательной, неустранимой [4, 417]. Происходит *рассеивающее внимание уравнивание главного с неглавным, сущностного — с наружным* (с точки зрения *внешнего зрителя*). Эта сатанинская³ децентрация легко имитируется под сочлененность Традиции, потому увидеть фальшь в «возвращении к истокам» достаточно затруднительно.

Заявляя наличие некоего Сакрального Центра, в действительности пострелигия вращается только вокруг предполагаемого (фантазируемого, мнящегося) Центра, имеющего слабые претензии на истинность [12]. Предположение как изначальный стимул. В этой «перверсии смысла» и не может быть смысла изначального. Более того, нет даже вращения в какой-то одной понятийной *сфере*. Фуко подчеркивал, что движение мысли и чувственности Современности *лабиринтоподобно*, оно использует комбинации нарративов, чуждых досимуляционной эпохе, изъятых и из Модерна, и из Премодерна [24, 441].

Ризомическое смыслополагание относит нас к перетолковыванию гораздо более существенных пластов самовосприятия. Главным назначением стержневого

³ В традиционном христианском понимании функция Сатаны заключается не в создании некоего ино бытия (каким мог бы быть Модерн), но в расщеплении, разбрасывании, растворении бытия, созданного Богом [8].

корневища является — помимо питания — устойчивость положения стебля. Мочковатое корневище такой задачи лишено, питание — единственный смысл ризомы. То же и в новорелигиозной сфере: внешние и активные стороны религиозной жизни (общение, проповедь, миссионерство) являются дезонтологизированными самоценностями, призванными лишь демонстрировать новорелигиозного агента Современности. Потому отличительными чертами ризомической религии являются беспокойство, неустроенность, озабоченность внешними проявлениями религиозности, агрессивность, нетерпимость и политизированность; этим признакам апологеты пострелигий уделяют центральное внимание. Современные неопротестантские богословы именуют такое духовное состояние «блуждающим (кочевническим) богословием» [36, 36], выводя эту мочковатость верований из бонхефферовского представления о самоосвященности «совершенолетнего» мира.

Самым важным в пострелигии является то, что человек Современности в ней либо вовсе не ощущает расщепления своего «Я» в отношении к Священному, либо считает это расщепление нормой [35, 7], позволяющей не утомляться продолжительным нахождением в каждой из ниш своего ячеистого сознания. Для ризомического мышления характерно самоцельное движение, перепрыгивание с одной области в другую внутри области некоего общего смысла или ощущения. Фактор, ускоряющий или замедляющий данное перепрыгивание, один: информационная востребованность. Работа с брендами, личинами, образами — поле проявления ризомической множественности. Постмодернистская духовность есть заигрывание с образами, восприятие образа как действительности, намерения как реальности, стиля как фундаментальности. Неумение отграничить виртуальность от реальности есть проявление ризомичности.

Ризома есть обозначение множественности, движимости, ориентированности только на питание. Ризомическая духовность имеет свою причину — расщепление человека на сакральную и профанную сферы. Бывшее цельное стало качественно двойственным (затем и множественным, поскольку единого «профанного» как стойкой антитезы «сакральному» не существует [10, 62]). Традиционная *цельность* человека была утрачена при вовлечении в Модерн [31, 10]. Расщепление произошло уже тогда, однако человеческое сознание не вмещало предположения о нынешней «индивидуальности», «дигитальности» [15, 278], и взамен традиционного ощущения *слитности воедино* предлагалась модернистская концепция *единственности* какого-либо жизненного основания. Постмодерн отменил эту маскировку, и расщепление стало явным. Сфера сакрального более не может игнорироваться, однако возможностей к ее восстановлению не видится.

В сознании человека посредством Расщепления исчезает иерархичность самопонимания. Случайные сферы, вдохновляющие на сию минуту и — более того — вдохновляющие сиюминутностью, выходят на первый план и подчиняют себе всю деятельность индивида. Тот же процесс заметен и в пострелигиях. Сознание адепта псевдорелигии цепляется в случайном порядке за разные элементы иrudименты религии или Традиции, выводя их на первый план. В этом случае трудно опознать подмену традиционализма постмодернизмом,

потому что в сознании традиционного верующего, как и в сознании постверующего, нет рассудочно выстроенной лестницы входления в предмет культа. И постмодернисты, и традиционалисты отрицают движущую роль разума в достижении трансцендентных целей. Центром человека является «сердце», и именно оно должно быть путеводителем по духовным сферам; разум играет служебную роль. Однако трудно угадать грань между эксцентричностью и озарением, потому в пострелигии достаточно активна апология импульсивности и безыерархичности.

Соответственно возникает вопрос различия холизма Традиции и вавилонского всесмешения Постмодерна. В традиционном мышлении неизменно наличествует иерархичность, отображающая степени материализации сакрального. Модерн снимает само понятие сакрального, а иерархичность превращается в классификацию (подчиненную волюнтаристски определенной цели). Постмодерн, протестуя против соглашенческих классификаций, приводит к понятийной и бытийственной безыерархичности. И эта деклассированность весьма изобретательно подражает холизму Традиции.

В сознании традиционного верующего на определенном этапе приближения к Священному Центру его верования происходит некая трансформация самовосприятия и оценки своей динамики движения к Центру. Традиционалист Мухаммад Легенгаузен так оценивает этот момент: «Трансформация внимания, обращаемого от мирского в сторону сакрального, осуществляется посредством распознавания онтологического Статуса Источника Откровения, так что без метафизического измерения религии все остальное в ней, включая спасительный потенциал ее символизма, ощущения обязательности уважения по отношению к ее заповедям, приверженность участию в ее ритуалах — все это ослабеет и поблекнет» [19, 46].

Если этого Распознавания не произойдет, духовная жизнь останется двухмерной, находящейся в двух несвязанных измерениях — догматическом и ритуальном. Псевдоверующий может блестяще ориентироваться в богословии своего упования и отдаваться сложным и древним богослужениям, но без Озарения в его сердце не происходит раскрытия третьего — сакрального, сущностного — измерения его религии. И без этого измерения духовная жизнь будет лишена центростремительной динамики, будет более или менее удачной комбинаторикой сущностно не связанных элементов религиозной системы. И сама такая двухплоскостная религия будет лишь мировоззренческой системой или экстравагантным культом, главной задачей которой станет исключительно оказание «духовных услуг» потребителю [41, 523].

Но и фактор Озарения используется пострелигиозной комбинаторикой, что ярко проявляется в маргинальных и умеренных формах в движениях «харизматического возрождения», «New Age», неоязычества.

В сознании постверующего, как и в любом постмодернистском сознании, на первое место выходит лейбл, внешний признак, инициативный ритуал. Игра с лейблами (их обоснование, оправдание, очерчивание границ) становится заменителем традиционной духовной жизни. Происходит уравнивание понятий «стиль» и «образ», и их различие не могут обозначить даже известнейшие богословы

современности. В современной религиозной литературе часто встречаются упоминания о том, что символ может действовать самостоятельно, без участия ума и воли того, кто этот символ использует. Это — действительное проявление традиционной религиозности, но завышенное внимание к этому моменту, — несомненно, черта пострелигиозности. Так, например, для традиционного сознания Священное Писание — способ поклонения; для модернистски перевернутого — объект поклонения; для расщепленного — аргументационный арсенал в поклонении чему угодно (Богу, Писанию, Судьбе, лидеру, самому себе). Для традиционного сознания ритуал — это знак, путь, объект «относительного поклонения»; для деструктурированного сознания ритуал — это объект «служительного» поклонения.

С традиционалистической точки зрения в эру Постмодерна происходит завершение десакрализации мира. В эру Модерна произошел якобы-отказ от Традиции. Однозначно, Модерн не был безразличен к Традиции — он ее ненавидел и тщился изжечь как альтернативу себе. Постмодерн же стремительно расправляетя с Традицией именно своим намеренным безразличием к ней. Она есть, но лишь как одно из перьев веера возможностей, феерического коллажа Современности [1]. Традиция становится частью занятной игры, использующей внешние формы, но последовательно игнорирующей содержательную сторону. От Традиции остается только обозначение — многократно истолкованное, «освобожденное от пут Модерна», от инсинуаций модернистов и эволюционистов, и эта оболочка Традиции вполне притягательна для людей, «уставших от Современности», но уже ее впитавших, не видящих иной жизни, кроме функционирования в беспрерывном интерпретационном потоке [9].

Теперь человеку не надо искать религию (в смысле «утраченную связь» с Богом [20, 127]), теперь религию можно выбрать из множества предлагаемых вариантов и даже — при наличии способностей — скомбинировать собственную. Из связи с Трансцендентным религия превратилась в идеологический и/или мировоззренческий комплекс, и именно в этом смысле правы те религиоведы, которые противопоставляют понятия «религия» и «Традиция». В традиционную эпоху вхождение в конфессию означало прежде всего смиление, научение и врастание (оттуда, например, смысл «оглашений» в Древней Церкви). Теперь же можно подобрать конфессию под свои предпочтения, темперамент, взгляды (сложившиеся в *миру!*). Преображения человека не происходит, конфессии становятся клубами по интересам или по сочувствиям. Именно поэтому постмодернистская религиозность есть триумф десакрализации и секуляризации.

Виртуализация

В целом пострелигия характеризуется приоритетом идентификации над идентичностью, самоопределения над определенностью. В эпоху отсутствия всяческих авторитетов, кроме субъективной и сиюминутной избирательности, единственным критерием самоопределения является сам избирающий инди-

вид. В случае совпадения идеала данного индивида с идеалами других индивидов, случайно возникших в поле зрения, возникает ощущение «мы», происходит трансценденция смысла деятельности сообщества «мы».

Однако сегодня все чаще продолжает напоминать о себе настроение, которое Жижек называет « страстью по Реальному»: уставшее от информационного небытия сознание страстно стремится к любым нарративам, имеющим претензии на истинность, причем достаточно лишь внешнего сходства повествования и реальности, на которую указывает рассказ [16, 12]. Однако Реальность воспринимается не иначе как монстр, ибо современный человек уже утратил связь с естественным образом мышления, и, даже воскрешая элементы Традиции, он не знает, в какой последовательности их наново смонтировать, какое место в этом ансамбле занять и каким образом функционировать. Вместо Традиции — мнение о Традиции; это единственное, на что способно сознание, привыкшее к виртуальности-подвижности.

В условиях «тоски по Реальности» (слова Жижека) совершенно неподготовленные к Реальности люди (представляющие Реальность лишь как альтернативу устоявшейся для них версии виртуальности) обращаются к тому, что призвано быть эссенцией Реальности-Традиции, — к религии. Однако современная гальванизация религий не равна возрождению Традиции. (Не стоит забывать, что гальванизироваться может только мертвое тело.)

Виртуальное гетто использует информационное пространство для создания на нем собственного локуса и позиционирования его как альтернативы всем/ основным локусам. Даже смысловые гетто, позиционирующие себя сообществами противников виртуальности, обязательно находят способ заявить о себе в отрицаемом ими виртуале. «Борьба за эфир» объединяет теперь и «системщиков», и «антисистемщиков» [11, 40]. Как и во многих других случаях, это вновь создает иллюзию примордиальной нерасчлененности. Однозначно обозначив Традицию, Модерн противопоставил «прогресс» — «варварству» на множестве уровней (хозяйственном, политическом, ментальном), но Постмодерн вновь предложил единое «общее основание» для агентов Современности и якобы-борцов с ней — информационное поле. Обладатель «сильного» знака отныне обладает и Социальным [6, 159].

В этом виртуальном пространстве создается и особое время — виртуальное. Например, живя в железобетонных домах, отпуская своих жен на работу и отдавая детей в детский сад, православные псевдотрадиционалисты убеждены, что живут в Святой Руси, более того, что именно они являются «консультством Святой Руси». Тот, кому не по нраву «большие рассказы», выстраивает свои собственные дискурсы, «микрорассказы». Эти дискурсы (возникшие опять же при восприятии бытия (и веры) как текста) активируются при отгорожении от других дискурсов, в ином смысловом поле, но только при одном, чисто постмодернистском, условии — *что их будут читать*. Об этой псевдо-жизни, являющейся не более чем нагромождением цитат, писал Фуко: «Дискурс — это не жизнь, у него иное время, нежели у нас; в нем вы не примиряетесь со смертью» [25, 207]. Отсутствие такого атрибута действительности, как смерть (со старением, безумием, маразмом, болезнью, усталостью), есть признак виртуальности;

бесконечная компьютерная игра со смыслами; игра, в которой всегда можно пересохраниться перед трудным уровнем и начать сначала; если герой погибнет, это пострелигия. В ней «изначальные смыслы» религии не умирают, носитель этой религии не дряхлеет, «воздорители» этой религии всегда вдохновенны, прямолинейны и истинны.

Коллаж

Духовность Постмодерна — коллаж, составленный из разнородных элементов. Мозаичность внутреннего смысла создает ощущения свободы («вседозволенности»), при которой религия есть не привязка к Священному, но субъективная сакрализация определенной деятельности или поведения. Протест против фальшивок, предложенных Модерном на царственное место в области смысложизненных определений, привел к миру, в котором нормой является отсутствие «царя в голове». Протест против постхристианского фантазма «рациональности» привел не к метафизике, а к имитирующей ее иррациональности, уравнивающей мышление интеллектуала и идиота (различие теперь проводится только в объеме знаний, но никак не в их упорядоченности). И это достаточно похоже на традиционную духовность. То, что адепт пострелигии не может объяснить, истолковать, он объявляет тайной, сферой Скрытого, которая в Традиции стоит на первом месте. Одна из особенностей Постмодерна — снижение доверия к слову и рост доверия к жесту, позе, действию. В эпоху «развенчания больших рассказов» на их место претендуют сила и ее символы. Архаизм, в который превращаются предпочтения многих современных верующих, тяготеющих к Традиции, имеет мало общего с традиционализмом именно в силу несвязности элементов Традиции, вовлекаемых в мироощущение современного верующего [18]. Элементы Традиции связываются между собой именно как игровая мозаика. Интеллигентское сознание, наполненное цитатами из различных сфер духовности и антидуховности, легко воспринимает такую неоднородную духовность. Опасность заключается в том, что изначального плана расшифровки этого намека не предполагается, и единственная инстанция, претендующая на авторитетность, — субъективное сознание зрителя и/или реадктора.

В. А. Бачинин пишет: «Теперь, на излете эпохи модерна, культурное сознание пришло к отчетливому пониманию ценности хаоса, его продуктивности и эвристичности. На этой волне стала успешно набирать силу новая научная дисциплина синергетика, а в метафизической сфере широко распространился особый стиль философствования в виде склонности к манипуляциям “обломками” смысловых, ценностных, нормативных структур и извлечениям из этих игр разных по своей значимости познавательных и эстетических эффектов. <...> Для постмодерна характерна совершенно особая атмосфера интеллектуальных игр как с “обломками” классических артефактов, так и с подложными разновидностями общепринятых ценностей. Типичной формой постмодернистского культуротворчества становится жонглирование фальшивыми двойниками (“симулякрами”) бытующих смыслов, ценностей и норм» [5, 67].

Теперь человек не стремится «схватить историю» — его вполне удовлетворяет инкорпорирование в ткань современности элементов истории [2, 12]. Оторванность от Традиции не может обнаружить фальсификацию, и наиболее талантливый конструктор-интерпретатор вполне может претендовать на роль воскресителя/продолжателя Традиции.

Таково видение пострелигиозности с традиционалистической точки зрения. Методологические проблемы этого подхода многократно названы по ходу текста, однако традиционалистическая точка зрения вполне обнаруживает сильнейшую, не имеющую аналогов в истории трансформацию религиозности — появление *пострелигии* как особенного мироощущения *постверующего*, являющегося вершиной десакрализации, наполнявшей всю западную историю.

-
1. Аверьянов В. В. Сверим понятия (определения от противного). Консерватизм-традиционализм-национализм / Фонд Питирима Сорокина [М., 2007]. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sorokinfond.ru/index.php?id=286> (дата обращения: 26.09.12).
 2. Анкерсмит Ф. Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. М., 2003.
 3. Антропов В. В. Этика и религия в «безрелигиозном христианстве» Дитриха Бонхеффера // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. 2005. № 6. С. 58–72.
 4. Барт Р. От произведения к тексту // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 413–432.
 5. Бачинин В. А. Постмодернизм и христианство // Общественные науки и современность. 2007. № 4. С. 65–79.
 6. Бурдье П. Социология политики. М., 1993.
 7. Бурдье П. Социология социального пространства. СПб., 2007.
 8. Ваторопин А. С., Ольховиков К. М. Перспективы секуляризма и религии в эпоху постмодерна // Общественные науки и современность. 2002. № 2. С. 136–145.
 9. Ваттимо Д. Насилие — это то, что препятствует задавать вопросы // Индекс [М., 1997–2011] [Электронный ресурс]. URL: <http://index.org.ru/infospace/398vatt.html> (дата обращения: 26.09.12).
 10. Генон Р. Кризис современного мира. М., 2008.
 11. Дебор Г.-Э. Общество спектакля. М., 2000.
 12. Делез Ж. Платон и симулякр // Philosophy.ru [М., 2007] [Электронный ресурс]. URL: <http://philosophy.ru/library/intent/07deleuze.html> (дата обращения: 26.09.12).
 13. Дугин А. Г. Постфилософия. Три парадигмы в истории мысли. М., 2009.
 14. Дугин А. Г. Философия политики. М., 2004.
 15. Дугин А. Г. Философия традиционализма. М., 2002.
 16. Жижек С. Добро пожаловать в пустыню Реального. М., 2002.
 17. Иноземцев В. Л. Вестернизация как глобализация и «глобализация» как американизация // Вопр. философии. 2004. № 4. С. 58–69.
 18. Костюк К. Н. Архаика и модерн в российской культуре // Наука — Интернет — Россия. [Б/м, б/г] [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nir.ru/sj/sj3-4-99kost.html> (дата обращения: 26.09.12).
 19. Легенгаузен М. Современные вопросы исламской мысли. М., 2009.
 20. Макаров Н. О. Религиоведческое наследие Аврелия Августина // Религиоведение. 2006. № 4. С. 126–138.
 21. МакГрат А. Плюрализм: вызов современной христианской церкви // Христианская культура. 2002. № 2. С. 12–23.

22. *Маркова Л. А.* Философия из хаоса. Ж. Делез и постмодернизм в философии, науке, религии. М., 2004.
23. *Разумовский Д. А.* Метаморфозы постмодернистской церкви в интерьере «ретродуховности» // Богослов.Ru [M., 2007–2012] [Электронный ресурс]. URL: <http://www.bogoslov.ru/text/277615.html> (дата обращения: 26.09.12).
24. *Фуко М.* Theatrum philosophicum // Делез Ж. Логика смысла; Фуко М. Theatrum philosophicum. М. ; Екатеринбург, 1998. С. 431–457.
25. *Фуко М.* Археология знания. Киев, 1996.
26. *Эволя Ю.* Люди и руины // Эволя Ю. Люди и руины. Критика фашизма: взгляд справа. Ориентации. М., 2007. С. 5–268.
27. *Altizer T. J. J.* Apocalypticism and Modern Thinking // J. for Christian Theological Research. 1997. № 2. P. 36.
28. *Caputo J. D.* After Jacques Derrida Comes the Future // The Journal for Cultural and Religious Theory [Denver, 1999–2012] [Electronic resource]. URL: <http://www.jcrt.org/archives/04.2/caputo.shtml> (дата обращения: 26.09.12).
29. *Caputo J. D.* What Do I Love When I Love My God? Deconstruction and Radical Orthodoxy// Questioning God / ed. J. D. Caputo, M. Dooley, M. J. Scanlon. Bloomington, 2001. P. 301–325.
30. *Charlesworth M. J.* Philosophy and Religion: From Plato to Postmodernism. Oxford, 2002.
31. *Cutsinger J. S.* An Open Letter on Tradition // Modern Age. 1994. № 36:3. P. 10–20.
32. *Cutsinger J. S.* The Yoga of Hesychasm // Sacred Web: A J. of Tradition and Modernity [Vancouver, 2012] [Electronic resource]. URL: http://www.sacredweb.com/online_articles/sw10_cutsinger.html (дата обращения: 26.09.12).
33. God, the Gift, and Postmodernism / ed. J. D. Caputo, M. J. Scanlon. Bloomington, 1999.
34. *Hassan I. H.* The Postmodern Turn: Essays in Postmodern Theory and Culture. Columbus, 1987.
35. *Lakhani M. A.* What is Normal? // Sacred Web. 2006. Vol. 17. P. 7–15.
36. *Taylor M. C.* Erring: A Postmodern A/theology. Chicago, 1987.
37. *Van Buren P.* Theology Now?// Religion-online.org [Claremont, 2012] [Electronic resource]. URL: <http://www.religion-online.org/showarticle.asp?title=1609> (дата обращения: 26.09.12).
38. *Vanhoozer K. J.* Theology and the condition of postmodernity: a report on knowledge (of God) // The Cambridge companion to Postmodern Theology / ed. K. J. Vanhoozer. Cambridge, 2003. P. 3–25.
39. *Vattimo G.* The Age of Interpretation // Rorty R., Vattimo G. The Future of Religion. N. Y., 2005. P. 43–54.
40. *Ward G.* Deconstructive theology // The Cambridge companion to Postmodern Theology / ed. K. J. Vanhoozer. Cambridge, 2003. P. 76–91.
41. *Wuthnow R.* Church Realities and Christian Identity in the 21st Century// The Christian Century. 1993. May, 12. P. 520–572.

Рукопись поступила в редакцию 29 октября 2012 г.

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

УДК 111.1 + 141.13 + 164.2

О. М. Мухутдинов

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЧИСТЫХ КАТЕГОРИЙ РАССУДКА В ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЙ ЛОГИКЕ КАНТА

В статье исследуется проблема происхождения чистых категорий рассудка в теоретической философии Канта. Критика концепции Канта возникает в связи с отсутствием очевидности при переходе от таблицы суждений к таблице категорий в трансцендентальной аналитике. Феноменологический метод позволяет выявить действительные предпосылки открытия чистых онтологических понятий.

Ключевые слова: И. Кант, категория, суждение, онтология, трансцендентальная логика, рассудок, аналитика понятий, аналитика основоположений, бесконечные суждения, реальность, отрицание, ограничение.

В предлагаемой здесь статье будет предпринята попытка осветить одну из принципиальных проблем кантовской системы критики разума — проблему возникновения чистых рассудочных категорий. Эта проблема является ключевой для всякой понимающей себя онтологии. С формальной точки зрения онтология — наука о бытии. Однако такое формально правильное представление зачастую оказывается на деле бессодержательной абстракцией. Действительное понятие онтологии имеет методологическое значение. Онтология есть *lógos tóū bñtos*. Греческое слово *lógos* означает, во-первых, речь, а во-вторых — разум, поскольку наличие способности речи связано с наличием способности понимания (разумения). В этом случае идея онтологии выражается определением «Бытие и разум». Онтология исследует отношение разума и бытия, поскольку разум рассматривается как единственное условие возможности познания истины сущего в целом. В силу этого не только традиционная догматическая метафизика, но и вся трансцендентальная философия является логикой. В рамках этой логики источником происхождения всеобщих предикатов сущего является высшая познавательная способность. Этую способность Кант называет рассудком.

© Мухутдинов О. М., 2013

Поэтому задачей трансцендентальной аналитики понятий является «расчленение самой способности рассудка с целью изучить возможность априорных понятий, отыскивая их исключительно в рассудке как месте их происхождения и анализируя чистое применение [рассудка] вообще» [1, 165].

Предварительный взгляд на логику рассуждения Канта дает следующее формальное представление о принципе открытия системы чистых рассудочных категорий. Рассудок определяется как способность составлять суждения. Суждение рассматривается как логическая форма, в которой осуществляется подведение непосредственно данного представления под общее понятие. Категорией называется общее понятие, позволяющее определить данные непосредственного представления, т. е. созерцания, с точки зрения одной из логических функций единства, принадлежащих рассудку. Поэтому Кант последовательно выделяет основные типы суждений и вслед за этим дает знаменитую таблицу категорий. Логика изложения, таким образом, предполагает, что таблица категорий выводится из таблицы суждений.

Именно этот фрагмент в системе аналитики рассудка становится объектом наиболее радикальной критики. Проблему зафиксировали уже представители неокантианской философии. Кант не указывает принцип формирования таблицы суждений. Критики Канта сходятся во мнении, что Кант воспользовался для своей цели системой суждений традиционной школьной логики. Однако при этом в формально-логическую теорию суждения были внесены некоторые принципиальные изменения, носившие проблематичный характер. Именно на этот момент обратили свое внимание представители аналитического направления в философии. Выдвинутые ими возражения указывали на ряд существенных недостатков в кантовской модели теории суждения. Так, например, Кант выделяет особый класс единичных суждений, хотя по структуре эти суждения рассматриваются как тождественные общим. Далее, Кант указывает на специфический класс дизъюнктивных суждений, но при этом упускает из виду суждения конъюнкции. Наконец, Кант выделяет среди суждений качества класс бесконечных суждений. Под бесконечными суждениями понимаются суждения с отрицательным предикатом. Однако в формальной логике эти суждения приравниваются к утвердительным высказываниям. На этом основании Г. Райл утверждает: «Подгруппа “бесконечных” суждений — это иллюзия» [4, 331]. По этим причинам возникает путаница как в самой системе суждений, так и в вытекающей из нее таблице категорий. Поскольку достоверность принципа построения таблицы суждений ставится под сомнение, поскольку не вызывает доверия и приведенная в следующем параграфе таблица чистых онтологических предикатов.

Нет никакого сомнения в том, что критикой кантовской концепции возникновения категорий занимались в высшей степени достойные представители логической науки. Нет никакого сомнения в том, что эта критика имеет под собой самые серьезные основания. Но все затруднения, которые обнаруживаются при тщательном анализе текста аналитики понятий, возникают не в силу допущенных Кантом ошибок, а в силу сложности самого предмета исследования. Именно по этой причине здесь требуется особая осторожность в формулировке пред-

положений и выводов, которые должны опираться не только на конкретный раздел текста, но прежде всего на знание исследования в целом. Кант отчетливо представлял себе те опасности, что подстерегают его будущих критиков. В «Критике практического разума» он указывает на необходимость принимать во внимание архитектонический характер исследования. Речь идет о необходимости «правильно постичь идею целого и из нее в чистой способности разума обратить пристальное внимание на все части в их отношении друг к другу, выводя их из понятия этого целого» [2, 321].

Аналитика рассудочной деятельности может осуществляться двояким образом. В том случае когда мы отвлекаемся от содержания нашего мышления и рассматриваем формальные принципы связи представлений в мышлении, мы имеем дело с общей, или формальной, логикой. В рамках формальной логики возникает в этом случае соответствующий формальный анализ структуры суждения. Однако Кант указывает и на вторую возможность, которая предполагает, что предметом исследования становится не формальная деятельность рассудка, а его деятельность, предполагающая отношение к предмету познания. Речь идет о рассудке, который принципиально соотносится с содержанием чувственного созерцания. Такую логику Кант называет трансцендентальной. Трансцендентальная логика представляет собой систему онтологии как науки, которая содержит основоположения и понятия чистого рассудка в качестве принципов познания. Поэтому приведенная Кантом таблица всех моментов мышления в суждении называется не формально-логической, но трансцендентальной, т. е. онтологической. Эта таблица ни в коем случае не может считаться заимствованной из общей логики (несмотря на то, что попытки свести трансцендентальное исследование Канта к построениям общей логики существовали в различных философских направлениях), но возникает в связи с кантовской трансцендентальной теорией суждения. Дело заключается в том, что суждение в системе критики разума — это способ, каким многообразное содержание чувственного созерцания подводится под единство мыслящего субъекта. Если бы речь шла о выделении категорий из структуры суждений формальной логики, то эти категории следовало бы считать аналитическими. Однако сам Кант называет их «первоначальными чистыми понятиями синтеза» [1, 175]. Принадлежность чистых категорий рассудка деятельности синтеза становится очевидной из осуществленной Кантом метафизической дедукции категорий. Подробный анализ этой дедукции дан в лекции М. Хайдеггера «Феноменологическая интерпретация “Критики чистого разума” Канта». Содержательное изложение феноменологической интерпретации М. Хайдеггера не является целью данной статьи. Здесь достаточно указать на то, что задача метафизической дедукции категорий заключается в том, чтобы показать возможность категорий рассудка в качестве априорных представлений. В этом случае категории рассматриваются как формы единства для чистого синтеза многообразного содержания чувственного созерцания.

Таким образом, категории синтеза не могут возникнуть из системы суждений общей логики. М. Хайдеггер был одним из первых, кто обратил внимание на этот факт. Но тогда появляется законный вопрос: в каком отношении находятся

две таблицы? Ведь таблица суждений содержит в себе лишь рассудочную форму, отвлеченную от содержания познания. Можно предположить, что эти таблицы характеризуются определенным параллелизмом. Такое предположение подтверждается соответствующим фрагментом из метафизической дедукции категорий. Этот фрагмент — шестой абзац десятого параграфа — обладает особой значимостью, поэтому приводится здесь полностью: «Та же самая функция, которая сообщает единство различным представлениям *в одном суждении*, сообщает единство также и чистому синтезу различных представлений *в одном созерцании*; это единство, выраженное в общей форме, называется чистым рассудочным понятием. Итак, тот же самый рассудок и притом теми же самыми действиями, которыми он посредством аналитического единства создает логическую форму суждения в понятиях, вносит также трансцендентальное содержание в свои представления посредством синтетического единства многообразного в созерцании вообще, благодаря чему они называются чистыми рассудочными понятиями и *a priori* относятся к объектам, чего не может дать общая логика» [1, 174].

Речь здесь идет о двоякой функции рассудка: с одной стороны, мы имеем дело со способностью вносить единство в логическую структуру суждения, а с другой — рассматриваем рассудок как способность давать правила, позволяющие мыслить единство предмета опыта. Можно утверждать, что дело заключается не в том, чтобы свести таблицу категорий к таблице функций единства в суждении, но в том, чтобы показать тот общий источник, из которого в действительности возникают обе таблицы.

Таким источником оказывается кантовская трансцендентальная теория суждения. Онтологическим основанием познания является в действительности не система суждений, заимствованная из формальной логики, но система основоположений чистого рассудка. В «Аналитике основоположений» Кант представляет систему чистых синтетических суждений *a priori*, являющихся фундаментом онтического познания. Можно утверждать, что именно эта система основоположений является ключом к пониманию происхождения двух таблиц в «Аналитике понятий». Таблица суждений появляется как формализация соответствующего принципа в структуре основоположений чистого рассудка. Таблица категорий дает представление относительно всеобщих определений сущего с точки зрения одной из логических функций рассудка в суждении.

Сказанное можно попытаться прояснить на конкретном примере. Одна из рубрик таблицы суждений содержит суждения качества. К ним относятся утвердительные, отрицательные и бесконечные суждения. Соответственно в таблице категорий присутствуют три чистых рассудочных понятия: реальность, отрицание и ограничение. Если связь утвердительных и отрицательных суждений с категориями реальности и отрицания никем не ставится под сомнение, то само появление здесь бесконечных суждений рассматривается, с точки зрения оппонентов Канта, как существенная проблема. Однако та же самая проблема возникает в отношении третьего суждения и третьей категории во всех классах. В этой статье я остановлюсь лишь на проблеме бесконечных суждений, полный анализ всех суждений будет дан в другом месте.

Принцип, лежащий в основании суждений качества, выражается в кантовской формулировке антиципации восприятия. Во втором издании «Критики чистого разума» это основоположение гласит: «Реальное, составляющее предмет ощущения, имеет во всех явлениях интенсивную величину, т. е. степень» [1, 241].

Восприятие возникает как результат действия предмета на познавательную способность. Это действие предмета Кант называет ощущением. Ощущению соответствует представление о наполненном времени, отсутствие ощущения связывается с представлением о пустом времени. Категория, сообщающая единство наполненному времени ощущения, есть реальность. Категория, сообщающая единство пустому времени ощущения, есть отрицание. Несколько сложнее обстоит дело с категорией ограничения, которая самим Кантом рассматривается как понятие, возникающее в результате синтеза категорий реальности и отрицания. Но если можно показать связь категории реальности с утвердительными суждениями и категории отрицания с отрицательными суждениями, то связь категории ограничения с бесконечными суждениями не является столь очевидной по причине проблематичности самого понятия бесконечных суждений.

Определение бесконечных суждений как суждений с отрицательным предикатом носит чисто формальный характер. Бесконечными следует называть суждения, которые предполагают синтез многообразного содержания эмпирического созерцания и единства апперцепции «Я мыслю» при переходе от эмпирического сознания к чистому. В силу непрерывности интенсивных величин, каковыми являются реальные определения в ощущении, сам этот переход носит характер бесконечного процесса. Конкретные ступени данного перехода определяются посредством категории ограничения. Поэтому бесконечные суждения нельзя считать ни иллюзией, ни тем более обманом. Иллюзией в этой ситуации является лишь представление о возможности разрешения основополагающей онтологической проблемы на основании господствующего предрассудка.

Таким образом, можно показать, что система категорий чистого рассудка как система чистых онтологических предикатов возникает из аналитики основоположений чистого рассудка. Принципиальную связь категорий и основоположений рассудка видели уже неокантианцы. Для доказательства этого утверждения достаточно привести точку зрения Э. Кассирера: «Подлинное значение каждой отдельной категории не может быть полностью оценено, если ее... просто относят назад к соответствующей ей форме логического суждения; необходимо также глядеть вперед на деяние, которое с ней связано в построении предметного опыта. Однако это деяние присуще не абстрактной категории как таковой, оно выступает лишь в том конкретном виде, который понятия чистого рассудка получают благодаря тому, что они преобразуются в основоположения чистого рассудка» [3, 159]. Несколько позволяют судить обстоятельства, эта связь не была продумана неокантианцами до конца. Более продуктивным в этом отношении оказался феноменологический подход Э. Гуссерля и М. Хайдеггера. По крайней мере, можно смело утверждать, что в исследованиях Э. Гуссерля содержатся все необходимые предпосылки для решения вопроса о возникновении категорий в трансцендентальной аналитике рассудка.

Один из принципиальных тезисов проведенной в этой статье феноменологической интерпретации кантовского способа открытия всех чистых рассудочных понятий состоит в том, что логика изложения, используемая Кантом в системе критики разума, не соответствует логике исследования. Построение таблицы категорий предполагало с необходимостью предварительное построение трансцендентальной теории суждения. Действительная критика кантовской аналитики чистых понятий рассудка должна начинаться с критики системы основоположений как чистых априорных синтетических суждений. Однако именно этот момент ускользает из поля зрения представителей аналитической традиции.

Тем более необходимыми становятся дальнейшие исследования в указанном здесь направлении. Ни в коем случае нельзя считать, что проблема кантовской теории суждения разрешена окончательно. Эта статья является только ее первоначальной формулировкой и предполагает возможность дальнейшего обсуждения.

-
1. Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Соч. : в 6 т. М., 1964. Т. 3.
 2. Кант И. Критика практического разума // Кант И. Соч. : в 6 т. М., 1965. Т. 4, ч. 1.
 3. Кассирер Э. Жизнь и учение Канта. СПб., 1997.
 4. Райл Г. Категории // Райл Г. Понятие сознания. М., 2000.

Рукопись поступила в редакцию 2 декабря 2012 г.

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 327.2(73) + 327.5 +94(861) + 94(729.1)

Ю. С. Барышникова

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА США В КОЛУМБИИ В 1961–1963 гг.

В статье анализируется внешняя политика США в Колумбии в период президентства Дж. Ф. Кеннеди в 1961–1963 гг. Несмотря на некоторые трудности и неудачи, реализация программы «Союз ради прогресса» как основы внешнеполитического курса президента Кеннеди в Колумбии оказалась достаточно успешной и обюдовыгодной. США смогли активно решать свои внешнеполитические задачи, в частности по вопросу изоляция Кубы, а колумбийское правительство сумело эффективно использовать предоставляемую финансовую поддержку.

Ключевые слова: внешняя политика США, Колумбия, Кеннеди, «Союз ради прогресса».

Основой внешней политики США в Колумбии в 1961–1963 гг. стал «Союз ради прогресса» — программа комплексного развития государств Латинской Америки, созданная по инициативе североамериканского президента Дж. Ф. Кеннеди. Это была кооперативная межамериканская программа, которая должна была содействовать экономическому прогрессу и укреплению демократии в латиноамериканском регионе путем использования зарубежной помощи и мобилизации внутренних ресурсов латиноамериканских стран. Колумбия стала одной из немногих стран, которая относительно успешно восприняла и имплементировала внешнеполитические инициативы Кеннеди. В период 1961–1963 гг. Колумбии было предоставлено более 500 млн долларов США.

Задачами «Союза», закрепленными в декларации и хартии Пунта-дель-Эсте в 1961 г., рассчитанными на 10 лет, стали улучшение и укрепление демократических институтов, увеличение темпов экономического и социального развития, рост ВВП не менее 2,5 % в год на душу населения, повышение среднего дохода жителей Америки, продвижение городских и сельских жилищных

программ, проведение аграрных реформ. Для выполнения целей программы и поддержки проводимых реформ Соединенные Штаты обязались предоставить 20 млрд долларов, в основном в виде государственных займов, за весь период действия программы. Чтобы получить финансирование, страны должны были подготовить и представить планы национального развития.

Политика США в Колумбии в начале 1960-х гг. определялась несколькими обстоятельствами. Во-первых, администрация Кеннеди исходила из того, что угроза прихода к власти коммунистов, а также возможность левого вооруженного переворота оценивались как минимальные. По сведениям консульства США, подрывная деятельность коммунистов, экстремистов либерального революционного движения, сторонников бывшего колумбийского диктатора Рохаса Пинилья находилась под контролем колумбийских сил безопасности [2, 1–3]. Кроме того, между президентом США Джоном Кеннеди и президентом Колумбии Льерасом Камарго сложились теплые личные отношения.

Во-вторых, многочисленные социологические опросы свидетельствовали о благоприятном имидже США в глазах местного населения. В страноведческих докладах госдепартамента говорилось о том, что в отличие от населения многих других стран Латинской Америки большинство колумбийцев не разделяли иррациональной подозрительности в отношении возможных экспансионистских намерений политики Соединенных Штатов [13, 60]. По сведениям информационного агентства США, в Боготе 82 % жителей оценивали Соединенные Штаты как страну, симпатизировавшую стремлениям колумбийцев. В отчете также говорилось, что даже беднейшие слои населения имели представление о программе «Союз ради прогресса» и оценивали ее достаточно высоко [9, i].

В-третьих, Колумбия являлась основным проводником антикубинских действий США в странах Латинской Америки. «План Льераса», или план исключения Кубы из органов межамериканской системы, активно продвигался государственными деятелями Колумбии — самим президентом Льерасом, а также министром иностранных дел Колумбии Хулио Турбаэм, который непосредственно посетил с визитами большинство латиноамериканских стран для того, чтобы подтолкнуть их правительства к выступлению против Кубы на конференции в Пунта-дель-Эсте в январе 1962 г.

В-четвертых, экономическое положение страны также внушало оптимизм. В докладе, подготовленном для Латиноамериканского политического комитета в Белом доме, шла речь о том, что Колумбия, является одной из наиболее прогрессивных стран Латинской Америки. В период либерального правления в этой стране были инициированы многие реформы, впоследствии вошедшие в перечень необходимых реформ в рамках «Союза ради прогресса». По динамике развития бизнеса Колумбия находилась в числе ведущих стран на континенте. ВВП на душу населения был средним по Латинской Америке и составлял примерно 260 долларов на человека. Ежегодный прирост ВВП на душу населения к началу 1960-х гг., даже с учетом колеблющихся цен на кофе, составлял 2 % [13, 1–2].

Совокупность этих факторов предоставляла возможность деятелям Вашингтона ставить во главу угла не поддержку антикоммунистических инициатив

внутри страны, а исключительно решение экономических и политических вопросов. Поэтому Колумбия была избрана администрацией США в качестве образцовой страны, в которой программа «Союза ради прогресса» должна была выполняться наиболее эффективно. Хотя североамериканские деятели сознавали опасность переоценки возможностей Колумбии, эта страна считалась одной из немногих в Латинской Америке, у нее был хороший шанс для экономического взлета в течение следующего десятилетия. Успех Колумбии, по мнению аналитиков Вашингтона, в основном зависел от преданности колумбийских лидеров курсу реформ и преодоления существующих препятствий [10, 1–3].

По мнению госдепартамента, препятствий на пути прогресса в Колумбии было несколько. Одним из них была политическая система, основанная на компромиссе двух основных политических партий, либеральной и консервативной, в результате которого было покончено с диктатурой. В 1958 г. представитель либеральной партии Льерас Камарго был избран президентом Колумбии, но в соответствии с соглашением его преемник должен был представлять консервативную партию. Правительство постоянно находилось в состоянии напряжения из-за жесткого противостояния двух партий: либеральной, ориентированной на город, и консервативной, ориентированной на деревню. Страна то и дело переживала серьезные волнения, главным образом из-за действий вооруженных повстанческих отрядов [Там же]. Для решения этой проблемы, по мнению государственных чиновников США, необходимо было увеличить гибкость политической системы страны.

Другим существенным препятствием на пути прогресса Колумбии, согласно оценке экспертов, была географическая изоляция многих территорий внутри страны. Это уменьшало эффективность власти центрального правительства в сельских районах. Распространение закона и порядка на данные территории, также как и транспортной и коммуникационной инфраструктуры, являлось важным вопросом сбалансированного мирного развития Колумбии [Там же].

Следующим препятствием являлась чрезвычайная зависимость экономики Колумбии от мировых цен на кофе. Это влекло за собой неопределенность в формировании государственного бюджета [13, 1–2], а также проблему платежного баланса.

Для недопущения дальнейшей эскалации напряженности и насилия в стране основными задачами президента Льераса Камарго были, с одной стороны, расширение и углубление консенсуса двух партий, с другой, — реформирование экономики. Правительство США собиралось предоставлять правительству Колумбии любую возможную помощь для завершения административных реформ в области развития, а также использовать значительные финансовые ресурсы США в отношении будущего правительства, чтобы подтолкнуть продолжение начатых реформ [11, 1–5].

Свои основные реформистские устремления в области экономики Льерас Камарго сосредоточил на двух направлениях: на создании институционального органа планирования и проведении аграрной реформы [1, 3–4]. Реформистский курс был благоприятно воспринят североамериканским правительством, что определило существенную финансовую поддержку со стороны США.

В периодических отчетах Теодоро Москосо, координатора «Союза ради прогресса» в Вашингтоне, Колумбия оценивалась как страна, представляющая собой «исключительный пример приверженности реформистским критериям» [8, 2].

Колумбия стала первой страной в Латинской Америке, предоставившей национальный план развития. В соответствии с планом необходимость инвестиций оценивалась в 125 млн долларов валового государственного финансирования ежегодно до 1965 г. Инвестиционные проекты включали жилищное строительство, водоснабжение, канализацию, образование, здравоохранение, сельское хозяйство. По оценке экспертов, в плане было слишком много макроэкономических проектов, но отсутствовал план конкретных политических действий. Несмотря на недостатки, план способствовал сбору, сопоставлению и анализу статистической информации, что заложило основы для мобилизации внутренних и внешних ресурсов в рамках программы развития. Это явилось стимулом к серьезному национальному экономическому планированию в стране [1, 7].

Основную свою цель в Колумбии США видели в достижении страной целей плана развития ради укрепления стабильности и повышения ответственности политических лидеров [12, 1]. Однако в другом докладе отмечалось, что, несмотря на небольшие изменения в лучшую сторону, государственное управление в Колумбии представляло собой серьезное препятствие развитию, что отражалось в низком уровне использования кредитных возможностей. Поэтому среди важнейших приоритетов политики США в Колумбии называлась необходимость «прямого влияния на ключевые фигуры обеих традиционных партий с целью привлечения их большего внимания к вопросам развития» [13, 60].

Важным преобразованием в Колумбии стала аграрная реформа, призванная «восстановить порядок в сельских районах». Был создан институт аграрной реформы — агентство, обладающее правом перераспределения сельскохозяйственных земель. Действия института аграрной реформы приобрели еще большую важность при преемниках Льераса Камарго. Колумбийская аграрная реформа, имевшая своей целью освобождение крестьян от влияния лендлордов, стала наиболее значительной из проведенных в странах Латинской Америки [14, 240–241].

Одной из важнейших проблем Колумбии в начале 1960-х гг. стал дефицит платежного баланса. Основной источник этой проблемы Вашингтон видел в поддержании фиксированного курса национальной валюты Колумбии, в то время как Льерас Камарго основной причиной дефицита называл уменьшение прибыли от экспорта кофе [4, 1]. В проводимых переговорах представители латиноамериканских стран сходились на признании необходимости подписания международного соглашения по кофе, однако США не собирались подписывать это соглашение, ссылаясь на то, что являются лишь потребителем, а не поставщиком данного продукта.

Соединенные Штаты собирались сделать Колумбию образцом эффективности «Союза ради прогресса» и вкладывали огромные суммы в достижение этой цели. Однако они были не готовы способствовать решению тех проблем, от которых в действительности зависело экономическое благополучие этой страны, так как это вступало в противоречие с их собственными экономическими

интересами. В частности, они не прилагали больших усилий к созданию благоприятных условий для экспорта основных товаров из стран Латинской Америки, например кофе, что было чрезвычайно важным для стран этого региона.

Реформы, проводимые Льерасом Камарго внутри страны, соседствовали с проведением антикубинской линии во внешней политике. Как уже упоминалось выше, благодаря усилиям североамериканских деятелей и визитам во многие страны Латинской Америки министра иностранных дел Колумбии Хулио Турбая, Куба была исключена из Организации американских государств. Соединенные Штаты были крайне признательны правительству Колумбии за стойкую антикоммунистическую направленность ее внешней политики. Посол США Фриман рекомендовал направить президенту Колумбии Льерасу Камарго письмо от президента США Кеннеди с выражением признательности за инициативу Колумбии и личную роль колумбийского президента. Посол Фриман считал Льераса Камарго наиболее активным латиноамериканским лидером, поддерживающим, с одной стороны, «Союз ради прогресса», а с другой — антикубинскую политику США; именно Камарго был главной причиной, по которой Соединенные Штаты работали с Колумбией с таким желанием [3, 1].

Североамериканские государственные деятели выступали за проведение как можно более активных реформ правительством Льераса Камарго, опасаясь, что с приходом новой администрации реформаторский темп неизбежно снизится. Преемник Камарго, консерватор Гильермо Леон Валенсия, избранный президентом в марте 1962 г., также был расположен поддерживать США и «Союз ради прогресса», но он не был столь энергичен и амбициозен, как его предшественник [16, 166].

По оценке североамериканских экспертов, президент Валенсия не желал столь твердо следовать курсу реформ, как его предшественник. Получая бюджетную поддержку из фондов «Союза», Валенсия предпочитал избегать рискованного реформаторского пути [15, 160]. Из-за инертности в области экономических преобразований в 1965 г. Соединенные Штаты даже рассматривали возможность отказа от предоставления согласованного кредита в размере 45 млн долларов. Однако ввиду того что Колумбия по-прежнему оставалась образцовой страной «Союза ради прогресса», официальные лица Вашингтона решили, что США должны и дальше предоставлять помочь Колумбии, несмотря на проводимую экономическую политику правительством президента Валенсии [16, 163].

Основными проблемами, с которыми пришлось столкнуться президенту Валенсии, оставались стабилизация политического режима и поддержание устойчивого равновесия платежного баланса. Ситуация усугублялась дальнейшим падением цен на кофе и соответственно уменьшением экспортной выручки. В сентябре 1962 г. 30 млн долларов было обещано Колумбии в качестве ссуды для поддержания удовлетворительного платежного баланса [Там же, 1], а также дополнительные 60 млн для реализации других программ развития [5, 1–2]. Однако меры, предпринимаемые правительством Валенсии, в частности рекомендованная США девальвация национальной валюты, не дали ожидаемых результатов. Девальвация привела к увеличению инфляции, промышленной рецессии и безработице. Вместо того чтобы прибегнуть к строгим мерам

экономии, президент Валенсия увеличил зарплаты государственным служащим и снизил налоги на производителей кофе. Валенсия не желал следовать более жесткой налоговой политике, за которую ратовали США и международные финансовые организации [16, 160].

В конце 1962 г. президент Валенсия опубликовал статьи в «Тайм» и «Нью-Йорк Таймс», где высказывал неудовлетворенность отсутствием прогресса по программе «Союза» в Колумбии. При этом Соединенные Штаты имели свое видение причин недостаточного прогресса. В личном разговоре с президентом Валенсией посол США Фриман упоминал, что отсутствие позитивной динамики в Колумбии не является следствием недостатка финансовой поддержки из зарубежных источников. Экономическая помощь Колумбии со стороны США в 1962 финансовом году превысила 107 млн долларов, в то же время помошь Колумбии от международных финансовых организаций составила более 96 млн долларов. Посол США Фриман заявил, что действительной проблемой Колумбии являлось не отсутствие зарубежного финансирования, а неспособность использовать финансы эффективно [6, 3–5].

Подводя итоги, можно сказать, что Колумбия представляла собой особый случай в осуществлении целей политики Соединенных Штатов в Латинской Америке. Внедрение программы «Союза» пришлось на время, когда страна находилась на пути установления политического консенсуса и модернизации после долгого периода политических волнений. Более того, политические лидеры этой страны играли решающую роль в формулировании принципов Хартии Пунта-дель-Эсте. Основными достижениями в экономике в период «Союза», по словам колумбийцев, принимавших участие в деятельности программы, являлась модернизация сельского хозяйства, диверсификация экспорта и усовершенствованная система использования внутренних ресурсов. Внешняя помощь считалась особенно важной в области социальных преобразований, таких как здравоохранение и образование [1, 31–34].

В Колумбии широко развивались программы строительства начальных школ, куда бы смогли ходить все дети, не только католики, а также программы жилищного строительства для малоимущих. Согласно отчетам координатора «Союза ради прогресса» Теодора Москосо в Колумбии в 1960 г. было построено 10 000 домов, в 1961-м — 18 800 [7, 1]. Был возведен Сьюад Кеннеди (город Кеннеди) — город-спутник Боготы, в закладке которого принимал участие сам президент Кеннеди во время своего визита в Колумбию в декабре 1961 г. Однако, как и для большинства подобных проектов в других странах, основной проблемой оставалось отсутствие транспортной инфраструктуры и доступа к основным транспортным автомагистралям. Лишь в 1969 г. мэр Боготы сумел решить эту проблему [14, 260].

Важным вкладом программы «Союза» стали инвестиции в человеческие ресурсы. Это сказалось не только в распространении экономической экспертизы, но также в сфере социальных и физических наук, где поддержка проектов «Союза» была направлена на обучение, обеспечение технической помощи и проведение исследований. В течение десятилетия 1960-х гг., особенно его второй половины, темпы экономического развития Колумбии были наиболее высо-

кими за всю послевоенную историю. Важнейшую роль в этом сыграл «Союз ради прогресса».

Колумбия оставалась приоритетным направлением программы «Союза ради прогресса» и при администрации президента Линдона Джонсона. Политики США верили, что благодаря финансовой помощи США, а также постоянному давлению на правительство Колумбии страна достигла большей экономической стабильности. К апрелю 1968 г. рост ВВП составил 4,5 %, несмотря на падение цен на кофе [16, 171]. Этот показатель превысил заявленные цели в 2,5 % Декларации Пунта-дель-Эсте .

В целом можно сделать вывод, что политика США именно в Колумбии оказалась достаточно успешной. По мнению самих колумбийцев, произошло заметное улучшение в отношениях между странами Латинской Америки и правительством США. Соединенные Штаты Америки смогли активно продвигать собственные интересы, а колумбийское правительство сумело использовать предоставленную финансовую поддержку.

-
1. *Baskind I., Mesmer T. C. Columbia and the Alliance for Progress. An Evaluation of the Impact Based on the Observations of Its Nationals. Manuscript. 1997.*
 2. *John F. Kennedy Library and Archive. National Security Files. Box 26A. Colombia. General 1961. Incoming telegram from Bogota to Secretary of State. 1961. 13 Oct .*
 3. *John F. Kennedy Library and Archive. National Security Files. Box 26A. Colombia. General. 1/62–6/62. Incoming telegram from Bogota to Secretary of State. 1962. 1 Febr.*
 4. *John F. Kennedy Library and Archive. National Security Files. Box 26A. Colombia. General, 1/62–6/62. Incoming telegram from Bogota to Secretary of State. 1962. 7 Jan.*
 5. *John F. Kennedy Library and Archive. National Security Files. Box 26A. Colombia. General 10/62–2/63. Incoming telegram from Bogota to Secretary of State, Section I of III. 1962. 8 Oct.*
 6. *John F. Kennedy Library and Archive. National Security Files. Box 26 A. Colombia. General. 10/62–2/63. Memorandum of Conversation. 1962. 5 Dec.*
 7. *John F. Kennedy Library and Archive. National Security Files. Box 291. Alliance for Progress. Reports 3/62–4/62. Summary Report on the Alliance for Progress. No. 2. 1962. March 23.*
 8. *John F. Kennedy Library and Archive. National Security Files. Box 291. Alliance for Progress. Reports 5/62–7/62. Summary Report on the Alliance for Progress. No. 13. 1962. 22 July.*
 9. *John F. Kennedy Library and Archive. National Security Files. Dungan R. A. Files. Box 392. Colombia. 12/61–3/63. Memorandum from Wilson D. M. to the President. Attachment. 1961. 8 Dec.*
 10. *John F. Kennedy Library and Archive. National Security Files. Dungan R. A. Files. Box 392. Colombia. 12/61–3/63. Report from Hilsman R. to Martin E. 1962. 21 May.*
 11. *John F. Kennedy Library and Archive. National Security Files. Dungan R. A. Files. Box 392. Colombia. 12/61–3/63. Strategy for the Aid Program in Colombia. 1962. 17 March.*
 12. *John F. Kennedy Library and Archive. National Security Files. Dungan R. A. Files. Box 392. Colombia. 4/4/63. Draft Strategic Study. Colombia Strategy Statement. 1963. 14 Febr.*
 13. *John F. Kennedy Library and Archive. National Security Files. Dungan R. A. Files. Box 392A. Comprehensive Policy Paper 7/63. Comprehensive Policy Paper in Colombia. 1963. 16 July.*
 14. *Levinson J., De Onis J. The Alliance That Lost Its Way: A Critical Report on the Alliance for Progress. Chicago, 1970.*
 15. *Rabe S. G. The Most Dangerous Area in the World. L., 1999.*
 16. *Taffet J. F. Foreign Aid as Foreign Policy. L., 2007.*

АВТОРЫ НОМЕРА

БАРЫШНИКОВА Юфимия Сергеевна — ассистент кафедры теории и истории международных отношений департамента международных отношений Института социальных и политических наук Уральского федерального университета. E-mail: vavulenka@mail.ru

БАТЮТА Екатерина Анатольевна — доцент кафедры философской антропологии департамента философии Института социальных и политических наук Уральского федерального университета, кандидат философских наук. E-mail: yekaterina-anat@mail.ru

ВАСИЛЬЕВ Сергей Владимирович — старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений департамента международных отношений Института социальных и политических наук Уральского федерального университета. E-mail: sergvass2009@yandex.ru

ДАВЛЕТШИНА Анна Маратовна — магистрант кафедры онтологии и теории познания департамента философии Института социальных и политических наук Уральского федерального университета. E-mail: davletshina.anna@gmail.com

ДАНИЛОВА Анна Владимировна — магистрант кафедры теории и истории социологии департамента социологии и политологии Института социальных и политических наук Уральского федерального университета. E-mail: anutadanilova@ya.ru

КАМЫНИН Владимир Дмитриевич — заведующий кафедрой евразийских исследований департамента международных отношений Института социальных и политических наук Уральского федерального университета, профессор, доктор исторических наук. E-mail: kamyninv@yandex.ru

КЕРИМОВ Александр Алиевич — заведующий кафедрой теории и истории политической науки департамента политологии и социологии Института социальных и политических наук Уральского федерального университета, кандидат политических наук. E-mail: Kerimov68@mail.ru

КРАСАВИН Игорь Вячеславович — ассистент кафедры теории и истории международных отношений департамента международных отношений Института социальных и политических наук Уральского федерального университета, кандидат философских наук. E-mail: Krasavin.i@gmail.com

ЛЕБЕДЕВА Галина Викторовна — доцент кафедры этики, эстетики, теории и истории культуры департамента философии Института социальных и политических наук Уральского федерального университета, кандидат философских наук. E-mail: lebedeva.gal2012@yandex.ru

ЛЕБЕДЕВА Юлия Владимировна — старший преподаватель кафедры психологии развития и педагогической психологии департамента психологии Института социальных и политических наук Уральского федерального университета, аспирант кафедры социальной психологии и психологии управления. E-mail: ljulia1@rambler.ru

ЛОГИНОВ Алексей Валерьевич — доцент кафедры социальной философии департамента философии Института социальных и политических наук Уральского федерального университета, кандидат философских наук. E-mail: logwork@front.ru

МЕНЬШИКОВ Андрей Сергеевич — доцент кафедры философской антропологии департамента философии Института социальных и политических наук Уральского федерального университета, кандидат философских наук. E-mail: andreimentchikov@yahoo.com

МИХАЙЛЕНКО Валерий Иванович — директор департамента международных отношений Института социальных и политических наук Уральского федерального университета, заведующий кафедрой теории и истории международных отношений, профессор, доктор исторических наук. E-mail: valermik@gmail.com

МИХАЙЛЕНКО Екатерина Борисовна — доцент кафедры теории и истории международных отношений департамента международных отношений Института социальных и политических наук Уральского федерального университета, кандидат исторических наук. E-mail: ekamikhaylenko@gmail.com

МУХАМЕТОВ Руслан Салихович — ассистент кафедры теории и истории политической науки департамента политологии и социологии Института социальных и политических наук Уральского федерального университета, кандидат политических наук. E-mail: muhametov.ru@mail.ru

МУХУТДИНОВ Олег Мухтарович — доцент кафедры истории философии и философии образования департамента философии Института социальных и политических наук Уральского федерального университета, кандидат философских наук. E-mail: gornostaev_oleg@mail.ru

НИЗЬЕВА Лариса Викторовна — соискатель кафедры философской антропологии департамента философии Института социальных и политических наук Уральского федерального университета. E-mail: nlv@hkcat-ekb.ru

ПАНЬКИН Игорь Дмитриевич — доцент кафедры социально-гуманитарных наук Уральского государственного университета физической культуры (Челябинск), кандидат исторических наук. E-mail: igor0303@mail.ru

ПЕРЦЕВ Александр Владимирович — директор департамента философии Института социальных и политических наук, заведующий кафедрой истории философии и философии образования, профессор, доктор философских наук. В 1976 г. окончил философский факультет Уральского государственного университета. Исследует проблемы истории философии и социально-политических взглядов. Известен как переводчик немецкоязычной философской литературы: им переведены и изданы тексты К. Ясперса, В. Брюнинга, Д. Бонхеффера, Ф. Ницше, К. Барта и П. Слотердайка. E-mail: apertzev@mail.ru

ПИВОВАРОВ Даниил Валентинович — заведующий кафедрой религиоведения департамента философии Института социальных и политических наук Уральского федерального университета, профессор, доктор философских наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации. E-mail: daniil-pivovarov@yandex.ru

ПОЗДНЯКОВА Наталья Анатольевна — ассистент кафедры социальной психологии и психологии управления департамента психологии Института социальных и политических наук Уральского федерального университета. E-mail: kovsharrn@mail.ru

РУДЕНКИН Дмитрий Васильевич — аспирант кафедры прикладной социологии департамента социологии и политологии Института социальных и политических наук Уральского федерального университета. E-mail: d-rudenkin@yandex.ru

ТОВБИН Кирилл Михайлович — заведующий кафедрой общих дисциплин Дальневосточного федерального университета (филиал в г. Южно-Сахалинске), кандидат философских наук. E-mail: kimito@yandex.ru

ЦИПЛАКОВА Юлия Владимировна — доцент кафедры философской антропологии департамента философии Института социальных и политических наук Уральского федерального университета, кандидат философских наук. E-mail: j.ceplakova@gmail.com

ЧЕРЕПАНОВА Екатерина Сергеевна — директор Института по профессиональной переподготовке и повышению квалификации преподавателей гуманитарных и социальных наук Уральского федерального университета, заведующая кафедрой философской антропологии департамента философии Института социальных и политических наук этого же университета, профессор, доктор философских наук. E-mail: director.ippk@yandex.ru

SUMMARY

FORUM

<i>Mikhaylenko V. I.</i> Italian Fascism in Recent Historiography	6
-------------------------------------------------------------------------	---

The article addresses debates within the historiography of Italian Fascism that were engendered by R. De Felice's works. R. De Felice argued that the Fascists' rise to power was largely due to accelerated modernization of Italian society after the First World War. The author focuses on the following issues debated in historiography: the intellectuals' impact on politics; definitions of Fascism; the Fascist regime's "betrayal" of the Fascist movement's ideals; the role of violence and the "consensus" in the relations of Italian society and the Fascist regime; Fascism's role in nation-building Risorgimento, the Fascist regime's crisis and fall. The author also discusses the problems of post-fascist transit. The survey of the current historiography of Fascism allows for determining salient questions in research on Fascism and outlining new directions of study.

Key words: historiography of Fascism, R. De Felice, definition of Fascism, Fascist ideology, the Fascist regime, the problem of "consensus", nation-state.

G. KLIMT: THE ARTS AND PHILOSOPHY IN DIALOGUE

<i>Pertzev A. V.</i> Considerations Concerning Mentality and Integrity of National Culture	18
--------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Inspired by G. Klimt's Paintings

The article traces the connections between G. Klimt's artistic style and Austrian mentality. The author argues that this mentality is also present in E. Mach's empiriocriticism, S. Freud's psychoanalysis, and Vienna Circle philosophy. The author discusses general theoretical views on the nature of mentality understood as a national "mindset and sensibility".

Key words: Austrian mentality, national culture, Vienna Circle, empiriocriticism, psychoanalysis.

<i>Cherepanova E. S., Nizeva L. V.</i> Impressionist Philosophy in Fin de Siecle Austria	31
------------------------------------------------------------------------------------------------	----

The authors explore what impact E. Mach's "The Analysis of Sensations" had on literature and philosophy at the time. Mach's criticism of Kantian theory is demonstrated to reflect Austrian philosophical traditions. The authors also discuss F. Mauthner's critique of language in regard with E. Mach's theory.

Key words: Austrian philosophy, Austrian literature, Impressionism, Machism, empiriocriticism, cognitive resource, sensational experience, thing-in-itself, self-consciousness, language critique, agnostic mysticism.

<i>Davletshina A. M., Lebedeva G. V.</i> Morals of Art Nouveau Vienna and Their Representations in Art: G. Klimt and Turn of the Century Literature	42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

The article analyzes social-cultural shifts that occurred in the Austrian-Hungarian Empire at the turn of the 19th century. The authors reconstruct the morals and *Zeitgeist* expressed in Klimt's oeuvre and Art Nouveau literature in Vienna.

Key words: Vienna modernist literature, Vienna Art Nouveau, Klimt.

<i>Tsiplakova J. V.</i> Pure Ego and "Living Body" in Gustav Klimt's Paintings and Edmund Husserl's Phenomenology	48
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

The article is devoted to philosophical and conceptual parallels between the creative method of the artist Gustav Klimt (1862–1918) and of Edmund Husserl (1859–1938), the founder of transcendental phenomenology. Both the artist and the philosopher belonged to the same historical period and culture of the Austrian-Hungarian Empire. Comparing their worldview and professional attitudes is therefore justified. The interpretation that is traditional for history of philosophy and art history and that views Klimt's work in the context of Schopenhauer and Nietzsche's philosophy, is complemented with relating Klimt's imagery to transcendental phenomenology.

Key words: Austrian philosophy, visual language, European humanity, living body, life-world, the crisis of European culture, phenomenology, ego, eroticism.

<i>Batyuta Y. A.</i> Philosophy of Consumption and Advertising in G. Klimt's Commercial Art	56
--------------------------------------------------------------------------------------------------	----

The article focuses on the reasons for high demand on G. Klimt's imagery in "commercial art" of design and advertising. The author argues that modern consumer tends to favor G. Klimt's artistic style and images because of modern consumer's "philosophy" as it is reflected in advertising. The consumer lives in the world of illusions woven by ever-present advertising. G. Klimt's symbolism fits well into modern advertising's representations, it stimulates those fantasies that invoke the "game reality" of consuming.

Key words: commercial art, philosophy of consumption, social illusions, consumer games, manipulations.

ONTOLOGY

<i>Pivovarov D. V.</i> Relation, Connection, Property, Thing: Conceptual Analysis	63
-----------------------------------------------------------------------------------------	----

The author presents a conceptual analysis of four philosophical categories, highly abstract and interrelated: relation, connection, property and thing. Relation is defined as a way to grasp the being of things and as a condition to detect and implement properties that are hidden in things. Connection is understood as power contact among different things, i.e. as a direct or indirect unity and as mutual holding of things in space and time. Property is defined by the concise formula "certainty of mine in another". Thing is conceived as a quality in the unity of its connections, relations and properties. Alternative views on the essence and relationship between philosophical categories of relation, connection, property and thing are outlined.

Key words: relation, connection, property, power contact, heterodoxy, mine-other, thing.

SOCIAL PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY

<i>Krasavin I. V.</i> Types of Organization and Evolutionary Patterns of Community	73
------------------------------------------------------------------------------------------	----

The article focuses on the evolution of social communication. Dynamics of political and economic structuring of human interaction is described. Types of community organization are distinguished according to the forms of governing social time. Evolutionary patterns of these types are traced in history. The author provides an interpretation of institutional organization of communities as self-organizing systems, and describes how these systems activate and suppress their communicative properties. The author points out that all types of social relations are fundamentally united as

communication and are differentiated by the certain composition of relations. New definitions are given to notions of power and capital as means of social organization.

Key words: community, organization, evolution, communication, historical process, institutes, relations, stakeholder, capital, power.

Loginov A. V., Rudenkin D. V., Danilova A. V. Transformation of Ideological Systems 87

The authors explore the dynamics of ideological systems within the late modern societies and classify ideologies of Russian political discourse. Two main approaches were followed for building classifications: M. Seliger's systems analysis of ideology and J. Schwarzmantel's periodization of modern (classical) and late modern (contemporary) ideologies. The theoretical model produced on this preliminary stage was then verified with the empirical study of the registered political parties' programs and public statements in the Russian Duma election campaign in 2011. The content analysis has proven that basic values were surprisingly similar in competing parties' programs. The authors conclude that certain adjustment of our tools for discriminating ideological conflicts is needed, for ideological struggle seems to have abandoned its traditional place in the public sphere – that of the debates among political parties.

Key words: transformation of ideologies, Russian political parties' programs, values in the public sphere.

Menshikov A. S. Political Modernity and Post-Socialist Social 102

The author discusses public sphere and its role in social reproduction of modernity and role in political legitimacy. Retrospective appraisals of J. Habermas's conception of the public sphere are reviewed. Those criticisms of Habermas's conception that re-focus on the microsocial level and on subjectivity as an arena of ideological struggle are analyzed. The author claims that this "zooming-in" on subjectivities destroys political-philosophical and sociological notion of institutional public sphere. In conclusion, the author points out that the ontology that underlies subjectivatory approaches with their disregard of the institutional public sphere is similar to the ontology of neoliberal ideology. The importance of the project of political modernity of which public sphere is an indispensable part is highlighted.

Key words: J. Habermas, publicity, public sphere, political modernity, soviet subjectivity, post-soviet social.

POLITICAL THEORY, POLITICAL SCIENCE AND POLICY ANALYSIS

Kerimov A. A. Is Democracy Necessary for Parliamentarianism? 116

The relationship between the concepts of "democracy" and "parliamentarianism" is analyzed in the article. A number of approaches to interpreting democracy and parliamentarianism are surveyed. The author specifies the interrelation of these socio-political phenomena and then argues for the special role of democracy in the development of parliamentarianism.

Key words: democracy, parliamentarianism, parliamentary representation, principle of separation of powers.

INTERNATIONAL RELATIONS

Pankin I. D. International Factors' Impact on Militarizing Soviet Economy in the late 1920–1930s 123

The author argues that the Soviet economic policy planning in the late 1920–1930s was heavily dependent on the changes in international arena. The article surveys the research literature on the Soviet economic policy planning and focuses on military mobilization plan. The author demonstrates that military mobilization plan shaped the first five years plans of the national economy development in the USSR.

Key words: foreign factor, military mobilization plan, scientific and general discourse.

<i>Mikhaylenko E. B.</i> Struggle for Disarmament in Soviet Official Discourse during the Cold War	132
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

The article analyzes the Union of Soviet Socialist Republics' disarmament policy during the Cold War. Based on the study of official documents of the Soviet Union Communist Party and speeches of its two leaders – N. Khrushchev and L. Brezhnev, the article analyzes the USSR's strategy on disarmament and peace. The article addresses such concepts as 'disarmament', 'struggle for peace', 'peace movements', which were used as metaphors in the Soviet rhetoric. These metaphors were conceived and justified by the communist leaders in accordance with their view on Marxism-Leninism. The author demonstrates that N. Khrushchev and L. Brezhnev interpreted Marxism-Leninism differently and pursued divergent approaches towards disarmament issues.

Key words: Soviet policy on disarmament, struggle for peace and disarmament, Soviet rhetoric, Soviet ideology, proletarian internationalism, socialist internationalism.

<i>Kamynin V. D.</i> Russian Federation's Security Policy in Central Asia in 1990s	146
------------------------------------------------------------------------------------------	-----

The author discusses main forms of security and traces the evolution of security arrangements that followed global and regional reconfigurations.

Key words: Russian security policy, Russian policy in Central Asia.

<i>Muhametov R. S.</i> The Collective Security Treaty Organization's Role in Pursuing Russia's National Interests in Central Asia	160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

The author describes main principles of Russian military assistance to the Central Asia and investigates the Collective Security Treaty Organization's goals. The Collective Rapid-Deployment Forces and the Collective Rapid-Reaction Forces' activities are analyzed.

Key words: Collective Security Treaty Organization, the Central Asia, the Collective Rapid-Deployment Forces, the Collective Rapid-Reaction Forces, national interests.

GEOPOLITICS

<i>Vassiliev S. V.</i> Classification of Modern Geopolitical Actors	167
---------------------------------------------------------------------------	-----

The change in patterns of geopolitical interactions calls for reconsideration of current typologies of geopolitical actors. The author analyses various geopolitical categories, namely state's geopolitical status, the nature of geopolitical power, state's capacity to expand or contract.

Key words: modern geopolitical actors, state's geopolitical status, state's geopolitical power, geopolitical expansion, geopolitical contraction.

PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY AND PSYCHOLOGY

<i>Lebedeva J. V.</i> Subject-regarding and Object-regarding Attitudes towards the Other	181
------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

The authors aim to explore empirically emotional, cognitive and behavioral dimensions of subject-regarding and object-regarding attitudes towards the other. The distinctive features of groups that exhibit either subject-regarding or object-regarding attitude towards the other as well as the psychological mechanisms that are operational in these attitudes are investigated.

Key words: attitude to the other, subjective and objective way of relating to the other, empathic way of relating to the other, attitude's component, empathy, subject of perception.

<i>Pozdnyakova N. A.</i> Conditions for Emergence and Outcomes of Neuropsychiatric Instability of the Men-at-Arms	194
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

The article describes the psychological adaptation problems of the people enlisted in military service, which derive from their neural and mental instability. The author analyzes factors

responsible for and manifestations of neural and mental instability of the freshmen during the military service.

Key words: neuro-psychological stability, neuro-psychological instability, adaptation, adaptive capacity, suicidal risk.

RELIGIOUS STUDIES

- Tovbin K. M.* Post-modernist Religiosity: A Traditionalist's View 210

In the article, the notion "post-religion" is analyzed. This notion is constructed on the methodological basis of the Traditionalist school. Post-religion is shown to perform a desacralizing function.

Key words: Post-religion, Postmodernity, Tradition, Sacred, traditionalism, simulacrum, deconstruction, rhizome, fission, mimicry, desacralization.

HISTORY OF PHILOSOPHY

- Mukhutdinov O. M.* The Origin of Pure Categories of the Understanding in Kant's Transcendental Logic 223

The article focuses on the problem of origin of pure categories of the understanding in Kant's theoretical philosophy. The author argues that the way Kant proceeds from the table of judgments to the table of categories in the Transcendental Analytic lacks sufficient justification. The author then demonstrates that phenomenological approach allows for shedding light on actual preconditions of discovering pure ontological concepts.

Key words: category, judgment, ontology, transcendental logic, understanding, analytic of concepts, analytic of principles, infinite judgment, negation, limitation.

ADDENDA ИЛИ SHORT NOTICES

- Baryshnikova Y. S.* The U. S. Foreign Policy in Columbia in 1961–1963 229

The author discusses the U. S. foreign policy in Columbia under the Presidency of J. F. Kennedy (1961–1963). The U. S. program "Alliance for Progress" that lay at the core of President Kennedy's policy in Columbia, despite certain difficulties, was successful and mutually beneficial. The U. S. managed to solve a number of problems, e.g. the isolation of Cuba, while the Columbian government could effectively use financial aid.

Key words: United States foreign policy, "Alliance for Progress", J. F. Kennedy.

ИЗВЕСТИЯ
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
2013. № 1 (112)

Серия 3
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Редактор и корректор *T. A. Федорова*
Компьютерная верстка *Л. А. Хухаревой*

Журнал не подлежит маркировке в соответствии с п.п. 1 п. 2 ст. 1
Федерального закона РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ
как содержащий научную информацию.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-48321 от 27.01.12.
Учредитель — Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина».
620083, Екатеринбург, пр. Ленина, 51.

Подписано в печать 6.03.2013. Формат 70 × 100 1/16.
Уч.-изд. л. 19,37. Усл. печ. л. 19,93. Бумага офсетная. Гарнитура Petersburg.
Печать офсетная. Тираж 500 экз. Заказ 519.

Издательство Уральского университета. 620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51.
Отпечатано в ИПЦ УрФУ. 620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4.

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Журнал «Известия Уральского федерального университета. Серия 3. Общественные науки»

- зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-48321 от 27 января 2012 г.;
- зарегистрирован Международным центром стандартной нумерацииserialных изданий (International Standard Serial Numbering – ISSN) с присвоением международного стандартного номера ISSN 2227-2291;
- включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук в соответствии с рекомендациями экспертных советов по *философии, социологии, политологии, культурологии, психологии, международным отношениям* Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ;
- включен в Объединенный подписной каталог «Пресса России». Подписной индекс 82415. Библиографические сведения и информация о статьях в журнале размещаются на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) Российской универсальной научной электронной библиотеки (РУНЭБ).

Полнотекстовая версия журнала размещается на портале университета (<http://urfu.ru/science/scientific-publications/izvestija-urfu/>) и на платформе РУНЭБ.

О порядке предоставления рукописей

1. В редакцию по электронной почте (izvestia_3@usu.ru) или лично автором (на CD-диске) представляются авторский текст (см. ниже требования к оригиналу) и анкета статьи (в двух экземплярах).
2. В редакцию по почте или лично автором представляется официально заверенная внешняя рецензия (делается специалистом соответствующей отрасли знаний, не работающим в одном вузе, или на одном факультете, или на одной кафедре с автором статьи).
3. По электронной почте редакция уведомляет автора о том, принят или не принят материал к рассмотрению, и, если принят, сообщает автору замечания по содержанию и оформлению рукописи, которые необходимо устраниТЬ до передачи текста на рецензирование.
4. Автор пересыпает исправленный текст в редакцию по электронной почте.
5. Редакция согласует с автором все исправления, дополнения и т. п., которые необходимо внести в статью по рекомендации рецензентов.

Требования к авторскому оригиналу

1. Авторский оригинал должен иметь следующую структуру:
 - а) сведения об авторе: фамилия, имя, отчество — полностью, ученые степень и звание, должность, место работы, телефоны, в т. ч. сотовые, e-mail (обязательно!), домашний почтовый адрес.
- Аспирантам и докторантам необходимо указать, в сфере каких наук — философских, социологических, политологических, культурологических или экономических — они выступают соискателями ученого звания;
- б) инициалы и фамилия автора на русском языке;
 - в) заголовок статьи на русском языке;
 - г) краткая, 5–7 строк, аннотация (включает характеристику основной темы, проблемы, объекта, цели работы и ее результаты, указывает, что нового несет в себе данная статья в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению; ее

рекомендуется писать простыми предложениями, без сложных синтаксических конструкций) к статье на русском языке (по ГОСТ 7.9–95);

д) ключевые слова по исследуемой проблеме;

е) инициалы и фамилия автора, заголовок статьи, аннотация к статье, ключевые слова на английском языке;

ж) основной текст статьи с внутритекстовыми ссылками на цитируемые источники;

з) затекстовый список цитируемой литературы (см. образцы оформления).

2. Оформление библиографического аппарата.

Автор оформляет библиографические ссылки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографические ссылки. Общие требования и правила оформления»:

а) цитируемые литература и другие источники располагаются в алфавитном порядке по первой букве фамилии авторов или первой букве названия других источников. Литература и источники на иностранных языках располагаются в конце затекстового списка по латинскому алфавиту. Весь затекстовый список нумеруется по порядку. Например:

1. *Бернштам Т. А.* Приходская жизнь русской деревни. СПб., 2005.

2. Выступление Президента на соборе руководящего состава Вооруженных сил от 16.11.2006 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru>

3. *Герцен А. И.* С того берега // Герцен А. И. Соч. : в 9 т. М., 1956. Т. 3.

.....

9. *Коробкин М.* Уральское хозяйство и внешний рынок // Хоз-во Урала. 1925. № 27.

10. *Куропаткин А. Н.* Отчет генерал-адъютанта Куропаткина : в 4 т. СПб. ; Варшава, 1906–1907.

Т. 1.

11. *Николаев И. А., Марушкина Е. В.* Бедность в России [Электронный ресурс] // Экономический анализ. М., 2005. URL: <http://www.fbk.ru>

.....

21. *Шацкло К. Ф.* Консерватизм на рубеже XIX–XX вв. // Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика / под ред. В. Я. Гросула. М., 2000;

б) внутритекстовые ссылки обозначаются цифрами в квадратных скобках. Например:

[1] — означает общее указание на книгу или другой источник по теме исследования;

[1, 23] — первая цифра указывает на источник прямого или косвенного цитирования согласно алфавитному списку источников, вторая (курсивом) — на страницу.

Примечание. При ссылке на электронный ресурс страницы не указываются;

в) ссылки на архивные материалы располагаются непосредственно в тексте, в квадратных скобках. Название архива, если оно не является общезвестным, приводят в сокращенном варианте, а затем расшифровывают в круглых скобках. Например:

[ГАСО (Гос. архив Свердловской обл.). Ф. 773. Оп. 1. Д. 27. Л. 14–14 об.]

[РГИА. Ф. 773. Оп. 1. Д. 27. Л. 14–14 об.]

3. Журналу предлагаются не публиковавшиеся ранее научные труды объемом не более одного учетно-издательского (авторского, 40 000 знаков) листа.

4. Текст не должен содержать сложных таблиц, графиков и рисунков.

Почтовый адрес редакции: 620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51, к. 319.

Редакция журнала «Известия УрФУ. Серия 3. Общественные науки».

Главному редактору *Суслову Николаю Владимировичу*.

Рукописи принимаются в редакции: пр. Ленина, 51, к. 319

(член редколлегии *Ковалева Екатерина Сергеевна*. Телефон для справок (343) 350-59-20).

Электронный адрес: izvestia_3@usu.ru